

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН*

**5**

**СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ**

---

" НАУКА "  
МОСКВА – 2007

## СОДЕРЖАНИЕ

В. К. Щербин (Минск). Вклад О.Н. Трубачева в развитие научной критики словарей .	3
А. В. Гладкий (Москва). О точных и математических методах в лингвистике и других гуманитарных науках .....	22
Д. О. Добровольский (Москва). Пассивизация идиом (о семантической обусловленности синтаксических трансформаций во фразеологии) .....	39
И. Б. Иткин (Москва). Мягкие основы в современном русском языке .....	62
А. О'Коррань (Дерри, Северная Ирландия). Перфектные конструкции в островных кельтских языках .....	73
А. А. Левитская (Москва). О видовой несоотнесенности в современном осетинском языке (влияние универсальных и идиоэтнических факторов) .....	89
В. В. Шаповал (Москва). Цыганские элементы в русском воровском арго? (размышления над статьей акад. А.П. Баранникова 1931 г.).....	108

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

П. М. Аркадьев (Москва). Языки мира. Балтийские языки .....	129
И. В. Шапошникова (Новосибирск). <i>Integrum</i> : точные методы и гуманитарные науки ..	134
А. М. Белов (Москва). А.Е. Кузнецов. <i>Arg brevis</i> . Латинская метрика .....	141
Д. В. Герасимов (Санкт-Петербург). <i>G.J. Rowicka, E.B. Carlin (eds.). What's in a verb? Studies in the verbal morphology of the languages of the Americas</i> .....	144
С.В. Иванов (Санкт-Петербург). <i>Parallels between Celtic and Slavic. Proceedings of the First international colloquium of Societas Celto-Slavica held at the university of Ulster, Coleraine, 19–21 June 2005</i> .....	148

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

#### Хроникальные заметки

А. А. Плотникова (Москва). Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура во взаимодействии .....	152
Е. В. Вельмезова (Москва / Лозанна). Международная конференция «Язык и мышление: В.Н. Волошинов и Л.С. Выготский».....	154

#### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина*

*Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова  
Зав. редакцией Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,  
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,  
Редакция журнала «Вопросы языкознания»  
Тел. (495) 637-25-16

© 2007 г. В. К. ЩЕРБИН

## ВКЛАД О.Н. ТРУБАЧЕВА В РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ КРИТИКИ СЛОВАРЕЙ

В статье рассматриваются опубликованные словарные рецензии О.Н. Трубачева (всего 76 названий). Приведена классификация этих рецензий. Анализируются традиционные и новые критерии, приемы и методы оценки словарей, использованные О.Н. Трубачевым при подготовке словарных рецензий.

В условиях современного информационного общества, словарные запросы которого быстро возрастают, не может оставаться неизменной и структура металексикографии, призванной создавать научные основы для усовершенствования существующих словарей и разработки словарей новых типов. Два десятилетия тому назад В.В. Морковкин определил структуру российской металексикографии (теории лексикографии) следующим образом: «теория лексикографии включает в себя по меньшей мере семь разделов, каковыми являются: а) определение объема, содержания и структуры понятия «лексикография», б) словарная лексикология, в) учение о типах словарей, г) учение об элементах словаря, д) учение об основах лексикографического конструирования, е) учение о первичных словарных материалах, ж) учение о планировании и организации словарной работы» [Морковкин 1987: 39]. Кроме того, с определенными оговорками к теории лексикографии В.В. Морковкин относил и «историю лексикографии» [Там же].

В современной зарубежной металексикографии выделяются и некоторые иные направления теоретической лексикографии. Так, немецкий исследователь Г. Виганд, наряду с отдельными упоминавшимися выше направлениями металексикографии (общей теорией лексикографии и историей лексикографии), выделяет и такие направления, как исследование словарного использования и критика словарей (criticism of dictionaries) [Wiegand 1983: 15]. В свою очередь, Ф. Хаусман к числу названных Г. Вигандом металексикографических направлений добавляет еще и такие, как исследование статуса словаря и маркетинг словаря [Hausmann 1986: 102]. Можно назвать и другие, еще более специализированные направления, выделяемые сегодня в теоретической лексикографии. К примеру, автором данной статьи только в области социологии словаря [Щербин 1999] отчетливо дифференцируются четыре таких направления: социология лексикографов, социология литературных источников для больших академических словарей, социология словарных изданий и социология читательского спроса на словари [Щербин 2003].

### 1. НАУЧНАЯ КРИТИКА СЛОВАРЕЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЕКСИКОГРАФИИ

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о правомерности и целесообразности выделения в рамках славянской металексикографии такого направления, как научная критика словарей. Необходимость формирования и развития данного направления, для примера, в рамках англоязычной металексикографии, по мнению Р. Квирка, обусловлена тем, что «из всех видов научных изданий труднее всего поддаются рецензированию словари. Именно по этой причине все мы имеем свои собственные способы оценки нового словаря» [Quirk 1986: 5]. Тем не менее, если в рамках национальной лексикографии создать специальные исследовательские структуры, которые

подобно Эрлангенскому центру словарных исследований (Германия) будут специализироваться на критике одноязычных и переводных словарей разных языков [Naumann 1986: 108], а также будут регулярно готовить обзоры опубликованных словарных рецензий за достаточно длительный период времени [Charman 1977: 143–162], то конечным результатом металексикографической деятельности подобных исследовательских структур, несомненно, станет выявление типовых и наиболее характерных для данной национальной лексикографической традиции подходов (научных и ненаучных) к рецензированию словарей.

Так, американский металексикограф С.И. Ландау делит словарных критиков в зависимости от используемых ими подходов на две группы: а) первую группу составляют известные авторы, литературные критики и профессора в области гуманитарных наук; б) ко второй группе относятся профессиональные лексикографы. При этом С.И. Ландау отдает предпочтение словарным рецензиям профессиональных лексикографов, поскольку считает «наличие профессиональных знаний в области лексикографии жизненно необходимым для оценки новых словарей» [Landau 1996: 305]. Деятельность профессиональных лексикографов по подготовке словарных рецензий отдельные исследователи называют академической (т.е. научной) критикой словарей [Osselton 1989: 225–230; James 1994: 2186]. По мнению С.И. Ландау, именно в процессе такой научной критики общих коммерческих словарей английского языка профессор Алабамского университета Дж.Б. Макмиллан сформулировал «три основных критерия для оценки словарей: количество информации, качество информации и эффективность ее представления. Количество включает число статей, число дефиниций, число новых терминов (в сравнении с другими словарями), частоту использования предметно-тематических характеристик, синонимов, этимологий и транскрипций. Качество охватывает точность, законченность, ясность, простоту и современность. ...Эффективность представления включает сравнение систем алфавитной подачи материала, размещение этимологических сведений в словарных статьях, порядок группировки дефиниций, системы произношения и типографское исполнение» [Landau 1996: 306].

## 2. СЛОВАРНЫЕ РЕЦЕНЗИИ О.Н. ТРУБАЧЕВА

В рамках славянской металексикографии хорошую возможность для определения того, в какой мере приведенные выше критерии и подходы к оценке словарной продукции реализованы в отношении словарей славянских языков, предоставляет изучение научного наследия широко известного российского этимолога и лексикографа О.Н. Трубачева, поскольку опубликованные им рецензии на словари многих славянских и других языков являются достаточно значимой частью этого наследия. В частности, в хронологическом указателе трудов ученого [ОНТ 2003: 44–89] к числу словарных рецензий сразу же можно отнести более 60 отзывов на словари разных языков и типов, поскольку статус этих отзывов указан в тексте указателя при помощи пометы «Рец.», т.е. рецензия. Вместе с тем вопрос об определении точного количества написанных О.Н. Трубачевым словарных рецензий совсем не так прост, как кажется, даже в отношении тех его отзывов на словари и иные книги, содержащие словарные материалы, которые имеют при себе помету «Рец.» в указателе трудов ученого.

С одной стороны, отдельные из словарных рецензий О.Н. Трубачева (как правило, очень небольшие по объему) самим автором прямо в их тексте называются «аннотациями» [Трубачев 1969: 320] или «краткими рецензиями-аннотациями» [Трубачев 1977: 169]. С другой стороны, отдельные рецензируемые им книжные издания [Вахрос 1959; Striedter-Temps 1963; Schulz 1964; Stang 1972; Unbegaun 1972; Udolph 1979; Malingoudis 1981] по своему формальному статусу являются монографическими исследованиями. Тем не менее, все эти книги содержат большие по объему словарные разделы, интересовавшие рецензента этих книг в первую очередь и особенно подробно им про-

анализированные, а потому их тоже можно с определенными оговорками отнести к числу справочных изданий, что О.Н. Трубачев, к слову сказать, и делает.

Так, структуру монографического исследования Х. Штридтер-Темпс исследователь характеризует следующим образом: «Само исследование распадается на две части: фонетику (где рассматривается соотношение немецкого и словенского вокализма, консонантизма, субституции звуков и т.д.) и словарь. Последний представляет для нас особый интерес. Этот этимологический словарь немецких заимствований в словенском занимает более двух третей всего объема книги» [Трубачев 1965d: 360]. В свою очередь, о структуре книги Г.В. Шульца в своей рецензии О.Н. Трубачев пишет следующее: «Большую часть работы (стр. 39–217) занимает раздел “Лексика (с объяснениями и попытками этимологизации) в алфавитном порядке” – своего рода этимологический словарь русской плотничьей терминологии» [Трубачев 1967a: 388]. Статус справочных изданий придает О.Н. Трубачев и другим указанным выше монографиям, хотя в качестве оснований для подобных жанровых квалификаций в рецензиях называются достаточно разные качества этих монографий: «Книга Б.О. Унбегауна имеет обширный алфавитный указатель фамилий (стр. 425–525), что превращает ее в удобный и незаменимый справочник» [Трубачев 1975c: 193]; «Свою задачу автор (Х. Станг. – В.Ш.) видел в том, чтобы собрать наиболее надежный материал по проблеме (стр. 7). Результатом явился своеобразный словарик (стр. 13–66), охватывающий 188 случаев балто-славяно-германской лексической общности, т.е. больше, чем в свое время было известно Траутману, в словаре которого насчитывается 168 таких случаев» [Трубачев 1976d: 179]; «По замыслу автора, в центре его внимания – этимология топонимов (см. Malingoudis, с. 5). Основной раздел его книги (II) – алфавитный словарь славянских микротопонимов, занимающий свыше ста страниц текста» [Трубачев 1985a: 177]. По указанным выше причинам рецензии О.Н. Трубачева на книжные издания такого рода (всего 7 названий) тоже квалифицировались нами в качестве словарных рецензий.

Кроме того, к числу словарных рецензий с определенной долей условности можно отнести 7 больших по объему журнальных статей исследовательского характера [Трубачев 1960; 1978a; 1978b; 1994; 1995; 2001; 2002], названия которых не имеют при себе в указателе трудов ученого пометы «Рец.», однако тексты этих статей, как правило, содержат признание автора о том, что в данных работах он фактически рецензирует различные этимологические словари, параллельно осуществляя исследование их составов и структур. К примеру, в статье «Маргиналии к новому “Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка” М. Майрхофера» О.Н. Трубачев следующим образом описывает свой способ рассмотрения данного словаря: «Я избрал для себя достаточно трудоемкий способ параллельного чтения обоих трудов Майрхофера – его ранее изданного “Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка” и вышеупомянутого нового. Это чтение оказалось чрезвычайно поучительным для меня лично, дав пищу для разнообразных наблюдений, т.е. в конечном счете и для рецензии тоже. ... Именно это и побудило меня, в конце концов, взяться за дело, несколько медленное исполнение которого извиняется тем, что оно не является собственно рецензированием, хотя и включает его элементы» [Трубачев 1994: 81].

Наконец, украинская исследовательница О.Н. Лазаренко в докладе «О.Н. Трубачев об этимологических словарях украинского языка», прочитанном ею на Вторых чтениях памяти О.Н. Трубачева (Алупка, Севастополь, 14–21 сент. 2004 г.), назвала ряд подготовленных ученым, но до настоящего времени не опубликованных рецензий на разные тома «Етимологічного словника української мови» и справедливо поставила вопрос о необходимости публикации этих рецензий: «О.Н. Трубачев подготовил рецензии на предыдущие 4 тома ЕСУМа, но они так и не были опубликованы. Представляется, что следует опубликовать рецензии О.Н. Трубачева на рукописи ЕСУМа, чтобы ознакомить широкий круг читателей с еще одной страницей научной деятельности ученого» [Шапошников 2005: 149]. Однако поскольку указанные словарные рецензии на разные тома «Етимологічного словника української мови» до сих пор не

опубликованы, доступ к ним сейчас затруднен. Именно по этой причине упомянутые О.Н. Лазаренко рукописные рецензии О.Н. Трубочева на 4 тома ЕСУМа остались за рамками данного исследования.

Таким образом, из почти 600 опубликованных научных работ, названия которых представлены в хронологическом указателе трудов О.Н. Трубочева, 76 публикаций можно с определенными оговорками отнести к разряду словарных рецензий, что составляет почти 13% от содержания перечня работ ученого.

Впечатляет не только количество опубликованных О.Н. Трубочевым рецензий на словари разных типов и языков, но и разнообразие используемых в этих рецензиях методов и способов оценки словарной продукции, а также богатство анализируемых в них разноязычных и разнотипных словарных материалов. В частности, по количеству рассматриваемых в них словарей опубликованные О.Н. Трубочевым рецензии делятся на две группы. К первой группе относятся немногочисленные рецензии-обзоры, в которых анализируются целые группы однотипных словарей. К примеру, в одной из таких рецензий-обзоров [Трубочев 1978а] рассматриваются 11 этимологических словарей русского, украинского и белорусского языков. Вторую группу словарных рецензий О.Н. Трубочева составляют монорецензии, в которых оцениваются отдельные конкретные словари (таких рецензий большинство).

По типу рассматриваемых в них словарей рецензии О.Н. Трубочева распределяются следующим образом: в 62-х из них анализируются этимологические словари, в 8-ми рецензиях – исторические словари, по 6 рецензий приходится на сравнительные (многоязычные) и ономастические словари, по одной рецензии – на переводные и толковые словари. При этом отдельные рецензируемые О.Н. Трубочевым словари относились нами сразу к двум словарным типам (таковы, например, историко-этимологические словари). Последним обстоятельством обусловлено несовпадение общего количества словарных рецензий О.Н. Трубочева (76 названий) и суммы рецензий, посвященных словарям разных типов.

По языковой характеристике рассматриваемых в них словарей опубликованные рецензии О.Н. Трубочева можно сгруппировать следующим образом: в 18-ти из них исследуются словари, общие для всех славянских языков, в 17-ти – словари польского языка, в 11-ти – словари болгарского языка, в 7-ми – словари праславянского языка, в 6-ти – словари русского языка, в 5-ти – словари полабского языка, три рецензии посвящены словарям венгерского языка, по две рецензии – словарям германских, греческого, осетинского, словенского и украинского языков, по одной рецензии приходится на словари балтийских, восточнославянских, древнеиндоарийского, иранского, литовского, лужицкого, прароманского, словацкого и чешского языков. Отдельные рецензируемые О.Н. Трубочевым словари (помимо общих для той или иной группы языков – балтийских, германских, славянских и прочих) включают материал сразу двух и более языков (в качестве примера можно привести «Polabian-English dictionary» [Polański, Sehnert 1967]). По этой причине общее количество словарных рецензий О.Н. Трубочева не совпадает с суммой рецензий, посвященных словарям разных языков и групп языков.

Наконец, по участию или неучастию О.Н. Трубочева в составлении рецензируемых словарей опубликованные им словарные рецензии можно разделить на две группы. К первой группе относятся собственно рецензии (их подавляющее большинство), в которых исследователь оценивает «чужие» словари, занимая при этом позицию нейтрального наблюдателя «со стороны». Вторая группа включает три авторецензии [Трубочев 1995; 2001; 2002]. Первую из этих рецензий О.Н. Трубочев в одной из своих последующих работ назвал «опытом автореферата» [Трубочев 2001: 269]. В подобно-го рода авторецензиях автор раскрывает читателям составляемый под его руководством и с его непосредственным участием «Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд» (ЭССЯ) как бы «изнутри», рассматривая его в широкой исторической перспективе подготовки и издания многочисленных выпусков, с отражением всей полноты и динамики решаемых при этом разнообразных научных

и околонучных, издательских, кадровых и иных проблем. Присутствует в содержании указанных авторецензий и определенный элемент мемуарности.

Отдельные исследователи видят в таком авторецензировании и самоцитировании О.Н. Трубачева подход к границе этически рискованной ситуации. Однако наш опыт проведения комплексного науковедческого анализа работ О.Н. Трубачева [Шчэрбін 2005] показывает, что редкие случаи авторецензирования и самоцитирования в творчестве этого выдающегося ученого не противоречат требованиям этики науки и обусловлены достаточно объективными причинами. Вот что, к примеру, пишет о подобных причинах российский науковед О.В. Михайлов: «Стремление ученого сослаться на свои предшествующие исследования, если это необходимо по ходу статьи, вполне естественно. До определенной степени самоцитирование представляется оправданным, так как весьма часто данная конкретная публикация ученого является продолжением его прежних работ. Если же исследователь работает над такими проблемами, которыми в настоящее время никто в мире, кроме него самого, не занимается, необходимость в самоцитировании становится еще большей, а подчас и просто вынужденной» [Михайлов 2001: 205]. Поскольку О.Н. Трубачев и другие составители ЭССЯ дальше других исследователей продвинулись в изучении праславянского лексического фонда, им порой, кроме как на ЭССЯ, больше не на что сослаться при обсуждении новейших данных о состоянии указанного фонда. Такими же объективными причинами (необходимостью подведения итогов за несколько десятилетий издания ЭССЯ, стремлением ускорить введение полученных результатов в широкий научный контекст и т.п.) обусловлено осуществление О.Н. Трубачевым авторецензирования ЭССЯ.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ О.Н. ТРУБАЧЕВЫМ ТРАДИЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СЛОВАРЕЙ

Как указывалось выше, к числу традиционных критериев оценки словарной продукции относятся сформулированные Дж.Б. Макмилланом следующие словарные характеристики: количество информации, качество информации и эффективность ее представления в словаре. Рассмотрим, насколько широко представлены эти традиционные критерии в опубликованных словарных рецензиях О.Н. Трубачева.

**Критерий количества информации** в словаре, т.е. требование полноты словаря, в интерпретации О.Н. Трубачева предполагает включение в этимологические словари любой лингвистической (лексической, грамматической, словообразовательной, фонетической) и даже экстралингвистической (энциклопедической, иллюстративной и прочей) информации, которая может оказать содействие в процессе реконструкции исходных значений и форм этимологизируемого слова. К примеру, в рецензии, посвященной рассмотрению «Русского этимологического словаря» М. Фасмера, О.Н. Трубачев отмечал, что «ономастика, употребительная в данном языке, вообще по праву должна быть отражена в этимологическом словаре этого языка; отбор и ограничение при этом целесообразно производить, включая названия, нуждающиеся в этимологизации, а также служившие предметом анализа в этимологической литературе» [Трубачев 1960: 63]. Далее в рассматриваемой рецензии исследователь особо отметил тот факт, что «Фасмер буквально спас целый ряд слов и выражений для этимологического исследования, как справедливо указал один из рецензентов. Кроме редких и устаревших слов, в словарь влились широкой струей диалектизмы и несколько сот собственных имен, что также никоим образом не может считаться отрицательным явлением. В объяснительном словаре-справочнике должны быть представлены все слова, нуждающиеся в объяснении, в том числе употребительная в данном языке ономастика» [Там же].

Неоднократно и самым положительным образом оценивался О.Н. Трубачевым факт включения составителями «Болгарского этимологического словаря» под ред. В. Георгиева в реестр данного словаря самых разных разрядов лексики: «Вообще словник нового словаря отличается большой щедростью, что скорее следует отнести

к числу достоинств. В словарь включены не только апеллативы (общенародные и диалектные), но и статьи, посвященные собственным именам – топонимам, гидронимам, что в какой-то мере характерно для современных словарей. Особый разряд составляют опыты реконструкции апеллативов, утраченных новоболгарским языком, по данным старой и новой топонимии» [Трубачев 1965а: 353]; «...в первую очередь заслуживают упоминания такие важные и ценные черты публикуемого словаря, как богатство диалектной лексики, представленной в нем, изобилие производных и словообразовательных форм, выявление редкой или совершенно исчезнувшей болгарской лексики, в частности – через призму топонимии как одного из важных источников таких сведений» [Трубачев 1967b: 381]; «Как и предыдущие части этого словаря, рецензируемые выпуски XI–XII и XIII–XIV отличаются прежде всего богатством словника. Кроме слов болгарского литературного языка, здесь дается много диалектной лексики, причем не только из болгарских народных территориальных говоров, но и из социальных диалектов, арго: ученический, портняжный, воровской жаргон (тарикатски език)» [Трубачев 1980а: 183].

Положительно оценивалась О.Н. Трубачевым не только исчерпывающая лексическая, но и словообразовательная полнота этимологического словаря. Особенно отчетливо эта оценка проявилась в разновременных рецензиях на выпуски «Этимологического словаря польского языка» Ф. Славского: «По-прежнему это – необычайно широкий для этимологического словаря отдельного славянского языка исследовательский кругозор (польские слова рассматриваются во все более тесной связи со славянской лингвистической географией, праславянской реконструкцией и праславянским словообразованием)» [Трубачев 1975а: 178]; «В новой части труда отражены наиболее существенные направления и особенности рецензируемого словаря: стремление к исчерпывающей и все более расчлененной подаче лексики и словообразования польского языка, весьма детализированная праславянская реконструкция» [Трубачев 1980b: 182].

Всячески приветствовал О.Н. Трубачев в своих рецензиях также широкий теоретический охват новейших научных данных и фактологическую полноту экстралингвистических сведений, подаваемых в этимологическом словаре. Так, уже в первой своей словарной рецензии (на «Греческий этимологический словарь» Я. Фриска) он положительно оценил тот факт, что составитель словаря «использует данные ларингальной теории, важнейшие новые исследования» [Трубачев 1957: 149]. При этом рецензента не смущало даже то обстоятельство, что учет теоретических результатов новейших лингвистических исследований в словарной статье этимологизируемого слова может увеличить такую статью до размеров раздела монографии: «Некоторые статьи (в «Сравнительном словаре славянских языков» Л. Садник и Р. Айцетмюллера. – В.Щ.) занимают как бы промежуточное положение между словарной статьей и монографической статьей по морфонологической характеристике той или иной основы» [Трубачев 1971а: 263]. При этом исследователь полностью отдавал себе отчет в том, что «нельзя ставить знак равенства между этимологическим словарем языка и монографическим этимологическим исследованием, скажем, названий красок в славянских языках» [Трубачев 1958: 130]. Однако О.Н. Трубачев считал возможным делать исключения при определении объема словарных статей для наиболее важных в этимологическом и культурном отношении заголовочных слов: «Словарная статья этимологического словаря – понятие растяжимое, обычно ассоциируемое с ней представление краткости не подходит к случаям слов немалой этимологической сложности и большого культурного веса» [Трубачев 2002: 14].

В свою очередь, фактологическую полноту сведений о предметах материальной культуры, описываемых в этимологическом словаре, О.Н. Трубачев тоже считал весьма желательной: «Из предисловия мы узнаем, что работе над книгой предшествовал не только анализ всего доступного лексического материала, включая Картотеку древнерусского словаря Института русского языка АН СССР в Москве, но также изучение этнографических и исторических материалов по обуви в музеях Москвы, Ле-



нинграда, Стокгольма, Лунда и Копенгагена. Это послужило достаточным основанием для применения известного старого метода «слов и вещей», используемого И.С. Вахросом весьма удачно и результативно. Сопоставление данных языкознания и истории материальной культуры проводится автором обычно с достаточным тактом и умением, и в этом смысле его опыт достоин пристального изучения» [Трубачев 1962: 100].

Напротив, к чрезмерно жесткому отбору реестровой лексики, пропуску того или иного разряда слов в реестре этимологического словаря О.Н. Трубачев относился отрицательно: «Однако определенный отбор лексики за счет диалектных слов и большого числа культурных заимствований имел место, что вряд ли следует признать положительным явлением. На деле это означало ущерб для полноты словаря» [Трубачев 1958: 130]. Позднее О.Н. Трубачев обосновал необходимость снятия всяческих ограничений при отборе реестровой лексики для этимологических словарей путем четкой дифференциации нормативных словарей литературного языка и этимологических справочников по лексике данного языка: «Обилие диалектной и малоупотребительной лексики в словаре Фасмера смущает некоторых читателей, впрочем без особого на то основания. Это привилегия этимологического словаря, его специфика в отличие от словарей нормативных, а упомянутая лексика – насущный хлеб этимологии, которая в поисках генетических и словообразовательных связей не делает тех различий между словами, которые приняты в нормативных словарях. Этимологический словарь литературного языка – это, если угодно, смешение двух понятий, различных по своей природе. Вообще ограничивать этимологический словарь в этом смысле – значит выхолащивать понятие этимологии. И если иногда ограничения диалектной лексики предпринимают сами этимологи, то это только снижает ценность их словарей для исследователя» [Трубачев 1960: 64]; «Установка на словарный состав исключительно литературного языка наносит ущерб принципу этимологического словаря» [Трубачев 1978а: 19]. Таким образом, О.Н. Трубачев регулярно использовал в своих словарных рецензиях критерий количественной полноты информации при оценке рассматриваемых словарей.

Использование **критерия качества информации**, подаваемой в словаре, предполагает обязательный учет его рецензентом совокупности более мелких критериев (требований) точности, законченности, ясности, простоты и современности включаемых в словарь сведений. Только в случае соблюдения составителями словарей всех перечисленных требований качественного характера можно говорить о высоком качестве их словарной продукции. Если в свете данных требований проанализировать содержание словарных рецензий О.Н. Трубачева, то можно убедиться в том, что и этот комплексный критерий оценки словарной информации использовался исследователем весьма продуктивно.

К примеру, О.Н. Трубачев считал, что «большим достоинством словаря служит точная датировка первой письменной фиксации слова, будь то первые памятники XI–XII веков, глоссы X века или новые слова последних десятилетий нашего времени» [Трубачев 1973: 384]. С другой стороны, Олег Николаевич отмечал в своих рецензиях любые проявления неточности, неясности и неряшливости в подаче языковой информации в рассматриваемых им словарях независимо от того, касалось ли это отбора реестровой лексики, использования составителями соответствующих словарных помет или проведения ими этимологического анализа содержания заглавных слов. В частности, по поводу отбора реестровых единиц в выпусках 11–14 «Болгарского этимологического словаря» под ред. В. Георгиева исследователь посчитал необходимым подчеркнуть то обстоятельство, что в этих выпусках «собрана масса полезной информации, но лексикографически это выполнено не всегда удачно, с частыми повторами, когда заглавными словами оказываются незначительные диалектные фонетические варианты одного и того же слова, а это влечет за собой многократное дублирование характеристик и определенную избыточность в подаче информации» [Трубачев 1980а: 183]. В свою очередь, о неточном употреблении словарных помет составителя-

ми «Краткого этимологического словаря русского языка» (М., 1961) О.Н. Трубачев писал следующее: «Что касается пометы “общеславянское”, то содержание ее в данном словаре крайне сумбурно и не поддается сколько-нибудь точному определению. Достаточно сказать, что авторы путают такие автономные понятия, как “общеславянское” и “праславянское”, не ощущая ни хронологической, ни лингвогеографической разницы между ними. Точнее говоря, они всюду употребляют только помету “общеславянское”, которая у них синонимична “древнему”, “праславянскому”...» [Трубачев 1961: 130]. В этой же рецензии исследователь негативно оценил неряшливо проведенный в словаре этимологический анализ содержания заглавных слов: «Любое проявление составителем словаря неряшливости – в отношении лексического материала или теории и практики этимологического анализа – способно принести вред, значительно перерастающий ту весьма относительную “пользу”, которую можно усматривать в популярном, доступном изложении этимологий» [Там же: 129].

Строго следил О.Н. Трубачев за соблюдением в рецензируемых им словарях требования простоты подаваемой языковой информации, т.е. того, насколько составителям словарей удалось избежать излишне сложной, наукообразной подачи словарных сведений, а также популярно, но научно изложить эти сведения для читателей. Исследователь был искренне убежден в том, что «словарь может быть “кратким” и “популярным”, даже “школьным” и вместе с тем он может оставаться научным. Между научным и научно-популярным изданием нет и не должно быть принципиального различия, однако писать популярные работы труднее, чем специально научные. Нельзя одновременно оставаться добросовестным и заниматься популяризацией той отрасли науки, которая не стала твоей плотью и кровью. Другими словами, написание популярной работы справочного характера должно быть итогом длительной исследовательской работы. Противоположное понимание научной популяризации почти неизбежно рождает наспех написанную стряпню, грубую фальсификацию, которую не могут скрыть ни псевдолаконичность, ни обтекаемость формулировок или нарочито глухие ссылки» [Там же].

Удачным примером простого по форме, но научного по сути изложения языковых и экстралингвистических сведений О.Н. Трубачев считал трехтомный «Этимологический словарь русского языка» А.Г. Преображенского (М., 1910/1949): «Преображенский был школьный учитель, но словарь у него вполне научный. Это слияние обоих методов можно считать наиболее похвальной особенностью его словаря, можно сказать, что с его стороны это было едва ли не самым смелым шагом и самым важным авторским проявлением. Фактически есть только одна этимология, а не две – одна для учащейся молодежи, а другая для специалистов. Похоже, что с той поры эту истину стали забывать» [Трубачев 1978а: 18]. Именно соблюдение авторами «Историко-этимологического словаря венгерского языка» (Будапешт, 1967) общенаучного требования «работать для науки, а писать для народа» позволило им, по мнению О.Н. Трубачева, «адресовать свой глубоко научный труд одновременно самой широкой читательской публике, объединив в одном словаре научно-исследовательскую работу академического плана и научно-популярную работу, доступную широкому культурному читателю» [Трубачев 1971b: 260–261].

С рассмотренными выше критериями точности, ясности и простоты включаемых в словарь сведений тесно связан сформулированный О.Н. Трубачевым критерий надежности словаря. Проиллюстрируем использование данного критерия исследователем при оценке «Краткого этимологического словаря русского языка» (М., 1961): «Если идти дальше и проверять, как опираются авторы на достижения этимологической науки, то мы явимся свидетелями вопиющего произвола, с каким множество слов препарируется в словаре таким образом, как если бы никакой литературы по этимологии вовсе не существовало. Разумеется, авторы были вправе производить отбор этимологий. Осуждению подлежит не сама эта практика в принципе, а случайный характер очень многих приводимых в словаре этимологий, который попросту снимает вопрос о надежности данного словаря» [Трубачев 1961: 130]. Таким образом, при оценке рецен-

зируемых им словарей О.Н. Трубачев не только системно, с учетом всей полноты содержащихся в нем требований, использовал комплексный критерий качества информации, но и дополнил последний еще одним требованием (надежности словарной информации).

Еще более весом вклад О.Н. Трубачева в обогащение практики использования при оценке словарной продукции критерия **эффективности представления информации** в словаре. Для обеспечения удачной организации словарного пространства требуется соблюдение целого ряда условий: а) удачный выбор главного принципа подачи материала (алфавитного, гнездового, тематического или иного), т.е. оптимальной макроструктуры словаря; б) удобная для читателя группировка разнотипных сведений в рамках словарной статьи, т.е. адекватная описываемому языковому материалу микроструктура словаря; в) мотивированное использование существующих возможностей современной лексикографической техники (иллюстраций с изображениями реалий, исчерпывающих библиографических списков к статьям словаря, совершенных систем транскрипции, изошренного справочного аппарата с множеством разнотипных ссылок и др.); г) высокий уровень издательской подготовки словаря и его полиграфического (типографского) исполнения. При этом первоочередную роль среди перечисленных выше средств обеспечения эффективной подачи словарной информации играет наличие оптимальной макроструктуры словаря: «...композиция материала – это, по крайней мере, половина методологии» [Трубачев 1967с: 385].

Выявлению типа макроструктуры того или иного словаря О.Н. Трубачев уделил особенно большое внимание в своих словарных рецензиях. В частности, изучение содержания нескольких десятков прорецензированных им словарей разных типов позволило ему описать весь спектр основных принципов организации словарного пространства: алфавитный [Трубачев 1965b: 346], тематический (идеологический) [Трубачев 1976а: 175], гнездовой [Трубачев 1958: 130], псевдогнездовой [Трубачев 1976b: 182], этимологический [Трубачев 1965b: 346], грамматический [Трубачев 1976а: 175], генетический [Трубачев 1960: 61], апофонический [Трубачев 1976с: 178], числовой [Трубачев 1971а: 263]. Из всех перечисленных выше принципов организации словарного пространства О.Н. Трубачев отдавал явное предпочтение алфавитной подаче языкового материала: «Если говорить об удобстве пользования и доступности словаря (а этим в конечном счете определяется форма каждого словаря), то таким мог бы быть, безусловно, только алфавитный порядок. Отказ авторов от этого порядка едва ли следует приветствовать. Никакой лабиринт планируемых авторами индексов к каждой букве в отдельности (!) этого удобного принципа не заменит» [Трубачев 1965b: 346].

К своему выбору в качестве наилучшей именно алфавитной подачи информации в словаре О.Н. Трубачев пришел, анализируя, с одной стороны, недостатки иных принципов организации словарного пространства, а с другой стороны, описывая очевидные достоинства алфавитного принципа. Вот какой вывод, к примеру, сделал исследователь, изучая практику использования гнездового принципа подачи материала в этимологической лексикографии: «...практика этимологических гнезд, применяемая в некоторых этимологических словарях как преимущественная, обедняет реальные этимологические и словообразовательные отношения» [Трубачев 1960: 65]. В других своих рецензиях О.Н. Трубачев более подробно останавливается на недостатках применения гнездового принципа для организации словарного пространства: «Недостаток метода этимологических гнезд состоит далеко не только в том, что в итоге образуются очень сложные статьи, в которых не сразу можно найти нужное слово. ...главное – метод этимологических гнезд означает то, что разные производные, давно имеющие в языке свою собственную судьбу и историю, а нередко представляющие лишь передачу, кальку иноязычной модели, оказываются формально подчиненными одной общей основе» [Трубачев 1958: 130]; «В силу упомянутых причин (гнездовой порядок расположения материала) слова разыскивать очень трудно. ...Едва ли кто-нибудь станет возражать, что в вопросе заимствований, особенно поздних заимствований, гнездовой принцип статей утрачивает всякий смысл» [Трубачев 1965b: 347]; «Со-

храняются далее также и те особенности словаря, которые могут быть отнесены к числу менее удачных. Такова, прежде всего, гнездовая форма рассмотрения образований с общим корнем, которая, как известно, скрадывает лексическую самостоятельность и собственную историю производного слова. Кроме того, при этом дело не обходится без неэкономных повторений...» [Трубачев 1967b: 381].

В свою очередь, рецензируя «Этимологический словарь славянских языков» (Прага, 1973), О.Н. Трубачев отмечает не словарный характер положенного в основу данного труда грамматического принципа подачи языкового материала: «Авторы избрали оригинальную композицию, при которой словарь разбивается на ряд тематических томов. Принцип выделения "тем", как видно по тому 1-му, – не семантический, как в первую очередь можно было бы ожидать, исходя из словарной практики, из факта, что словари бывают либо строго алфавитные, либо тематические (идеологические). В основу словаря (по крайней мере, его ныне рецензируемого тома 1-го, а также следующего тома 2-го, см. «Předmluva», стр. 5) положен в данном случае грамматический принцип, т.е., строго говоря, принцип не словарный» [Трубачев 1976a: 175].

В следующей (по времени опубликования) словарной рецензии О.Н. Трубачев раскрывает недостатки целого ряда принципов организации словарного пространства, которых, по его мнению, не имеет алфавитная подача словарных сведений: «...как известно, отыскивание нужного слова в этом словаре (речь идет о словаре Л. Садник и Р. Айцетмюллера. – В.Ш.) без вспомогательного алфавитного указателя крайне затруднительно, оно неизбежно сводится к сплошному просматриванию практически всего соответствующего словарного раздела, построенного на гнездовых, апофонических и других более частных и случайных принципах, из которых, увы, ни один не способен заменить удобного алфавитного расположения материала» [Трубачев 1976c: 178]. Еще одним достоинством алфавитного принципа организации словарного пространства, помимо возможности быстрого нахождения по алфавиту нужного реестрового слова, является, по мнению О.Н. Трубачева, заложенное в данном принципе качество, позволяющее обеспечить «максимально расчлененную композицию словника» [Трубачев 1965c: 354]. Иными словами, по алфавиту в словаре можно размещать не только слова и словосочетания, но и отдельные морфемы слова.

В своих словарных рецензиях О.Н. Трубачев не обходил вниманием и структуру отдельной словарной статьи, т.е. микроструктуру словаря. В качестве наиболее устоявшейся, традиционной модели микроструктуры этимологического словаря он рассматривал структуру словарной статьи в «Русском этимологическом словаре» М. Фасмера: «Структура словарной статьи у Фасмера не вызывает каких-либо особых замечаний и в целом выдержана в старых традициях. После русского слова с его значением перечисляются родственные слова остальных языков, начиная с украинского и кончая серболужицкими. Затем следует, как правило, собственно этимологическая часть; в заключение ее обычно дается хорошая библиография в сжатом виде, в которой нашел отражение уровень лексикографической разработки привлекаемых языков, и прежде всего русского, а также современное состояние этимологических исследований» [Трубачев 1960: 65]. В то же время словари иных типов, по мнению рецензента, характеризует, в числе прочих особенностей, наличие словарных статей с отличающейся структурой. Так, для словаря историко-этимологического типа (например, для «Словаря славянских древностей», который издается в Польше с 1962 года) свойственна словарная статья с «синтетической» структурой: «Обычная в связи с наличием этимологических комментариев структура статей «Словаря»: 1) сведения по истории и этимологии слова или собственного имени (автор – лингвист); 2) историческая часть статьи (автор – историк). Эта удобная и четкая структура синтетической статьи соблюдается на всем протяжении известной нам части «Словаря»...» [Трубачев 1967d: 387].

Совсем иная микроструктура, как показал О.Н. Трубачев в своей рецензии, характерна для двуязычного справочника К. Полянского и Дж.А. Сенерта «Polabian-English dictionary» (Гаага; Париж, 1967), ориентированного на этимологическое описание лексики полабских текстов: «Было бы, конечно, ошибкой думать, что это двуязычный

словарь обычного типа. Перед нами, бесспорно, оригинальный и даже единственный в своем роде труд. Это отчасти вызвано ограниченным характером полабских текстов, что побудило составителей трактовать как самостоятельные словарные статьи парадигматические формы (лица глаголов, падежи имен, причастия). Историко-культурные условия фиксации полабских текстов вызывают необходимость подачи при полабских формах немецких слов-эквивалентов, которые практически все указываются авторами в скобках после английского перевода. Важным и оригинальным новшеством является регулярное помещение в этом двуязычном словаре после всех исконно славянских форм их праславянских реконструкций и ремарк этимологического характера» [Трубачев 1969: 328].

Вместе с тем, далеко не каждое отклонение микроструктуры рецензируемого словаря от традиционной структуры статьи этимологического словаря оценивалось О.Н. Трубачевым положительно: «Общее замечание, которое может быть высказано в связи с несколько необычным типом словарных статей в труде Садник и Айцетмюллера, – это то, что они часто лишены необходимой лексикографической экономности и временами слишком повествовательны, а также композиционно отходят от удобной структуры статьи этимологического словаря (: обзор форм и значений – данные по истории – этимология – литература), выработанной длительным опытом науки» [Трубачев 1971a: 264].

Эффективному представлению информации в словаре способствует также уместное использование его составителями различных лексикографических параметров. К примеру, для книги И.С. Вахроса «Наименования обуви в русском языке» в качестве таких функционально обусловленных параметров О.Н. Трубачев отмечает «богатство иллюстраций с изображениями реалий, а также то, что книга написана на хорошем русском языке и, наконец, прекрасно издана (имея в виду качество набора примеров на разных языках)» [Трубачев 1962: 99]. В свою очередь, в своей рецензии на «Этимологический словарь чешского и словацкого языка» В. Махека (Прага, 1957) О.Н. Трубачев зафиксировал самое раннее использование иллюстративного параметра в этимологической лексикографии: «Некоторые статьи, посвященные названиям предметов материальной культуры, снабжены специальными иллюстрациями, которых в тексте словаря всего восемь. Это можно рассматривать как новшество в этимологическом словаре» [Трубачев 1958: 132].

Наконец, обращал внимание О.Н. Трубачев и на соблюдение составителями словарей таких условий эффективного представления словарной информации, как обязательный «высокий уровень научной и – не в последнюю очередь – внешней, полиграфической подготовки словаря» [Трубачев 1971b: 260] и «хороший академический (издательский и полиграфический) уровень этой новой публикации, которая осуществлена в духе лучших традиций русской и советской науки» [Трубачев 1975b: 131]. Таким образом, и третий сформулированный Дж.Б. Макмилланом критерий оценки словарей (эффективность представления словарной информации) О.Н. Трубачев широко использовал в своих рецензиях и даже существенно обогатил новыми подходами к его употреблению, особенно при рассмотрении макроструктуры словаря.

#### 4. НОВЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЛОВАРЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ О.Н. ТРУБАЧЕВЫМ

О.Н. Трубачев не ограничился при оценке словарной продукции тремя перечисленными выше критериями, предложенными Дж.Б. Макмилланом, а разработал ряд своих, принципиально новых приемов и методов рассмотрения и оценки словарей. Прежде всего, необходимо назвать прием **параллельного чтения словарей**, к современным формам использования которого О.Н. Трубачев шел многие годы, сравнивая разноязычные и разнотипные словари и постепенно совершенствуя методику их **сравнительного изучения**. Так, в первых словарных рецензиях ученого можно найти сравнительные оценки только отдельных элементов структуры рассматриваемых словарей: разное количество производных форм в сравниваемых словарях [Трубачев 1957: 148];

наличие или отсутствие в них обязательного толкования для заглавных слов, адресатных характеристик для разнотипных словарных сведений, нормативного или ненормативного характера реестровой лексики и др. [Трубачев 1958: 129–132]; сравнение творческих манер составителей разных словарей [Трубачев 1960: 67]; разное количество реестровых единиц в сравниваемых словарях [Трубачев 1963: 282]; различные орфографические и нормативные установки составителей словарей, которые сравнивались [Трубачев 1965а: 353].

Стимулом для проведения О.Н. Трубачевым системного сравнительного анализа («параллельного чтения») двух словарных текстов послужило то, что «в декабре 1974 г. почти одновременно вышли впервые в своих странах два словаря – “Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд”, вып. 1 (А – \**besědblivъ*) в Москве и “Słownik prasłowiański”, tom I (A–B) в Кракове (точнее – в издательстве “Ossolineum” Польской Академии наук)» [Трубачев 1978b: 3]. Оценивая итоги многолетней подготовительной работы авторских коллективов указанных словарей, О.Н. Трубачев признавался, что сама «идея параллельной работы двух научных коллективов, как по методу, так и по результатам небезынтесной для более широкой научной и читательской аудитории, побудила меня предпринять этот небольшой опыт параллельного чтения, несмотря на все колебания и сомнения...» [Там же]. От первых попыток сравнительного оценивания различных словарей в рецензиях О.Н. Трубачева реализованный им же опыт параллельного чтения московского ЭССЯ и краковского «Праславянского словаря» выгодно отличается системным характером рассмотрения всех мыслимых вопросов, возникающих в процессе создания, изучения и использования данных словарей.

Начав свою рецензию сравнительным анализом хронологических рамок подготовки ЭССЯ и «Праславянского словаря», общей численности авторских коллективов и степени стабильности их персональных составов, работавших над созданием этих словарей, О.Н. Трубачев переходит далее к собственно «параллельному чтению», т.е. контрастивной характеристике: а) целей, достижению которых служат рассматриваемые словари; б) принципов, лежащих в их основе; в) методов, использовавшихся составителями в процессе подготовки данных словарей. Сравнению подвергались также макро- и микроструктура словарей, «научная польза обоих этих словарей» [Там же: 10], состав их реестровой лексики, степень соответствия используемых в словарях этимологических подходов существующей славистической традиции, языковая принадлежность сравниваемых словарей, а также правомерность использования их составителями отдельных лексикографических параметров (например, отсылочных слов).

В процессе параллельного чтения ЭССЯ и «Праславянского словаря» исследователь оценивает не только сравниваемые словари, но и применяемый им самим сравнительный метод: «Параллельное чтение, или контрастивная характеристика двух наших словарей кажется нам полезным (полезной) не только для лучшего понимания особенностей самих словарей, но и для того, чтобы составить представление о самом предмете – лексике праславянского языка и его диалектов. При этом некоторой гарантией объективности результатов (особенно результатов совпадающих) служит то обстоятельство, что оба словарных коллектива в Москве и Кракове работают совершенно самостоятельно» [Там же: 6]. Завершает свою рецензию О.Н. Трубачев определением перспектив дальнейшего использования приема параллельного чтения при оценке словарей: «Мы присутствуем при начале многотомных продолжающихся изданий. Можно продолжить и параллельное чтение. Это сопоставление не преследовало цели обязательно выяснить, что один словарь “лучше”, а другой “хуже”, хотя различия в их подходах к одному предмету всегда привлекали наше внимание. Главное внимание необходимо обратить на самый предмет исследования – древнюю лексику всех славянских языков, изучение которой в обоих словарях разными путями продвигается вперед» [Там же: 17].

В последующих своих словарных рецензиях О.Н. Трубачев еще больше расширяет сферу применения приема параллельного чтения словарей, используя его для прове-

дения контрастивного анализа содержания не только однотипных словарей разной языковой принадлежности, но даже различных словарных изданий одного и того же автора. Подобная универсализация приема параллельного чтения словарей позволяет исследователю получить новые, нетривиальные результаты при сравнительном изучении, к примеру, подготовленных М. Майрхофером трехтомного «Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка» (Гейдельберг, 1956/1976) и многотомного «Этимологического словаря древнеиндоарийского языка» (Гейдельберг, 1986–1993): «Явное стремление Майрхофера при составлении нового своего словаря отталкиваться в том или ином смысле от своего же древнеиндийского этимологического словаря не заслоняет от нас того существенного обстоятельства, что оба словаря как бы взаимодействуют. Уже упомянутое выше параллельное чтение приводит нас далее к не менее важному заключению, что хотя новый словарь в одних случаях содержит новые решения, дает новые материалы, новую, улучшенную этимологизацию, в других (как представляется, не менее многочисленных) отказывается (без достаточных оснований) от прежней здоровой трактовки, предпочитает не самые удачные решения, чрезмерно расширяет практику корневой этимологии» [Трубачев 1994: 82].

В текстах словарных рецензий О.Н. Трубачева широко используются и другие новые приемы и методы оценки словарей, разработанные рецензентом с целью более глубокого изучения содержания этимологических словарей. В частности, необходимость использования **метода стратиграфии славянского словаря** была осознана О.Н. Трубачевым в процессе работы над проблемой «вычленения в новых и древних пластах» лексики славянских языков [Трубачев 1971с: 256]. Уже через три года в своей рецензии на очередной выпуск «Этимологического словаря польского языка» Ф. Славского исследователь рассматривал указанную проблему в качестве главной для данного словаря: «...постепенно выдвигается на передний план в этом этимологическом словаре отдельного славянского языка проблема тесной связи лексического состава живого славянского языка и праславянского лексического состава. Можно даже сказать, что фактически это главная теоретическая проблема, над которой автор словаря работает по преимуществу, судя по направленности новейших выпусков труда» [Трубачев 1974: 177]. В другой, более поздней своей работе О.Н. Трубачев показал, что использование метода стратиграфии славянского словаря позволяет устанавливать не только связи, но и различия между различными временными пластами слов того или иного славянского языка: «Соседство этих последних заимствований и вышеупомянутых праславянских исконных слов – иллюзия, поскольку этой поздней лексике не было в древнем языке славян, на который в общем был ориентирован и словарь Бернекера. У поздних заимствований своя сложная проблематика и ей место в этимологическом словаре отдельного славянского языка. От археолога, копающего курганы скифского времени, никто ведь не требует описания стреляных гильз, оставшихся на поверхности земли от войн нового времени» [Трубачев 1978b: 6].

Более того, проведение стратиграфического анализа словарного состава, к примеру, белорусского или украинского языков, по мнению О.Н. Трубачева, позволяет дифференцировать на временной оси даже возраст отдельных слов и их вторичных фонетических форм: «...иное слово (именно слово, а не его нередко вторичная фонетическая форма со своими поздними особенностями из XIII и, может быть, еще более поздних столетий) в белорусском или украинском определенно старше самих белорусского или украинского языков» [Трубачев 1978a: 17]. Кстати, к аналогичному выводу (о большей древности культурной семантики слов в сравнении с их формой – фонетической, письменной или еще как-нибудь материально выраженной) в отношении словарного состава русского языка пришел и академик Ю.С. Степанов: «...дописьменная история культуры запечатлена не в археологических памятниках (не в “костях”), а в самом значении слов, представляющих собой развитие индоевропейского культурного наследия. Исконный словарный состав – вот оригинальное достояние русской культуры» [Степанов 2001: 6].

Подобные основанные на результатах стратиграфического анализа славянского словаря выводы О.Н. Трубачева имеют методологическое значение для проведения, к примеру, в Белоруссии современной языковой политики, избавленной от чрезмерных пуристических тенденций: «Огромное множество слов белорусского языка – это чисто праславянские и общеславянские, а вместе с тем в известном смысле и русские, и украинские слова, но по одной этой причине их общераспространенности никому ведь не приходит в голову мысль воздержаться от помещения их в белорусских словарях общего типа (раз они есть в русских!). Существуют ситуации, когда повторяться необходимо» [Трубачев 1978а: 25].

Универсальный характер стратиграфического подхода к изучению словарного состава языка подтверждается тем, что позднее его применил известный американский специалист по словарной типологии Я. Малькель для исследования лексикона испанского языка. Данный исследователь, изучая разновременные пласты реестровой лексики испаноязычных словарей, во многом повторил путь, пройденный О.Н. Трубачевым в процессе написания словарных рецензий. К примеру, в одной из ранних своих работ по словарной типологии Я. Малькель использовал хронологический параметр только для указания принадлежности рассматриваемого словаря к одной из двух групп – диахронические или синхронические словари [Malkiel 1968: 270]. В более позднем монографическом исследовании «Этимологические словари. Экспериментальная типология» («Etymological dictionaries: A tentative typology») (Чикаго; Лондон, 1976) Я. Малькель пришел к выводу о необходимости выделения в процессе типологического описания этимологических словарей испанского языка такого дифференциального признака (лексикографического параметра), как «временная глубина», при помощи которого характеризуются различные временные пласты реестровой лексики в рассматриваемых словарях [Malkiel 1976].

Только после того, как проведен стратиграфический анализ реестровой лексики этимологических словарей славянских языков и выделены различные временные пласты заголовочных слов в этих словарях, становится возможным использование **приема лексической реконструкции** для выявления реально не засвидетельствованных заглавных форм, которые обычно отмечаются звездочкой, и определения принадлежности этих реконструированных форм либо отдельным славянским языкам, либо праславянскому, либо праиндоевропейскому языку. Однако оценить, насколько уместно используется прием лексической реконструкции в том или ином этимологическом словаре, в действительности может только тот рецензент, который сам регулярно пользуется данным приемом в своей ежедневной словарной деятельности.

К примеру, О.Н. Трубачеву в написанных им словарных рецензиях удалось отдать должное умению пользоваться приемом лексической реконструкции, которое продемонстрировали составители этимологических словарей болгарского [Трубачев 1965а: 353], польского [Трубачев 1975а: 178; 1980b: 182; 1985b: 165], осетинского [Трубачев 1981: 178], праславянского [Трубачев 1982: 169], древнеиндоарийского [Трубачев 1994: 89] и других языков, во многом потому, что он сам в совершенстве владел этим приемом и умело использовал его при подготовке словарных статей ЭССЯ: «В нашем словаре применяется как бы **двухступенчатая модель реконструкции**: 1) сначала отбираются (реконструируются) праславянские словники для каждого из пятнадцати отдельных славянских языков; 2) только затем – путем слияния этих частных праславянских словников – получается единый словник праславянского языка и его диалектов» [Там же: 90]. Исследования российских ученых последних лет показывают, что использование приема реконструкции имеет огромное значение не только для праязыковой лексикографии, но и для изучения дописьменной истории культуры: «Взаимодействие гуманитарных, в первую очередь историко-филологических исследований, проведенных со всей скрупулезностью и с учетом методов конкретных наук, может сделать реконструкцию важнейшим источником данных, позволяющим перенести границу между историей и доисторией на несколько столетий или даже тысячелетий в глубь веков» [Герценберг, Казанский 2005: 1087].



Еще один новый прием оценки словарей (метод «замечаний на полях» при чтении) отрабатывался О.Н. Трубачевым в процессе рецензирования различных томов «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В.И. Абаева (М.; Л., 1958/1979). В частности, в рецензии ученого на второй том данного словаря основные черты указанного приема уже просматриваются, но сам прием еще не имеет точного названия: «Как уже сказано, словарь по праву вызывает у нас острый интерес, т.е. желание спорить с автором по одним вопросам и одновременное признание его правоты по другим вопросам. Свои замечания того и другого рода мы располагаем поэтому в свободном порядке, ориентируясь для удобства на порядок изложения в словаре» [Трубачев 1975b: 131]. Однако уже через 6 лет в своей рецензии на третий том указанного словаря О.Н. Трубачев дает точное название используемому им приёму рецензирования: «Отказавшись поэтому и на сей раз от пространной традиционной рецензии (ср. аналогичную нашу рецензию на т. II, – ВЯ, 1975, № 1, с. 131–135), изберем более целесообразный метод “замечаний на полях” при чтении, специально выделяя вопросы славянской и индоевропейской этимологии и реконструкции» [Трубачев 1981: 178].

##### 5. ИНЫЕ МЕТАЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫ О.Н. ТРУБАЧЕВА

Своими словарными рецензиями и удачным использованием в них традиционных и новых критериев, приемов и методов оценки словарей О.Н. Трубачев внес весомый вклад в развитие не только научной критики словарей, но и других направлений славянской металексикографии. В частности, словарную типологию он дополнил подробными описаниями ряда «совокупных типов» [Трубачев 1979: 173] этимологических словарей: историко-этимологический словарь [Трубачев 1971b: 261]; «чистый» этимологический словарь [Трубачев 1978a: 22]; частный этимологический словарь [Трубачев 1960: 60–61]; общий этимологический словарь (словарь-синтез) [Там же: 61]; словарь-реконструкция [Трубачев 1965b: 346; 1978b: 10; 1994: 90]; словарь-коллекция [Трубачев 1965b: 346; 1978b: 10]; словарь корней (корневой словарь) [Трубачев 1978a: 17; 1978c: 163]; словарь лексем (этимологический словарь) [Там же]; краткий (школьный) этимологический словарь [Трубачев 1978a: 18–19]; этимологический словарь «большекорпусного языка» («словарь-левиафан») [Трубачев 1994: 88–90] и др.

Славянскую словарную лексикологию, основными целями которой являются «ориентированная на нужды лексикографической практики трактовка наиболее важных языковых и метаязыковых явлений, ...преодоление в значительной мере искусственного разделения ряда дисциплин внутренней лингвистики и рассмотрение фонетики, фонологии, морфологии, словообразования, присловного синтаксиса в рамках лексикологии» [Морковкин 1987: 35], О.Н. Трубачев обогатил разработкой и всесторонним обоснованием требования полноты этимологического словаря, предполагающего включение в него любой лингвистической (лексической, грамматической, словообразовательной, фонетической) и экстралингвистической (энциклопедической, иллюстративной и прочей) информации, которая способствует реконструкции исходных значений и форм этимологизируемого слова [Трубачев 1960; 1965a; 1967b; 1980a; 1980b; 2002].

Учение об элементах словаря и учение об основах лексикографического конструирования основательно расширены за счет хорошо аргументированных рассуждений О.Н. Трубачева о путях и способах организации словарного пространства в рецензируемых справочных изданиях (выборе главного принципа подачи материала в словаре, установлении тесной взаимосвязи макро- и микроструктуры словаря, мотивированном использовании составителями словарей традиционных и разработке ими новых лексикографических параметров) [Трубачев 1958; 1960; 1962; 1965b; 1967c; 1969; 1971a; 1975b; 1976a; 1976b].

Учение о первичных словарных материалах сегодня трудно представить без научно обоснованных утверждений О.Н. Трубачева о принципах определения корпуса источников для создаваемых словарей, о необходимости учета составителями словарей тре-

бований точности, законченности, ясности, простоты, современности и надежности включаемых в них сведений [Трубачев 1961; 1973; 1978а; 1980а].

Наконец, учение о планировании и организации словарной работы и история славянской лексикографии только выиграют, если в рамках этих направлений славянской металексикографии будет максимально полно учтен более чем сорокалетний опыт подготовки и издания О.Н. Трубачевым десятков выпусков ЭССЯ и серии сборников статей «Этимология» [Трубачев 1995; 2001; 2002].

Тезисное изложение многочисленных теоретических и практических новаций О.Н. Трубачева, которыми в результате публикации им своих словарных рецензий обогащались самые разные направления славянской металексикографии, обусловлено тем, что практически все эти новации использовались исследователем в процессе рецензирования словарей, а потому уже рассматривались нами выше в процессе анализа традиционных и новых критериев, приемов и методов оценки словарей. Такое многофункциональное использование металексикографических новаций О.Н. Трубачева является лучшим свидетельством того, что в процессе рецензирования словарей, как правило, реализуется весь профессиональный опыт рецензента, накопленный им в области практической и теоретической лексикографии.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение содержания словарных рецензий О.Н. Трубачева, опубликованных на протяжении 1957–2002 гг., позволяет нам сделать следующие выводы:

1. В процессе рецензирования словарей разных типов и языков О.Н. Трубачев использовал все основные критерии оценки словарной продукции, которые в зарубежной металексикографии традиционно относятся к такому ее направлению, как научная критика словарей. Кроме того, О.Н. Трубачев развил данное направление за счет принципиально новых, разработанных непосредственно им приемов и методов оценки словарей (приема параллельного чтения словарей, метода стратиграфии славянского словаря, приема двухступенчатой лексической реконструкции, метода «замечаний на полях» при чтении и др.). Последнее свидетельствует о правомерности и целесообразности выделения научной критики словарей славянских языков в качестве отдельного направления славянской металексикографии.

2. В результате осуществления научной критики словарей обогащаются все без исключения направления металексикографии. В свою очередь, новейшие достижения и наработки практической и теоретической лексикографии в той или иной форме используются профессиональными лексикографами в процессе рецензирования ими словарей. Таким образом, налицо наличие тесных взаимосвязей между различными направлениями словарной науки, образующими единую научную дисциплину – теоретическую лексикографию.

3. В подавляющем большинстве словарных рецензий О.Н. Трубачева (в 62-х из 76-ти) рассматриваются этимологические словари славянских и других языков, что позволяет нам назвать в качестве главного объекта научных интересов рецензента этимологию. В пользу данного вывода говорят и результаты библиометрического анализа более 700 словарных ссылок, выявленных нами в работах ученого разных лет [Щербин 2006]. Вместе с тем, исключительно широкий охват разнотипных лексикографических изданий, которые упоминаются в словарных рецензиях, посвященных этимологическим словарям, свидетельствует о том, что из многочисленных направлений аспектной лексикографии по богатству используемых словарных источников этимологическая лексикография ближе всего стоит к научной критике словарей, а следовательно, именно этимологическая лексикография может стать главным связующим звеном между аспектной лексикографией и металексикографией.

4. Весомый и разносторонний вклад, сделанный О.Н. Трубачевым в развитие славянской лексикографии и металексикографии, его бесконечно разнообразный интерес к словарям самых разных языков и типов дают нам основания использовать в от-

ношении этого выдающегося российского этимолога и лексикографа понятие словарной личности. На наш взгляд, словарной личностью можно назвать лексикографа или иного специалиста в области лингвистики, который всесторонне освоил все языковое и типологическое разнообразие существующей словарно-справочной литературы и своей профессиональной деятельностью определяет направления дальнейшего развития этого текстового жанра. Именно такой словарной личностью в славянском языкознании второй половины XX века и был академик Олег Николаевич Трубачев.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вахрос 1959 – *И.С. Вахрос*. Наименования обуви в русском языке. I. Древнейшие наименования – до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959.
- Герценберг, Казанский 2005 – *Л.Г. Герценберг, Н.Н. Казанский*. Праязыковая реконструкция: общие проблемы // Вестник РАН. 2005. Т. 75. № 12.
- Михайлов 2001 – *О.В. Михайлов*. Цитируемость ученого: важнейший ли это критерий качества его научной деятельности? // Науковедение. 2001. № 1.
- Морковкин 1987 – *В.В. Морковкин*. Об объеме и содержании понятия «теоретическая лексикография» // ВЯ. 1987. № 6.
- ОНТ 2003 – *Е.П. Чельшев (гл. ред.); Г.А. Богатова (отв. ред.)*. Олег Николаевич Трубачев: Научная деятельность: Хронологический указатель трудов. М., 2003.
- Степанов 2001 – *Ю.С. Степанов*. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд. М., 2001.
- Трубачев 1957 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954–1955. Lfg. 1–3. XI // ВЯ. 1957. № 3.
- Трубачев 1958 – *О.Н. Трубачев*. Новые этимологические словари славянских языков [Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–56. № 1; Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957] // ВЯ. 1958. № 4.
- Трубачев 1960 – *О.Н. Трубачев*. Об этимологическом словаре русского языка [Рец.: Фасмер М. Русский этимологический словарь] // ВЯ. 1960. № 3.
- Трубачев 1961 – *О.Н. Трубачев*. Об одном опыте популяризации этимологии [Рец.: Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. М., 1961] // ВЯ. 1961. № 5.
- Трубачев 1962 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Вахрос И.С. Наименования обуви в русском языке. I. Древнейшие наименования – до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959 // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. 1962. № 35.
- Трубачев 1963 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1961. Т. 2. Zesz. 2 // Этимология: Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963.
- Трубачев 1965a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Георгиев В. и др. Български етимологичен речник. Св. I, II. София, 1962 // Этимология: Принципы реконструкции и методика исследований. М., 1965.
- Трубачев 1965b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1963. Lfg. 1 // Этимология: Принципы реконструкции и методика исследований. М., 1965.
- Трубачев 1965c – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1963. Т. II. Zesz. 3 // Этимология: Принципы реконструкции и методика исследований. М., 1965.
- Трубачев 1965d – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Striedter-Temps H. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin; Wiesbaden, 1963 // Этимология: Принципы реконструкции и методика исследований. М., 1965.
- Трубачев 1967a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Schulz G.V. Studien zum Wortschatz der russischen Zimmerleute und Bautischler. Berlin; Wiesbaden, 1964. XVIII // Этимология, 1965: Материалы и исследования по индоевропейскому и другим языкам. М., 1967.
- Трубачев 1967b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Георгиев В. и др. Български етимологичен речник. София, 1964. Св. 3 // Этимология, 1965: Материалы и исследования по индоевропейскому и другим языкам. М., 1967.

- Трубачев 1967с – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1964. Lfg. 2 // *Этимология*, 1965: Материалы и исследования по индоевропейскому и другим языкам. М., 1967.
- Трубачев 1967d – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962. T. I. Cz. 2; 1964. T. II. Cz. 1 // *Этимология*, 1965: Материалы и исследования по индоевропейскому и другим языкам. М., 1967.
- Трубачев 1969 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Polański K., Sehnert J.A. Polabian-English dictionary. The Hague; Paris, 1967 // *Этимология*, 1967: Материалы Междунар. симпоз. «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии», 24–31 янв. 1967 г. М., 1969.
- Трубачев 1971a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1967. Lfg. 3 // *Этимология*, 1968. М., 1971.
- Трубачев 1971b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest, 1967 // *Этимология*, 1968. М., 1971.
- Трубачев 1971с – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Scholz F. Slavische Etymologie. Eine Anleitung zur Benutzung etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966 // *Этимология*, 1968. М., 1971.
- Трубачев 1973 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Budapest, 1970. K. 2 // *Этимология*, 1971. М., 1973.
- Трубачев 1974 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1971. T. IV. Zesz. 2 // *Этимология*, 1972. М., 1974.
- Трубачев 1975a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1972. T. IV. Zesz. 3 // *Этимология*, 1973. М., 1975.
- Трубачев 1975b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1973. Т. 2 // *ВЯ*. 1975. № 1.
- Трубачев 1975с – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Unbegaun B.O. Russian surnames. Oxford, 1972. XVIII // *Этимология*, 1973. М., 1975.
- Трубачев 1976a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1. Předložky. Koncové partikule. Praha, 1973 // *Этимология*, 1974. М., 1976.
- Трубачев 1976b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1973. T. IV. Zesz. 4 // *Этимология*, 1974. М., 1976.
- Трубачев 1976с – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1973. Lfg. 6 // *Этимология*, 1974. М., 1976.
- Трубачев 1976d – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Stang Chr.S. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1972 // *Этимология*, 1974. М., 1976.
- Трубачев 1977 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław; Kraków; Gdańsk, 1974. T. 1 // *Этимология*, 1975. М., 1977.
- Трубачев 1978a – *О.Н. Трубачев*. *Этимологические исследования восточнославянских языков: Словари* // *ВЯ*. 1978. № 3.
- Трубачев 1978b – *О.Н. Трубачев*. *Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь (Опыт параллельного чтения)* // *Этимология*, 1976. М., 1978.
- Трубачев 1978с – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław; Kraków; Gdańsk, 1976. T. 2 // *Этимология*, 1976. М., 1978.
- Трубачев 1979 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Malkiel Y. Etymological dictionaries: A tentative typology. Chicago; London, 1976 // *Этимология*, 1977. М., 1979.
- Трубачев 1980a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Георгиев В. и др. Български етимологичен речник. София, 1976. Св. 11 / 12; София, 1977. Св. 13 / 14 // *Этимология*, 1978. М., 1980.
- Трубачев 1980b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1977. T. V. Zesz. 3 // *Этимология*, 1978. М., 1980.
- Трубачев 1981 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1979. Т. 3 // *Этимология*, 1979. М., 1981.
- Трубачев 1982 – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Słownik prasłowiański. Wrocław; Kraków; Gdańsk, 1979. T. III // *Этимология*, 1980. М., 1982.
- Трубачев 1985a – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Malingoudis Ph. Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flußnamen aus der messenischen Mani. Wiesbaden, 1981 // *Этимология*, 1982. М., 1985.
- Трубачев 1985b – *О.Н. Трубачев*. Рец.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1979. T. V. Zesz. 4 // *Этимология*, 1982. М., 1985.

- Трубачев 1994 – *О.Н. Трубачев*. Маргиналии к новому «Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка» М. Майрхофера // ВЯ. 1994. № 3.
- Трубачев 1995 – *О.Н. Трубачев*. Славяне: язык и история – как основа этногенеза: К 20-летию издания «Этимологического словаря славянских языков: Праславянский лексический фонд» (1974–1994, I–XX, А–М) // Южнославянский филолог. 1995. LI.
- Трубачев 2001 – *О.Н. Трубачев*. Из воспоминаний (посвящается 25-летию начала публикации Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ): 1974–1999 гг.) // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
- Трубачев 2002 – *О.Н. Трубачев*. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003) // ВЯ. 2002. № 4.
- Шапошников 2005 – *А.К. Шапошников*. Хроникальные заметки // ВЯ. 2005. № 3.
- Шчэрбін 2003 – *В.К. Шчэрбін*. Агляд сацыялінгвістычнай праблематыкі беларускай лексікаграфіі // Язык и социум: Материалы V Междунар. науч. конф. 6–7 дек. 2002 г., Минск. В 2-х ч. Ч. II. Минск, 2003.
- Шчэрбін 2005 – *В.К. Шчэрбін*. Пытанні агульнага навуказнаўства ў працах акадэміка А.М. Трубачова // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2005. № 4.
- Щербин 1999 – *В.К. Щербин*. Социология словаря // Социология. 1999. № 3.
- Щербин 2006 – *В.К. Щербин*. Словарный мир академика О.Н. Трубачева (по данным библиометрического анализа словарных ссылок в работах ученого) // Междунар. конф. «Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры. IV Чтения памяти академика О.Н. Трубачева» (Алупка–Херсонес, 22–26 сентября 2006 г.): Тезисы докладов и сообщений. Киев; Москва, 2006.
- Chapman 1977 – *R.L. Chapman*. Dictionary review and reviewing: 1900–1975 // I.W. Russel (eds.). J.B. McMillan: Essays in linguistics by his friends and colleagues. / J.C. Raymond, Alabama, 1977.
- Hausmann 1986 – *F.J. Hausmann*. The training and professional development of lexicographers in Germany // R. Ilson (ed.). Lexicography: An emerging international profession. Oxford, 1986.
- James 1994 – *G. James*. Lexicography, Indian // The encyclopedia of language and linguistics. V. 4. Oxford, 1994.
- Landau 1996 – *S.I. Landau*. Dictionaries: The art and craft of lexicography. New York, 1996.
- Quirk 1986 – *R. Quirk*. Opening remarks // R. Ilson (ed.). Lexicography: An emerging international profession. Oxford, 1986.
- Malingoudis 1981 – *Ph. Malingoudis*. Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Fließnamen aus der messenischen Mani. Wiesbaden, 1981.
- Malkiel 1968 – *Y. Malkiel*. A typological classification of dictionaries on the basis of distinctive features // Y. Malkiel. Essays on linguistic themes. Oxford, 1968.
- Malkiel 1976 – *Y. Malkiel*. Etymological dictionaries: A tentative typology. Chicago; London, 1976.
- Osselton 1989 – *N.E. Osselton*. The history of Academic dictionary criticism with reference to major dictionaries // Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires: An International encyclopedia of lexicography. V. 1. Berlin; New York, 1989.
- Polański, Sehnert 1967 – *K. Polański, J.A. Sehnert*. Polabian-English dictionary. The Hague; Paris, 1967.
- Schulz 1964 – *G.V. Scholz*. Studien zum Wortschatz der russischen Zimmerleute und Bautischler. Berlin; Wiesbaden, 1964.
- Stang 1972 – *Ch.S. Stang*. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo etc., 1972.
- Striedter-Temps 1963 – *H. Striedter-Temps*. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin; Wiesbaden, 1963.
- Udolph 1979 – *J. Udolph*. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979.
- Unbegaun 1972 – *B.O. Unbegaun*. Russian Surnames. Oxford, 1972.
- Wiegand 1983 – *H.E. Wiegand*. On the structure and contents of a general theory of lexicography // R.R. Hartmann (ed.). Lexicographica, Series Major 1. «Lexeter 83». Proceedings: Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9–12 Sept. 1983. Exeter, 1983.

© 2007 г. А. В. ГЛАДКИЙ

## О ТОЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ В ЛИНГВИСТИКЕ И ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Статья посвящена анализу причин, затрудняющих развитие лингвистики по естественному пути, состоящему в наше время в уточнении понятий и методов, связанном во многих случаях – но далеко не всегда – с использованием математического аппарата. Главными причинами, по убеждению автора, являются широко распространенные среди лингвистов и других гуманитарных ученых ошибочные мнения: о принципиальном отличии законов, господствующих в мире человеческого духа, от законов природы; о тождестве точных методов с математическими; о числе как главном предмете математики. При сопоставлении с фактами и строгим логическом анализе ошибочность этих мнений становится очевидной.

### I

Когда в 50-х гг. теперь уже прошлого столетия некоторые молодые лингвисты, задумавшись о возможности применения математических методов для исследования структуры языка, начали сотрудничать с математиками и сами всерьез взялись за изучение математики, это вызвало у очень многих их коллег удивление и даже возмущение – они ведь с детства были убеждены, что гуманитарные науки, одной из которых является лингвистика, с математикой и другими «точными» науками не имеют и не могут иметь ничего общего. Многие лингвисты считали эти «новые веяния» данью некоей преходящей моде и видели в них попытку «дегуманизировать» языкознание, устранить из него «человеческий фактор» и тем самым увести науку о языке в сторону от ее предмета.

Между тем наличие тесной связи между естественным языком и математикой вовсе не было в то время новым открытием. Л.С. Выготский писал в опубликованной в 1934 г. книге «Мышление и речь»: «Первым, кто увидел в математике мышление, происходящее из языка, но преодолевающее его, был, по-видимому, Декарт» и продолжал: «Наш обычный разговорный язык из-за присущих ему колебаний и несоответствий грамматического и психологического находится в состоянии подвижного равновесия между идеалами математической и фантастической гармонии и в непрерывном движении, которое мы называем эволюцией» [Выготский 1982: 310]. Возникшее в Древней Греции учение о грамматических категориях уже представляло собой описание ряда важнейших аспектов строения языка с помощью абстрактных моделей – не математических, но близких по стилю к тем моделям, которые были созданы древнегреческими математиками для описания пространственных форм и отношений между величинами; только привычность таких понятий, как падеж, род и т. п., ставших, как писал Х. Штейнталь, «нашей второй натурой» [Steinthal 1863: 3], мешает нам понять, какого высокого уровня абстрактного мышления потребовало их создание. Так что удивляться следовало бы скорее тому, что первые попытки использовать для описания языкового «идеала математической гармонии» настоящие математические средства были предприняты лишь в середине XX столетия.

Можно указать две причины такого «запоздания». Во-первых, наука о языке после значительных шагов, сделанных в античную эпоху, снова начала по-настоящему развиваться только в XIX столетии, а в течение всего этого столетия главное внимание

лингвистов было обращено на историю языка. Лишь в следующем веке, который вообще был для гуманитарных наук веком структурализма – подобно тому, как предыдущий был веком историзма, – лингвистика впервые после античного периода обратилась к изучению языковых структур, но уже на новом уровне. Когда лингвисты осознали, что язык представляет собой, говоря словами Ф. де Соссюра, «систему чистых отношений», т.е. систему знаков, физическая природа которых несущественна, а существенны только отношения между ними, стала совершенно очевидна параллель между языком и математическими конструкциями, которые также являются «системами чистых отношений» (от всех других наук, изучающих материальный мир, математика отличается именно тем, что интересуется только отношениями между своими объектами, отвлекаясь от их материальной природы), и уже в начале XX столетия тот же де Соссюр мечтал об исследовании языка математическими средствами. Во-вторых, в математике в начале Нового времени вышли на первый план количественные методы, и только в XIX веке математики снова начали строить неколичественные абстрактные модели, отличавшиеся от античных более высоким уровнем абстракции, а также – что для нашей темы особенно важно – тем, что они были пригодны для описания значительно более широкого круга явлений, чем пространственные формы и отношения между величинами, и нередко оказывались удобным и даже необходимым средством для изучения таких явлений, о которых строившие их математики вовсе не думали и даже не знали об их существовании<sup>1</sup>. Среди этих моделей были и те, которые впоследствии получили применение в лингвистике; особенно интенсивное развитие математических дисциплин, содержанием которых было их построение и изучение (математической логики и абстрактной алгебры), пришлось на первую половину XX столетия. Поэтому встреча математики и лингвистики в середине этого столетия была вполне закономерна.

Одним из результатов этой встречи было возникновение новой математической дисциплины – математической лингвистики, предметом которой стала разработка математического аппарата для лингвистических исследований. Центральное место в математической лингвистике занимает теория формальных грамматик, по характеру используемого в ней аппарата родственная математической логике и в особенности теории алгоритмов. Она доставляет формальные методы описания правильных языковых единиц различных уровней, а также, что особенно существенно, формальные методы описания преобразований языковых единиц – как на одном уровне, так и межуровневых. К теории формальных грамматик примыкает теория синтаксических структур, значительно более простая в отношении аппарата, но не менее важная для лингвистических приложений. В математической лингвистике разрабатываются также аналитические модели языка, в которых на основе тех или иных – считающихся известными – данных о «правильных текстах» производятся формальные построения,

---

<sup>1</sup> Сами математики в полной мере осознали, что их конструкции представляют собой «системы чистых отношений», лишь к концу XIX века. С предельной ясностью идея абстрагирования от природы объектов была проведена в знаменитой книге Д. Гильберта «Основания геометрии» [Hilbert 1899], в начале которой он писал: «Мы мыслим три различные системы вещей: вещи первой системы мы называем точками; вещи второй системы мы называем прямыми; вещи третьей системы мы называем плоскостями». В устных беседах Гильберт добавлял: «Конечно, эти вещи можно было бы называть не точками, прямыми и плоскостями, а, скажем, столами, стульями и пивными кружками». В отличие от системы Гильберта (и всех более поздних аксиоматических систем геометрии) аксиоматическая система Евклида была привязана к наглядному смыслу геометрических образов. И хотя со времен Декарта в «математический обиход» вошло представление точки в виде тройки чисел, плоскости в виде линейного уравнения, зависящего от трех переменных, и прямой в виде системы двух таких уравнений, для полного осознания, что физическая природа этих «вещей» несущественна, понадобились еще два с половиной столетия.

результатом которых является описание тех или иных «составных частей» механизма языка.

Как обычно бывает с математическими (и не только математическими) дисциплинами, возникшими из прикладных задач, в математической лингвистике сразу появились собственные проблемы, не связанные с приложениями, и в то же время сфера приложений расширилась: формальные грамматики оказались незаменимым средством для описания языков программирования. (Гуманитарные приложения также не ограничиваются лингвистикой; например, построенное В.Я. Проппом [Пропп 1928] описание структуры волшебной сказки допускает простое, ясное и наглядное представление на языке формальных грамматик, делающее это описание намного более прозрачным.)

Разумеется, с помощью математического аппарата можно описать только один из двух идеалов языка, о которых говорил Выготский<sup>2</sup>; поэтому часто раздающиеся возражения против использования той или иной математической модели (или математических моделей вообще) на том основании, что такие-то и такие-то частные случаи она не охватывает, не имеют смысла: для описания присущих языку «колебаний и несоответствий» нужны совсем другие, не математические средства, и как раз четкое описание «математического идеала» могло бы помочь их находить, поскольку оно позволило бы ясно отграничивать в языке «фантастическое» от «математического». Но это пока что дело будущего.

Не меньшее, а может быть и большее значение, чем возникновение математической лингвистики, имело непосредственное проникновение в лингвистику фундаментальных математических идей и понятий – таких, как множество, функция, изоморфизм. В современной лингвистической семантике важную роль играют пришедшие из математической логики понятия предиката и квантора. (Первое из них возникло в логике еще в античную эпоху, когда она не отграничивалась от лингвистики, и теперь вернулось в лингвистику в обобщенном и математически обработанном виде.) Но, пожалуй, самым важным результатом «встречи лингвистики и математики» стало постепенное уточнение языка лингвистических исследований и дисциплинирование мысли, происходящее благодаря проникновению в лингвистику «математического духа» не только в тех ее областях, где возможно непосредственное использование математических идей и методов. Все это можно коротко резюмировать так: лингвистика становится все более точной и все более объективной наукой – не переставая, само собой, быть наукой гуманитарной<sup>3</sup>.

Как повлияла «встреча с математикой» на конкретные лингвистические исследования? В рамках журнальной статьи придется ограничиться немногими примерами.

1. С появлением математического аппарата для описания синтаксических структур возникло несколько новых направлений в теории синтаксиса<sup>4</sup>. В частности, стало возможно систематическое изучение взаимоотношения между синтаксическими связями и линейным порядком слов в предложении; впервые стала изучаться как самостоятельное явление синтаксическая омонимия; стало возможно количественное измерение «синтаксической громоздкости» предложений. Кроме того, этот аппарат стал незаменимым рабочим инструментом прикладных исследований, которые привели к

---

<sup>2</sup> Тем самым математический аппарат упрощает и огрубляет языковую действительность, но таково свойство не только математической, но и всякой вообще научной теории. Наука – в отличие от искусства – всегда упрощает, огрубляет, разлагает на части, и только благодаря этому она возможна.

<sup>3</sup> Популярное противопоставление точных и гуманитарных наук логически некорректно: его члены взяты из разных классификаций – по методу и по предмету. Как ни странно, этот очевидный факт очень часто упускают из вида.

<sup>4</sup> Изложение различных способов описания синтаксических структур математическими средствами и обсуждение возможностей их использования см. в книге [Гладкий 1985]. Там же имеется библиография по этой теме.



возникновению экспериментальной лингвистики, позволяющей получать результаты, важные не только для приложений, но и для развития лингвистических теорий.

2. Использование очень простого математического аппарата, не выходящего за рамки первоначальных понятий теории множеств, позволило сформулировать строгие определения некоторых традиционных грамматических категорий. Классический пример – восходящее к идеям А.Н. Колмогорова и В.А. Успенского определение падежа, содержащееся в книге [Зализняк 1967]. Благодаря уточнению понятия падежа появилась возможность точно описывать различные значения, в которых используется термин «падеж» в разных грамматических традициях (см. [Зализняк 1973]).

3. Книга [Зализняк 1967] может также служить образцом лингвистического описания нового типа – описания, основанного на системе точных понятий. В частности, в этой книге впервые были четко описаны различные смыслы, в которых употребляется в лингвистике слово «слово», и впервые было уточнено понятие грамматической категории; в ней же впервые появились акцентуированные парадигмы. Это описание позволило сделать неожиданные открытия, относящиеся не только к таким фактам, которые ранее не были предметом систематического изучения, но и к таким, о которых, как казалось, все было давно уже досконально известно: А.А. Зализняк обнаружил, например, что у русских *pluralia tantum*, у которых, как считалось раньше, нет рода, на самом деле род имеется. (Стоит отметить, что построенное в книге [Зализняк 1967] описание русского именного словоизменения очень быстро получило признание: в фундаментальной коллективной монографии [Грамматика 1970] об именном словоизменении рассказывается по Зализняку.) Одним из важнейших событий в русистике было появление словаря [Зализняк 1977], снабженного ясно сформулированными указаниями, позволяющими построить все грамматические формы любой имеющейся в нем лексемы<sup>5</sup>. Использование точных понятий и строгая дисциплина мысли характерны и для работ А.А. Зализняка по другой тематике – в частности, для его исследований по древнерусскому языку; в качестве примера можно привести недавно вышедшую книгу [Зализняк 2004].

4. Самый яркий, на мой взгляд, результат революции, фактически происшедшей в лингвистике в середине XX столетия, состоит в том, что она привела к прорыву в лингвистической семантике, прежнее состояние которой можно сравнить с состоянием ботаники до Линнея: семантические исследования сводились в лучшем случае к описанию значений отдельных слов, словосочетаний или синтаксических конструкций без всяких попыток систематизации или унификации языка описаний. После этой революции для описания семантического уровня языка были построены модели, сравнимые с теми, которые с античных времен используются для описания морфологического уровня. На первое место здесь следует поставить, по моему убеждению, предложенную И.А. Мельчуком модель «Смысл ↔ Текст», важнейшей составной частью которой являются разработанные им совместно с А.К. Жолковским теория синтаксической синонимии и теория лексических функций (см. [Жолковский, Мельчук 1967; Мельчук 1974; 1995; 1997]). В основе этой модели лежит математическое понятие функции: язык рассматривается в ней как функция или, точнее, система функций (разумеется, чрезвычайно сложная), отображающая множество «смыслов» на множество «текстов». В рамки модели «Смысл – Текст» вписываются в своей основной части исследования Ю.Д. Апресяна по лексической семантике (см. [Апресян 1967; 1974]). Система понятий, разработанная И.А. Мельчуком, А.К. Жолковским и Ю.Д. Апресяном, легла в основу работы основанной ими Московской семантической школы, одним из главных результатов которой можно считать возникновение системной лексикографии (см. [Апресян 1995; 2005]) – иначе говоря, превращение лексикографии из чисто

<sup>5</sup> Стоит заметить, что этот словарь, созданный в «докомпьютерную эпоху», до сих пор остается, насколько мне известно, наиболее полным словарем русского языка (разумеется, с поправкой на возникшие после его создания неологизмы).

прикладной области деятельности в теоретическую лингвистическую дисциплину (полезную, впрочем, и для решения прикладных задач). Весьма крупный вклад в развитие лингвистической семантики внес И.М. Богуславский, построив в рамках модели «Смысл – Текст» общую теорию сфер действия лексических единиц, целью которой является описание того, каким образом значения отдельных слов, входящих в состав предложения, объединяются в единое целое, образующее значение всего предложения (см. [Богуславский 1985] и в особенности [Богуславский 1996])<sup>6</sup>. Модели иного типа используются в работах Е.В. Падучевой (см., например [Падучева 1974; 1985]) и в до сих пор не оцененных по достоинству работах Ю.С. Мартемьянова (его главные труды собраны в вышедшем посмертно однотомнике [Мартемьянов 2004]). Наряду с этими капитальными исследованиями можно было бы назвать много работ, не вписывающихся в рамки модели «Смысл – Текст», но несомненно обязанных своим появлением той особой атмосфере, которая возникла благодаря Московской семантической школе; здесь я позволю себе привести пример, относящийся к частному вопросу, но близкий мне лично: описание значений некоторых «логических слов» естественного языка, изложенное в статьях [Гладкий 1979; 1982; Гладкий, Дрейзин 1983]<sup>7</sup>.

5. К приведенным выше широко известным примерам мне хотелось бы добавить еще один, не получивший столь широкой известности. Это работы необыкновенно одаренного лингвиста Б.В. Сухотина (1937–1991), пошедшего по совершенно новому пути, но не создавшего своей «школы». Его внимание привлекла задача разработки общих методов лингвистической дешифровки<sup>8</sup>. Для всех его работ, начиная с самых первых, была характерна чрезвычайная ясность мысли – в частности, очень ясное представление о границах возможностей математического моделирования фактов языка. Обладая прекрасными математическими способностями, он самостоятельно овладевал необходимым для его целей сложным математическим аппаратом, и при этом аппарат в его работах был в точности такой, какой был строго необходим для решения поставленной задачи, без всяких «математических излишеств», нередко встречавшихся в героическую эпоху «новой лингвистики» у авторов, только что познакомившихся с началами некоторых математических дисциплин, не входивших в школьную программу. Впоследствии Б.В. Сухотин предложил использовать для моделирования естественного языка аппарат тензорного исчисления; соображения в пользу такого способа моделирования, изложенные им в статье [Сухотин 1978], составляют, по существу, развернутую программу, которая все еще ожидает реализации.

## II

Итак, естественный путь развития лингвистики состоит в наше время в постепенном уточнении понятий и методов, во многих случаях – хотя и не всегда – связанном с использованием математического аппарата. Однако на этом пути стоят серьезные препятствия, которые могут надолго затормозить развитие. Главное из них – возникшее в начале Нового времени «разделение факультетов»: естествоиспытатели и мате-

<sup>6</sup> По словам самого И.М. Богуславского, он придерживался в своей работе скорее духа теории Мельчука, чем ее буквы [Богуславский 1996: 21].

<sup>7</sup> Работа по формализации и систематизации лингвистической семантики ведется не только в нашей стране. Несколько направлений «формальной семантики» возникло в США (самые известные из них – «школа Хомского» и «школа Монтегю», или «теоретико-модельная семантика»), ведутся исследования и в других странах. В последнее время, особенно после падения «железного занавеса», наметилась тенденция к интернационализации семантических исследований. В ряде европейских стран появились исследователи, пользующиеся методами Московской семантической школы или близкими к ним, а в Москве регулярно проводятся семинары и конференции по теоретико-модельной семантике с участием российских и зарубежных лингвистов.

<sup>8</sup> Весьма обстоятельный очерк разработанных им методов лингвистической дешифровки Б.В. Сухотин дал в работе [Сухотин 1969]. Там же имеется библиография.

матики, с одной стороны, и гуманитарные ученые, с другой, не интересуются работой коллег «на другом факультете» и, более того, в глубине души, а нередко и открыто презирают их. Математики и естествоиспытатели (и еще больше «технари») склонны видеть в гуманитарных исследованиях всего лишь некое «украшение» или даже «пустую болтовню», а «гуманитарии» готовы терпеть математику и естественные науки лишь ради практической пользы и убеждены, что постижению природы человеческого духа они ничем помочь не могут. Только в середине XIX столетия в этой, по выражению великого биолога и великого мыслителя Конрада Лоренца, «зловредной стене между естественными и гуманитарными науками (die böse Mauer zwischen Natur- und Geisteswissenschaften)» [Lorenz 1973a: 258], была пробита первая брешь в самом тонком месте, отделявшем логику от математики. В XX столетии появились и другие бреши – среди них и та, которую пробили с двух сторон лингвисты и математики, – но их все еще мало, стена крепка до сих пор, и нет недостатка в усилиях с обеих сторон укреплять ее дальше и заделывать пробоины. Нередко эти усилия бывают довольно успешны; последнее «достижение» в этом направлении – «профильное образование» в средней школе, уже в детстве разделяющее способных и интересующихся людей на «факультеты» и приучающее их гордиться невежеством в «чужих» науках – может очень сильно воспрепятствовать дальнейшему сближению естественных и гуманитарных наук, настоятельно необходимому для нормального развития тех и других. Одно из последствий воздвижения стены состоит в том, что подавляющее большинство «гуманитариев», в том числе и лингвистов, ничего не знает даже об азах как раз тех разделов математики, которые имеют наибольшее значение для гуманитарных наук, и представляет себе математику как человека, занятого исключительно вычислениями.

Выше уже говорилось о причинах, в силу которых «встреча лингвистики и математики» произошла только в 50-х гг. XX столетия. Но кроме этих объективных причин была еще одна, субъективная, и состояла она именно в недостаточном знакомстве лингвистов с математикой: даже те из них, которые стремились разработать точные методы исследования структуры языка, представляли себе математику как науку о количестве. Яркой иллюстрацией этого служит судьба возникшей в 30-х гг. копенгагенской школы структурной лингвистики.

Создатели этой школы Л. Ельмслев и Х.И. Ульдалль были убеждены, что гуманитарные науки могут и должны так же, как естественные, стремиться к максимальной точности, и поставили себе задачу выработать систему точных понятий, на основе которой можно было бы построить общую теорию языка. В математике они базы для такой системы не увидели, так как считали математику прежде всего «наукой о количестве», и попытались создать новую науку – «глоссематику», которая должна была стать «пролегоменами к теории языка» и вообще основой методологии гуманитарных наук. Образцом для них была все-таки математика: Ельмслев пишет, что лингвистическая теория «представляет собой исчисление» и что она «позволяет выводить теоремы» [Ельмслев 1960: 275], утверждает, что определения в этой теории должны быть строго формальными [Там же: 281], что ее метод должен быть дедуктивным [Там же: 291]; Ульдалль называет глоссематическую теорию «глоссематической алгеброй» и замечает, что «глоссематическая алгебра многим обязана символической логике<sup>9</sup>» [Ульдалль 1960: 414]. Однако знакомство создателей глоссематики с логическими и математическими исчислениями и вообще с методами математики было, к сожалению, довольно поверхностным. Это проявилось во многих местах цитированных работ, но прежде всего в том, что образцом дедуктивной теории послужила для них, как хорошо видно из «Пролегоменов к теории языка», система Евклида, при всех своих исключительных достоинствах устаревшая уже к концу XIX столетия. Эта система начинается с определений, которые далее нигде не используются; в действительности доказательства теорем у Евклида, хотя они и производятся с помощью логических

<sup>9</sup> В 30-е годы так обычно называли математическую логику.

рассуждений, основаны на наглядном смысле геометрических образов. Многочисленные определения, содержащиеся в «Прологоменах», не могут «работать» точно так же, как определения Евклида, и по той же причине – эти определения сводят сложные понятия не к более простым, а к столь же или даже более сложным. (Уже в самом начале списка определений мы сталкиваемся с тем, что «деление» определяется через «единообразные зависимости».) А так как опереться, подобно Евклиду, на наглядный смысл не позволяла природа материала, строгие доказательства оказались невозможными.

Что получалось при попытке применить принципы глоссематики в конкретном лингвистическом исследовании, можно видеть на примере большой работы Ельмслева «La catégorie des cas» [Hjelmslev 1935–1937]. В ее первом разделе, озаглавленном «Problème», автор дает весьма обстоятельный и содержательный исторический обзор и высказывает ряд очень интересных соображений о природе падежа. Во втором разделе – «Système» – он строит схемы и последовательности символов, внешне напоминающие математические формулы. Кульминация этих построений – очень красивый чертеж, представляющий универсальную систему падежей в виде параллелепипеда, фактически четырехмерного [Hjelmslev 1935: 136]<sup>10</sup>. Далее под углом зрения универсальной системы рассматриваются падежные системы большого числа языков (в основном кавказских; в третьей части автор намеревался рассмотреть индоевропейские и финно-угорские). Однако смысл этих конструкций описывается нечетко, и возникает впечатление, что многие утверждения об их свойствах произвольны и субъективны. Если первый раздел написан ясно, то второму, претендующему на строгость и точность, именно ясности, строгости и точности явно не хватает. Проигрывает система Ельмслева в отношении объективности и убедительности также при сравнении с теорией падежа, предложенной в 1936 г. Р.О. Якобсоном [Jakobson 1936] и изложенной им без претензий на формальную строгость<sup>11</sup>. Таким образом, предпринятая Ельмсловом попытка построить дедуктивную теорию падежа оказалась неудачной и подтвердила только, что построение строгой и точной лингвистической теории на основе принципов глоссематики невозможно<sup>12</sup>.

Но неудачная система понятий глоссематики не должна заслонять великую заслугу основателей копенгагенской лингвистической школы: они не только были в числе первых «гуманитариев», которые отчетливо сформулировали тезис, что науки о человеческом духе и человеческом обществе могут и должны стремиться к точности и объективности так же, как науки о природе, но и привели в защиту этого тезиса ясные и убедительные доводы<sup>13</sup>. Попытавшись воплотить его в жизнь на материале лингвистики, они пошли по неверному пути, но, как известно, подобные ошибки в развитии

<sup>10</sup> Деление этой работы на части, напечатанные в разных выпусках трудов Орхусского университета, не совпадает с делением на разделы «Problème» и «Système», которые автор нумерует римскими цифрами. Первая часть, занимающая 196 стр., содержит раздел I и начало раздела II, вторая, занимающая 88 стр., – продолжение раздела II. В предисловии ко второй части автор кратко перечисляет вопросы, которым он намерен посвятить третью и последнюю часть. (Эта часть, по-видимому, не вышла.)

<sup>11</sup> В статье, где изложена эта теория, Якобсон высоко оценивает работу Ельмслева, но его оценка относится только к первому разделу. «Значение книги Ельмслева, – пишет он, – в критическом разборе старых учений о падеже и в ясной, продуманной постановке вопроса». (Стоит заметить, что это было написано до выхода в свет второй части.) С такой оценкой нельзя не согласиться, и можно добавить, что во втором разделе также есть немало интересного (хотя и не благодаря «системе», а несмотря на нее). Резкая критика теории Ельмслева, содержащаяся в книге [Serbat 1981], во многом несправедлива.

<sup>12</sup> Попытки применять «математикоподобные» рассуждения к объектам, к которым они в принципе неприменимы, предпринимались еще в XVII столетии и не прекращаются до сего времени. См. об этом в гл. 14 моей книги «Введение в современную логику» [Гладкий 2001].

<sup>13</sup> Перечитав сейчас первую часть «Основ глоссематики» (вторую я, к сожалению, не читал), я поразился тому, что очень многое в ней перекликается с идеями Лоренца и Поппера, чьи главные книги были написаны позже.

науки неизбежны, а их осмысление часто помогает найти верный путь. Спустя полвека после «встречи лингвистики и математики» сильные и слабые стороны их работ разглядеть нетрудно.

### III

Тем не менее и в наши дни все еще приходится встречаться с повторением главной ошибки создателей копенгагенской школы (сейчас гораздо менее прощательной, чем семьдесят лет назад) и, более того, с использованием ее для обоснования попыток вернуть науку о языке к давно пройденному этапу. Причины столь долгой жизни этой ошибки хорошо видны из статьи [Шапир 2005], написанной с целью доказать, что точные методы в гуманитарных исследованиях не могут дать значимых результатов<sup>14</sup>. Автор исходит в ней из двух тезисов: «Точные методы – как правило, синоним математических» [Шапир 2005: 44] и «Я убежден, что для моей темы гораздо важнее такое понимание, которое базируется не на «периферийных» областях математики, освоенных в последнее время, а на ее исконном предмете, каковым, без сомнения, является число» [Там же: 44]. Первый тезис, который автор считает самоочевидным<sup>15</sup>, ошибочен в применении не только к гуманитарным, но и к естественным наукам. Главный признак точности в научном исследовании – не использование математического аппарата, а четкое, не допускающее различных толкований определение понятий. Точные понятия представляют собой не результат, а необходимую предпосылку применения математических методов – в тех случаях, когда такие методы применимы. Но и там, где они неприменимы, возможно использование точных методов, возникающих благодаря уточнению системы основных понятий. Примером может служить этология – наука о поведении животных: в этой сравнительно молодой научной дисциплине математический аппарат не используется, и тем не менее ее можно с полным основанием назвать точной наукой, поскольку все ее основные понятия четко определены и каждое новое понятие получает «право гражданства» лишь при условии, что имеется его точное определение. (В то же время некоторые другие биологические науки успешно пользуются математическими методами.)

Второй тезис, попытки обоснования которого занимают в статье довольно много места<sup>16</sup>, при всей своей категоричности сформулирован несколько расплывчато. Однако достаточно ясно, что автор считает важными для своей темы, то есть для реше-

---

<sup>14</sup> Первый вариант настоящей статьи был закончен в мае 2006 г. Я не был знаком с М.И. Шапиром и очень надеялся познакомиться с ним, поспорить и по возможности найти общий язык; известие о его внезапной кончине летом того же года стало для меня тяжелым ударом. Полемизируя с автором, который не может возразить, невозможно отделаться от ощущения, что делаешь что-то нехорошее. Но, с другой стороны, полемика с людьми, которых уже нет в живых, вполне обычна (и сам М.И. Шапир в статье, о которой идет речь, полемизировал с Б.И. Ярхо и А.Н. Колмогоровым); более того, без нее трудно представить себе развитие человеческого знания. Если мысли, высказанные тем или иным автором, вызывают споры и после его смерти, то за одно это он уже заслуживает благодарности. К тому же у М.И. Шапира остались последователи, готовые отстаивать его правоту и защищать его идеи от критики.

<sup>15</sup> Правда, к нему сделана сноска: «Причина такого словоупотребления, принятого и в настоящей статье, – это традиционное деление наук на точные (математические) и эмпирические, которые далее подразделяются на естественные и гуманитарные». Однако такое пояснение трудно считать обоснованием. Я вынужден сознаться, что никогда прежде не слышал о делении наук на точные и эмпирические. Если принять такое деление, то даже физика потеряет право называться точной наукой.

<sup>16</sup> Приходится с сожалением констатировать, что эти попытки оставляют тяжелое впечатление. Сведения о том, что такое математика, автор черпает из двух статей в энциклопедиях: статьи А.Н. Колмогорова в БСЭ (1954 г.) и статьи А.Д. Александрова в «Философской энциклопедии» (1974 г.). Чтобы извлечь из них, хотя бы с натяжкой, подтверждение своего тезиса, он тщательно подбирает, комбинирует и препарирует цитаты, оставляя без внимания многочисленные и обширные (особенно в статье А.Д. Александрова) разъяснения, которые любого непредубежденного читателя привели бы к выводу о его несостоятельности.

ния вопроса о возможностях и границах использования в гуманитарных науках точных методов, отождествляемых им с математическими, только те области математики, предметом которых являются числа; а из дальнейшего чтения статьи видно, что имеются в виду исключительно вычисления и статистика. Таким образом, точные методы фактически отождествляются с вычислительными.

В действительности удельный вес вычислительных и, более широко, количественных методов в различных гуманитарных науках колеблется в довольно широких пределах. Но если говорить о лингвистике, то в ней количественные методы могут играть лишь подчиненную роль, так как существенные характеристики языка имеют неколичественную природу. Как говорили старые языковеды, «язык внеположен числу». Тем не менее подсчеты и вычисления в ряде случаев могут оказаться в лингвистических исследованиях очень полезными, но при обязательном условии наличия точных определений объектов, подлежащих подсчету. Если таких определений нет, подсчеты и вычисления бессмысленны. А сформулировать точное определение какого-либо «лингвистического объекта» – далеко не простая задача, потому что все эти «объекты» абстрактны и отграничить один объект от другого обычно очень трудно.

Что же касается утверждения о несущественности для гуманитарных наук «периферийных» областей математики, освоенных в последнее время», то оно допускает по меньшей мере два толкования: либо автор считает «периферийными» все вообще математические дисциплины, кроме тех, содержанием которых являются вычисления, и убежден, что все они «освоены в последнее время», либо под «периферийными областями математики, освоенными в последнее время», понимаются те, идеи и понятия которых оказывают влияние на лингвистику (а также на некоторые смежные науки), начиная с 50-х гг. XX столетия.

При первом толковании ошибочность этого утверждения очевидна. Развитие математики действительно началось с вычислений; древнеегипетская и вавилонская математика ими и ограничивалась, но в Древней Греции в математике произошла революция, совершенно изменившая ее лицо. Вычисления были отодвинуты на задний план, а на первый план вышли доказательства с помощью логических рассуждений. Больше того – древнегреческие ученые вообще не относили вычисления к математике. Вычисления были вспомогательным средством для астрономии и различных видов практической деятельности, а математика была для греков частью философии, и назначением ее было объяснение устройства Вселенной. После того, как попытка пифагорейцев объяснить его с помощью чисел (но не вычислений!) потерпела неудачу (зато привела к первому великому достижению в истории математики – открытию несоизмеримых величин), надежды были возложены на геометрию. Хотя рассказ о надписи «Да не войдет сюда не знающий геометрии» над входом в Академию Платона – скорее всего, не более чем легенда, он правильно отражает отношение Платона к геометрии и, более широко, к математике; в этом может убедиться всякий, кто внимательно прочтет «Тимея» – блестящее художественное произведение, содержанием которого является попытка построить, выражаясь современным языком, математическую модель мироздания<sup>17</sup>. И это лишь одна из иллюстраций того общеизвестного факта, что невычислительные области математики были освоены не «в последнее время», а больше двух с половиной тысяч лет назад, и с тех пор вычисления занимают в ней сравнительно скромное место<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Сейчас эта модель кажется нам наивной; она не опирается на опытные данные и изложена в виде мифа (хотя и очень непохожего на мифы, рассказанные Гомером и Гесиодом). Но мифы и умозрительные метафизические учения могут, как известно, служить зерном, из которого развиваются подлинные научные теории. (См. об этом [Поппер 1983].)

<sup>18</sup> Новые количественные методы, изобретенные в XVI и XVII веках и вышедшие тогда же на первый план, это, за небольшими исключениями, не методы вычислений, а методы математического моделирования явлений природы и различных ситуаций, возникающих в человеческой деятельности.

Но и тот вариант утверждения о «периферийных областях, освоенных в последнее время», который получается при втором толковании, приходится признать несостоятельным. Понятие множества появилось в трудах Кантора во второй половине XIX столетия, в этом же столетии возникли абстрактная алгебра и математическая логика, понятие функции восходит к Лейбницу, понятие предиката – к Аристотелю. Так что и в этом случае о «последнем времени» речи быть не может. И вряд ли найдется серьезный математик, который отнесет перечисленное к «периферийным областям».

Далее М.И. Шапир занимается анализом количественных методов в теории стиха и приходит к выводу об их неадекватности. Не будучи компетентным в данной области, я не считаю себя вправе давать оценку этому выводу, но не могу не отметить, что, с одной стороны, я совершенно искренне восхищаюсь проявившейся здесь огромной эрудицией автора, с другой – умозаключения, использованные им для получения такого вывода, представляются мне с логической точки зрения далеко не безупречными. В частности, вся его критика сосредоточена на трех «теориях», одна из которых приписана А.Н. Колмогорову и две – Б.И. Ярхо<sup>19</sup>, причем «теория Колмогорова» «ради уточнения» подправлена, а об одной из «теорий Ярхо» говорится, что она «нигде не была заявлена», но «вычитывается» из трудов Ярхо. Ничем не мотивировано утверждение (совершенно неправдоподобное), что Колмогоров не обращал внимания на контекст и интенцию. Еще об одной важной причине, побуждающей меня считать умозаключения М.И. Шапира логически небезупречными, я скажу дальше.

Придя к выводу о неадекватности математических методов в теории стиха, автор распространяет его затем на все гуманитарные науки, пользуясь, как магическим средством, еще одним тезисом, сформулированным в начале статьи: «...основной предмет филологии, текст (который, по сути, есть ставшая и застывшая речь) служит не только главным источником гуманитарного знания, но также и главным его объектом – остальные мыслятся по аналогии. Исходный вопрос в рамках данной системы понятий сводится, стало быть, к тому, в какой степени тексты, их содержание и форма могут быть изучены с помощью количественных методов» [Шапир 2005: 45]. В данном тезисе содержится фундаментальная методологическая ошибка: при всем уважении к текстологии невозможно отрицать, что главный объект гуманитарных наук – жизнь человеческого духа, а не застывшие продукты его работы. Но для обсуждаемой темы более существенны две другие ошибки. На одной из них, сразу бросающейся в глаза – отождествлении математических методов с количественными, – я остановился подробно, так как она, к сожалению, все еще весьма широко распространена. Перейду теперь ко второй, не менее серьезной, но гораздо менее заметной.

Я имею в виду проходящую через всю статью идею, что в отличие от изучаемых естественными науками явлений природы, которые подчиняются непреложным законам, объекты гуманитарных наук (а таковыми, как мы помним, автор считает тексты) подобным законам подчиняться не могут, поскольку любой текст, созданный каким-либо автором по своему произволу, становится историческим событием, и если он не укладывается в рамки ранее сформулированного закона, то закон оказывается опровергнутым – в то время как законы природы единичными аномалиями не опровергаются. Эта мысль высказывается в статье с различными вариациями много раз; вот одна из самых отчетливых ее формулировок: «На практике в естественных науках единичная аномалия не может отменить теорию: для этого нужна другая теория,

---

<sup>19</sup> Статья [Шапир 2005] была с незначительными изменениями опубликована также в качестве послесловия к вышедшему под редакцией М.И. Шапира однотомнику трудов Б.И. Ярхо [Ярхо 2006], вернувшему к жизни ранее практически недоступное читателю научное наследие этого выдающегося филолога. Заслугу М.И. Шапира и трудившихся вместе с ним над подготовкой издания (потребовавшей, несомненно, колоссальной работы) М.В. Акимовой и И.А. Пильщикова невозможно преувеличить.

имеющая как минимум не худшую фактическую базу, но логически несовместимая с первой. Это верный знак, что логика науки – не чисто формальная и что естественно-научным становится лишь факт, осмысленный теорией. Но в гуманитарных науках даже эта логика работает не всегда: «аномалия» здесь имеет историческую самоценность» [Шапир 2005: 50, сноска 19]<sup>20</sup>.

Это положение автор иллюстрирует на многочисленных примерах, которые я приводить не буду. Зато позволю себе привести полностью, опустив только две сноски и отсылки к литературе, «Заключение» статьи<sup>21</sup>:

«Попробую извлечь мораль из теоретико-методологических экскурсов. Она таит в себе кажущийся парадокс: с успехом применяя точные методы для теоретического описания физического мира, мы бессильны построить универсальную математическую модель даже самого “простого” и “поверхностного” явления духовной культуры – явления, которое люди сами вызвали к жизни и всё новые модификации которого они постоянно порождают. Причина банальна: нельзя сконструировать математизированную картину универсума, которым управляет множество относительно равноправных демиургов; кто-нибудь из них во что бы то ни стало отменит закон, установленный другим. И этому не помешать. Количественная и формальная необузданность творческой воли человека коренится в его природе: он не так много может, и чего ради ему сдерживаться там, где он чувствует себя хозяином?»

Изучение текстов точными методами нужно всячески приветствовать, но математизированная теория текста как такового, увы, неосуществима: каждый объект, будучи повторимым в самых разных своих деталях, уникален как единство смысла во всей своей полноте и в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме. Именно уникальность, “чрезмерность” приводит к пропасти между естественными и гуманитарными науками, создаваемой, в том числе, повторимостью языка и неповторимостью речи. При этом “китайская фантазия” создателей простирается не только на текст как целое, но и на любой из его компонентов: он тоже по соизволению автора всегда может оказаться “чрезмерным”, как 429-словная строка из стихотворения Пригова или же как некий орган тела из сказки про принца Бирибинкера»<sup>22</sup>.

Этот итоговый вывод, подкрепленный многочисленными примерами, сквозь которые хорошо видны громадная эрудиция автора и колоссальный объем затраченного им труда, на первый взгляд может показаться весьма убедительным. Тем не менее он ошибочен, и я попытаюсь это доказать. Предварительно замечу, что в «Заключении» автор столь же последовательно, как в предыдущем тексте, придерживается тезиса о тождественности точных и математических методов. Уже вторая фраза содержит

---

<sup>20</sup> Первая половина этого утверждения, относящаяся к естественным наукам, делает честь проницательности автора. Одно из немногих расхождений между позициями двух крупнейших мыслителей XX столетия Карла Поппера и Конрада Лоренца состояло в следующем: Поппер полагал, что теория может быть опровергнута одним противоречащим ей фактом, а Лоренц, который был прежде всего естествоиспытателем и постоянно пользовался научными теориями как рабочим инструментом, настаивал на том, что «гипотеза никогда не опровергается единственным противоречащим ей фактом; опровергается она лишь другой гипотезой, которой подчиняется *большее* число фактов» [Lorenz 1973b: 46]. (Всякая теория в действительности есть гипотеза – в этом Поппер и Лоренц согласны между собой.) М.И. Шапир, не будучи естествоиспытателем, тем не менее пришел в отношении естественнонаучных теорий к выводу, совпадающему с выводом Лоренца, но ошибочная методологическая установка помешала ему распространить этот вывод на теории, используемые в гуманитарных науках.

<sup>21</sup> В варианте статьи, опубликованном в «Вопросах языкознания», заголовок «Заключение» отсутствует, но он есть в варианте, помещенном в книге [Ярхо 2006].

<sup>22</sup> Имеются в виду части тел фантастических существ из эпиграфа к статье – отрывка из «Истории принца Бирибинкера» Виланда, – о которых там сказано, что «даже китайская фантазия не могла бы измыслить ничего более причудливого». (Сразу приходящий в голову аналогичный пример из русской литературы – сон Татьяны из «Евгения Онегина».)



презумпцию тождественности «точных методов» и «математической модели». Об этом необходимо помнить, чтобы правильно понять, что здесь утверждается. Другая презумпция, о которой необходимо помнить для понимания смысла «Заключения» – это презумпция справедливости тезиса о тексте как главном объекте гуманитарных наук: без нее невозможно понять, что второй абзац является естественным продолжением первого, а не относится к другой теме.

Перехожу теперь к разбору «Заключения» по существу.

Во-первых: совершенно справедливое утверждение, что в гуманитарных науках «каждый объект, будучи повторимым в самых разных своих деталях, уникален как единство смысла во всей своей полноте и в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме», столь же справедливо в отношении объектов естественных наук. Характерный для человека набор хромосом является «повторимым в самых разных своих деталях», но каждый отдельный человек есть единственное и неповторимое творение Божье; это азбучная истина. Совершенно одинаковые люди существуют только в мрачных антиутопиях, таких, как «Новый прекрасный мир» Олдоса Хаксли; в жизни даже близнецы, которых путают их собственные родители, никогда не бывают абсолютно одинаковыми ни по характеру, ни по физическим признакам. И это относится не только к людям. «Идеальная бабочка», представляющая тот или иной вид, существует только в учебниках зоологии (см. [Logenz 1963: 191]). Можно было бы привести сколько угодно примеров и из неживой природы.

Во-вторых: далеко не каждый текст, созданный по своему произволу даже достаточно известным автором, «имеет историческую самоценность», и здесь также нет существенного отличия от явлений природы. При передаче наследственной информации у животных и человека иногда происходят очень резкие мутации, но такие мутанты по большей части нежизнеспособны, и лишь в редчайших, особенно «удачных» случаях новые признаки воспроизводятся в потомстве. То же и с текстами: если 429-словная строка из стихотворения Пригова станет началом нового направления в русской поэзии, в котором все стихотворные строки или значительная часть их будут состоять из нескольких сотен слов каждая<sup>23</sup>, – тогда эту строку можно будет считать историческим событием; но пока что она заслуживает только места в кунсткамере рядом со скелетом двухголового теленка.

В-третьих: утверждение, что человек «не так много может», к величайшему сожалению, неверно. Главная трагедия человека именно в том, что он может слишком много. Еще не овладев силами пара и электричества, человек радикально изменил на огромных пространствах флору и фауну; трудилось над этим «множество относительно равноправных демиургов», ничуть не менее равноправных, чем при порождении текстов. А за последние полтора столетия – отрезок времени, в истории жизни на Земле не более значительный, чем одна секунда в человеческой жизни – люди уничтожили возникшие задолго до их появления экосистемы на большей части суши и начали уничтожать их в морях. В последние полстолетия дошла очередь до неживой природы: на карте нет больше привычных очертаний Аральского моря, на суше и на морском дне появилось много потенциальных источников радиоактивного излучения, изменился состав атмосферы, и даже космическое пространство засоряется антропогенным мусором. Это тоже работа «равноправных демиургов». Человек давно уже чувствует себя хозяином не только в мире своей фантазии, но и в реальном мире. «Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею», – сказано о людях в первой главе Книги Бытия. Но владычество их

<sup>23</sup> Такое предположение представляется, конечно, неправдоподобным по той же причине, по которой Аристотель считал, что «как прекрасное животное или тело должно иметь величину удобообозримую, так и сказание должно иметь длину удобозапоминаемую» [Аристотель 1984: 654].

не направлено ни к какой разумной цели. Привычная фраза «Человек – царь природы» нуждается в поправке: у природы множество «относительно равноправных» царей, и каждый из них в рамках своих возможностей поступает, как ему заблагорассудится, думая в лучшем случае об интересах своего племени или государства и не заботясь о других людях и уж тем более о прочих тварях<sup>24</sup>. Разумеется, люди ограничены при этом своими возможностями и законами природы, но разве с текстами дело обстоит иначе? Любой автор ограничен законами используемого языка, и если даже он придумает новый язык, он не сможет выйти за рамки общих закономерностей, которым подчинены возникшие естественным путем человеческие языки – иначе его никто не поймет. И какой бы причудливой ни была фантазия, ее невозможно передать словами, понятными не только самому фантазирующему, если она не опирается на некоторую привычную систему образов. Вывод ясен: аргументы, приводимые М.И. Шапиром в пользу утверждения, что точные методы не могут применяться для теоретического описания явлений духовной культуры с таким же успехом, как для описания физического мира, не выдерживают критики.

Сторонники концепции М.И. Шапира могут возразить: но ведь между точными методами в естественных и гуманитарных науках существует фундаментальное различие, состоящее в том, что «точные методы в гуманитарной сфере позволяют сказать лишь о том, что бывает, а точные методы в сфере естественных наук – еще и о том, чего быть не может» [Шапир 2005: 47]. Как представлял себе М.И. Шапир это различие, легче всего понять из следующей «двойной цитаты»: «Проппу различие между этими науками [естественными и гуманитарными] виделось так: “...методы структуралистов, стремящихся к объективному и точному изучению художественной литературы, все же имеют свои границы применения. Они возможны и плодотворны там, где мы сталкиваемся с повторяемостью в широком масштабе, как это имеет место в языке или фольклоре. Но там, где искусство становится областью деятельности неповторимого гения, применение точных методов даст положительные результаты лишь в том случае, если изучение повторяемости будет сочетаться с изучением уникальности, на которую мы до сих пор смотрим как на проявление непостижимого чуда <...> И если в начале этой статьи подчеркивалась близость между теми законами, которые изучают науки точные и гуманитарные, то закончить хотелось бы указанием на их фундаментальное специфическое различие” [Горр 1966: 227]. В противоположность Проппу, я считаю, что уникальные явления культуры тоже подлежат изучению с помощью точных методов, но корректным результатом такого изучения могут стать лишь высказывания исторического (экзистенциального) характера» [Шапир 2005: 47, сноска 10].

Цитируемая здесь статья Проппа была мне, к сожалению, недоступна, но содержание приведенного отрывка – за одним исключением, о котором ниже – хорошо понятно. Прежде всего, он не дает никаких оснований предполагать, что Пропп отождествлял, подобно Шапиру, точные методы с математическими (не дают для этого оснований и те книги Проппа, которые я читал). Далее: со всеми утверждениями, высказанными здесь в явной и очень четкой форме (до многоточия), я полностью согласен; что же касается последней фразы, то из-за предшествующего ей пропуска не вполне ясно, какого рода различие имеется в виду. Согласно следующему за внутренней цитатой толкованию Шапира, это значит, что в отличие от законов природы, представляющих собой запреты (высказывания «о том, чего быть не может»), зако-

---

<sup>24</sup> Эта хаотическая деятельность угрожает теперь дальнейшему существованию вида *Homo sapiens*, о чем уже довольно давно говорят думающие и ответственные люди: достаточно назвать книгу [Lorenz 1973a], получившую широкую известность и переведенную на много языков. Но мало кто задумывается об этом всерьез; ради удовлетворения своих амбиций или небольшого повышения сегодняшнего уровня комфорта «простые люди» и главы могущественных государств с одинаковой легкостью готовы ставить на карту судьбу человечества.

ны, действующие в гуманитарной сфере, говорят «лишь о том, что бывает». Иначе говоря, «гуманитарные» законы суть экзистенциальные высказывания, т.е. высказывания о существовании чего-то, тогда как законы природы – высказывания универсальные (так в логике называются высказывания вида «все объекты данного типа обладают некоторым свойством»; запрет, т.е. высказывание «никакой объект данного типа не может обладать свойством Р» равносителен высказыванию «все объекты данного типа обладают свойством, противоположным Р»). В основе этого утверждения<sup>25</sup> лежит весьма распространенная логическая ошибка, подробно проанализированная Поппером в «Нищете историцизма» [Поппер 1993] (см. также [Гладкий 2001: 177–178]) – смешение законов и тенденций. В применении к процессам, протекающим во времени, экзистенциальные высказывания выражают не законы, а тенденции: они могут говорить только о том, что некоторое явление наблюдается в течение долгого времени. На основании законов можно делать предсказания, а на основании тенденций нельзя: известно много случаев, когда тенденция, сохранявшаяся сотни и даже тысячи лет, в течение одного или нескольких десятилетий сменялась прямо противоположной. Между тем попытки предсказывать на основании тенденций делались; самый известный случай – предсказания Маркса, основывавшиеся на открытых им «законах развития общества», которые в действительности были всего лишь тенденциями. Биологи и лингвисты в эту ошибку никогда не впадали: изучая живые организмы и языки, они открыли законы, которым подчинены мир организмов и мир человеческих языков, но предсказывать будущий ход эволюции какого-либо вида живых существ или какого-либо языка они не брались никогда. Порождение текстов – тоже процесс, протекающий во времени, и потому экзистенциальные высказывания о текстах тоже выражают тенденции. В частности, высказывание об уникальном явлении – деятельности неповторимого гения – есть высказывание о внезапном появлении некоторой новой тенденции. Но наряду с тенденциями в мире текстов существуют законы, а их никакой автор не властен ни устанавливать, ни отменять.

Для завершения картины следует упомянуть еще об одном ошибочном мнении, разделяемом, по-видимому, многими «гуманитариями»: что уникальные события возможны только в мире творений человеческого духа. В физическом мире тоже бывают уникальные события; примерами могут служить возникновение жизни на Земле и возникновение человеческого разума: ни то, ни другое не имеет аналогов в известной нам части Вселенной.

Итак: законы природы и законы, действующие в гуманитарной сфере, ни в чем существенном не отличаются друг от друга, так что, вопреки мнению М.И. Шапира (и многих его авторитетных предшественников), между естественными и гуманитарными науками нет никакой «пропасти». Тот, кто отрицает возможность изучения точными методами законов, действующих в мире творений человеческого духа, будет вынужден, если он проведет тщательный логический анализ своей аргументации, прийти к выводу, что законы природы тоже невозможно изучать точными методами.

Кроме указанной характерной черты законов, относящейся к их логической структуре, необходимо отметить еще две. Во-первых, законы возможны только там, где имеется, говоря словами Проппа, «повторяемость в широком масштабе». Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев закон вычленяет наиболее существенный аспект явления – его «подлинную сущность», которую трудно разглядеть при непосредственном наблюдении, так как на всякое явление накладываются другие явления, вызываемые другими факторами и подчиняющиеся другим законам. Поэтому продемонстрировать выполнение закона «в чистом виде» чаще всего невозможно. В отношении законов физики это давно понято. Никому не приходит в голову отрицать, что скорость свободно падающего тела пропорциональна квадрату времени движения, хотя

<sup>25</sup> Правомерно ли было бы приписать это утверждение Проппу, я судить не могу, но мнение М.И. Шапира именно таково.

Исследования последних десятилетий в области фразеологии показали, однако, что для определенных идиом те или иные трансформации синтаксической структуры оказываются допустимыми, и их выполнение не приводит к разрушению актуального значения [Fraser 1970; Katz 1973; Burger 1973: 81–89; Fleischer 1997: 49–58]. Например, *заварить кашу* → *Эту кашу заварил Иван*; *Ты опять заварил жуткую кашу*; *Что за кашу ты опять заварил?*; *Боюсь, что нам еще долго придется расхлебывать заваренную им кашу*, где компонент *каша* может модифицироваться с помощью указательных местоимений и прилагательных, оказываться в сфере действия частного вопроса и т.п. Ср. (3), а также английские примеры из [Nunberg, Sag, Wasow 1994: 502], иллюстрирующие возможности анафорических модификаций (4) и вынесения именной части идиомы в тематическую позицию (5).

- (3) а. Господи, да сколько веревочке не виться, а конец будет. Какую заварил кашу... какую кашу... к чему! (В. Распутин. *Живи и помни*); б. Да и зачем его усилия, если есть Ростовцев, выдумщик и озорник. Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана не переставая скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте (В. Орлов. *Альтист Данилов*); в. Почему «Росхлебпродукт» извел рожь – сие великая тайна есть. Но шараханья в формировании рынка зерна в масштабах России – настоящая драма. Логично, что тот, кто *заварил кашу*, сам и начнет *ее расхлебывать* (Московский комсомолец); г. Кандидат юридических наук Александр Пехтерев, оказавшийся в числе клиентов сразу двух банков-неудачников, «Чары» и «Горного Алтая», полагает, что, как бы ни трудились служители российской Фемиды, *расхлебывать кашу, заваренную* на финансовом рынке недобросовестными дельцами, им придется еще не один год: слишком велики масштабы происшедшего (Известия).

Естественно, в нестандартных контекстах могут использоваться практически любые модификации идиомы. Говорить здесь о каких бы то ни было правилах вряд ли имеет смысл. Основная сложность состоит при этом в том, что границу между стандартными и нестандартными преобразованиями идиомы трудно провести на основе четких, проверяемых критериев. Отнесение каждой конкретной модификации к стандартным или нестандартным во многом зависит от условий контекста и от индивидуального восприятия. В принципе любое отклонение от словарной формы может рассматриваться как более или менее нестандартное употребление. Понятно, что при дальнейшем обсуждении синтаксических трансформаций мы в существенной степени опираемся на собственную интуицию. Кроме специально оговариваемых случаев, мы старались использовать лишь такие контексты, которые (даже при некоторой вольности журналистского слога) не содержат однозначных нарушений литературной нормы и не имеют явно каламбурного характера. Так, примеры (3а, б, г) несколько отклоняются от нормы. В данном случае важно, что они иллюстрируют семантико-синтаксические преобразования идиом, часто встречающиеся в современном разговорном дискурсе.

- (4) Although the FBI kept *tabs* on Jane Fonda, the CIA kept *them* on Vanessa Redgrave  
 ≈ 'Хотя ФБР держало *под колпаком* Джейн Фонду, ЦРУ держало *под ним* Ванессу Редгрейв'.  
 (5) *Those strings*, he wouldn't pull for you  
 «*За те нити* он не стал бы тянуть для тебя»  
 ≈ 'Он не стал бы для тебя пускать в ход все свое влияние в этой области'.

Таким образом, можно говорить о некой избирательности идиом в отношении модифицируемости их структуры. Эта избирательность проявляется, с одной стороны, в том, что не все идиомы обнаруживают способность к модификациям, а с другой стороны – в том, что одна и та же идиома допускает не все возможные, а лишь некоторые, вполне определенные трансформации (см. русские примеры в [Баранов, Добровольский 1991]).

при любом сколько-нибудь точном измерении обнаруживается отклонение от этой закономерности. Но по поводу объектов гуманитарных наук постоянно приходится слышать: о каком законе можно говорить, когда он нарушается в половине или тем более в девяти десятых случаев? И.Ф. Анненский, необыкновенно тонко чувствующий музыку стиха, писал в 1906 г.: «Наши учебники, ...говоря о русском стихе, никак не выберутся из путаницы ямбов и хореев, которые в действительности, кроме окончания строки, встречаются в наших стихотворных строках очень редко. Например, почти весь «Евгений Онегин» написан 4-м пеоном» [Анненский 1979: 120]. Нечто подобное, несмотря на то, что за сто лет в русском стиховедении было сделано очень много, мы видим и в статье М.И. Шапира с тем различием, что он приводит в подтверждение результаты подсчетов. Но подсчеты, как уже говорилось, не имеют смысла, если не определено точно, что нужно считать<sup>26</sup>.

#### IV

Но почему же миф о «пропасти между естественными и гуманитарными науками» оказался столь живучим? Одна из причин очевидна: это наша человеческая гордыня. «Человеку слишком хочется видеть себя центром мироздания, чем-то таким, что не принадлежит к остальной природе, а противостоит ей как нечто по сути своей иное и высшее» [Logenz 1963: 206]<sup>27</sup>. Но есть и другие причины, не менее важные: инертность и приверженность к стереотипам. Мы видели выше, что даже такой тонкий и точный исследователь, как В.Я. Пропп, не отказался от стереотипного противопоставления точных и гуманитарных наук, некорректного даже с точки зрения старой школьной логики. Строгий логический анализ соотношения методов естественных и гуманитарных наук требует знакомства с современной логикой; но изучить ее трудно, гораздо легче обратиться к одному из многочисленных учебников, издающихся сейчас в расчете на тех, кто изучает логику «для галочки». Написаны они так, как будто развитие этой науки остановилось в середине XIX столетия, то есть как раз тогда, когда в ней началась новая эпоха, и не было ни Фреге, ни Рассела, ни Поппера<sup>28</sup>. И неудивительно, что многим серьезным ученым кажется убедительной блестяще написанная статья М.И. Шапира, не заботившегося о логическом анализе.

Инертность и приверженность к стереотипам нельзя, конечно, рассматривать как безусловно отрицательные качества: они играют важную роль в сохранении постоянства культуры<sup>29</sup>. Но нередко нарушается баланс между силами, обеспечивающими сохранение постоянства культуры, и противоположными силами, делающими возможным ее дальнейшее развитие. Мне думается, что всем нам – и лингвистам, включая тех, кто получил в университетах или путем самообразования математическую подготовку, и сотрудничающим с ними математикам (к которым принадлежу я сам) – следовало бы чаще спрашивать себя: не слишком ли большую власть имеют над нами привычные стереотипы? Например, не слишком ли мы заикнулись на аппарате математической логики и смежных с ней дисциплин как основном средстве математического моделирования явлений языка? Понятно, почему лингвисты в поисках такого средства взглянули прежде всего в эту сторону: сходство языка математической логики с естественным языком буквально бросалось в глаза. По той же причине и математики,

<sup>26</sup> По свидетельству В.А. Успенского, это постоянно подчеркивал Колмогоров.

<sup>27</sup> Анализу источников этого заблуждения посвящена 12-я глава книги [Logenz 1963] – «Проповедь смирения».

<sup>28</sup> Обычно в таких учебниках есть параграфы о пропозициональных связках и истинностных таблицах, но они выглядят ненужными довесками и по большей части производят комическое впечатление. А традиционная логика излагается в них на гораздо более низком уровне, чем в классических учебниках Челпанова и Асмуса.

<sup>29</sup> Факторам, обеспечивающим сохранение постоянства культуры, посвящена 10-я глава книги [Logenz 1973a].

заинтересовавшиеся лингвистикой, были по преимуществу либо специалистами по математической логике, либо представителями близких к ней направлений. Довольно скоро обнаружилось, что для описания многих важных языковых явлений аппарата математической логики недостаточно. И разве не стоило бы, не отказываясь совсем от использования этого аппарата, поискать в богатейшем арсенале математики также и другие средства? Такую попытку предпринял уже довольно давно Б.В. Сухотин, но до сих пор никто не продолжил его исследования и не занялся проверкой его гипотез. Чем это объяснить, кроме нашей инертности?

\* \* \*

В заключение я хочу поблагодарить Ю.Д. Апресяна, внимательно прочитавшего первый вариант статьи и сделавшего очень важные замечания, которые заставили меня о многом задуматься и помогли лучше уяснить себе суть проблемы, и участников семинара в МГУ под руководством В.А. Успенского и М.Р. Пентуса – в особенности А.К. Поливанову, поддержавшую мою позицию и своими репликами многое разъяснившую слушателям и мне самому, и Н.В. Перцова, самоотверженно отстаивавшего противоположную точку зрения. Закончить я хотел бы словами Карла Поппера: «Рост знания зависит исключительно от существования разногласий».

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анненский 1979 – *И.Ф. Анненский*. Книги отражений. М., 1979.
- Апресян 1967 – *Ю.Д. Апресян*. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
- Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян*. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. (2-е изд.: М., 1995.)
- Апресян 1995 – *Ю.Д. Апресян*. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян 2005 – *Ю.Д. Апресян*. О Московской семантической школе // ВЯ. 2005. № 1.
- Аристотель 1984 – *Аристотель*. Сочинения. Т. 4. М., 1984.
- Богуславский 1985 – *И.М. Богуславский*. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
- Богуславский 1996 – *И.М. Богуславский*. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Выготский 1982 – *Л.С. Выготский*. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1982.
- Гладкий 1979 – *А.В. Гладкий*. О значении союза *или* // Семиотика и информатика. Вып. 13. М., 1979.
- Гладкий 1982 – *А.В. Гладкий*. О значении союза *если* // Семиотика и информатика. Вып. 18. М., 1982.
- Гладкий 1985 – *А.В. Гладкий*. Синтаксические структуры естественного языка в системах автоматизированного общения. М., 1985.
- Гладкий 2001 – *А.В. Гладкий*. Введение в современную логику. М., 2001.
- Гладкий, Дрейзин 1983 – *А.В. Гладкий, Ф.А. Дрейзин*. О семантике русского отрицания // Wiener slawistischer Almanach. Bd. 11. Wien, 1983.
- Грамматика 1970 – Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
- Ельмслев 1960 – *Л. Ельмслев*. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
- Жолковский, Мельчук 1967 – *А.К. Жолковский, И.А. Мельчук*. О семантическом синтезе // Проблемы кибернетики. Вып. 19. М., 1967.
- Зализняк 1967 – *А.А. Зализняк*. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Зализняк 1973 – *А.А. Зализняк*. О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
- Зализняк 1977 – *А.А. Зализняк*. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
- Зализняк 2004 – *А.А. Зализняк*. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2004.
- Мартемьянов 2004 – *Ю.С. Мартемьянов*. Логика ситуаций. Строчение текста. Терминологичность слов. М., 2004.

На материале английского языка эти проблемы обсуждались в [Fraser 1970], где была предложена «иерархия устойчивости» идиом (*hierarchy of frozeness*), в соответствии с которой способность каждой конкретной идиомы подвергаться тем или иным трансформациям зависит от ее положения в данной иерархии: чем ближе идиома к полюсу устойчивости, тем меньшее количество трансформаций различных видов она допускает. Конкретные виды трансформаций также образуют градуированный ряд: если определенная идиома допускает трансформацию  $T_1$ , она должна допускать и трансформацию  $T_2$ , но не наоборот. Зная место идиомы в иерархии и место трансформации на шкале, можно, таким образом, предсказать, каким трансформациям может подвергаться эта идиома. Позднее Мак-Коли в своей известной статье, опубликованной под псевдонимом Куанг Фак Донг, показал на контрпримерах, что эта теория не работает [McCawley 1971].

Избирательность идиом в отношении их доступности для трансформаций демонстрируют также немецкие примеры (6) и (7), анализируемые в [Nunberg, Sag, Wasow 1994].

(6) *Hans hat den Vogel abgeschossen* «Ганс подстрелил птицу» 'Ганс добился успеха'.

(6a) *Den Vogel hat Hans abgeschossen* «Птицу подстрелил Ганс».

(6b) \**Abgeschossen hat Hans den Vogel* «Подстрелил Ганс птицу».

(7) *Er hat ins Gras gebissen* «Он впился зубами в траву» 'Он умер'.

(7a) *Ins Gras hat er gebissen*<sup>1</sup> «В траву он впился зубами».

(7b) \**Gebissen hat er ins Gras* «Впился зубами он в траву».

Именной компонент идиомы *den Vogel abschießen* и предложная группа идиомы *ins Gras beißen* может (по крайней мере в некоторых контекстах) перемещаться в начальную позицию предложения (6a и 7a), а глагольные компоненты этих идиом – нет (6b и 7b). Иными словами, не всякие компоненты идиомы оказываются доступными для топикализации.

Возникает вопрос, каким образом могут быть объяснены подобные явления. Существуют ли некие правила, объясняющие приемлемость той или иной трансформации для идиом определенного типа? Или же соответствующие ограничения носят совершенно произвольный характер? Если в этой области существуют определенные правила, в каких терминах они должны формулироваться? Являются ли они семантическими по сути, то есть может ли значение идиомы в какой-то степени предсказывать ее синтаксическое поведение? Или же мы имеем дело с правилами иной природы?

Традиционная фразеология оставила эти вопросы без ответа. Цель данной статьи – попытаться найти ответы на некоторые из них. На примере пассивизации идиом мы покажем, что для трансформации каждого конкретного вида могут быть сформулированы условия, соблюдение которых позволяет осуществлять данную трансформацию, не нарушая требований узуса. Если же эти условия нарушаются, это приводит либо к появлению нетривиальных семантических и прагматических эффектов (в частности, эффектов языковой игры), либо к явно некорректным реализациям соответствующей идиомы.

## 2. ФАКТОРЫ ПАССИВИЗАЦИИ

Интерес исследователей к пассивизации идиом обусловлен потребностью объяснить различия в поведении глагольных идиом в отношении залоговых преобразований. В литературе встречаются различные попытки объяснения этих различий. Так, способность

<sup>1</sup> Вопреки мнению авторов, это предложение представляется допустимым лишь в весьма специфических контекстных условиях. Различия в степени приемлемости предложений (6a) и (7a), на которых авторы специально не останавливаются, зависят от степени семантической членимости соответствующих идиом (подробнее см. ниже). В то время как компонент *Vogel* допускает самостоятельное прочтение (нечто вроде 'успех'), группе компонентов *ins Gras* не может быть приписана никакая осмысленная интерпретация.

- Мельчук 1974 – И.А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». М., 1974.
- Мельчук 1995 – И.А. Мельчук. Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». М., 1995.
- Мельчук 1997 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. 1. М.; Вена, 1997.
- Падучева 1974 – Е.В. Падучева. О семантике синтаксиса (материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.
- Падучева 1985 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотношенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Поппер 1983 – К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., 1983.
- Поппер 1993 – К. Поппер. Ницета историцизма. М., 1993.
- Пропп 1928 – В.Я. Пропп. Морфология сказки. Л., 1928. (2-е изд.: М., 1969.)
- Сухотин 1969 – Б.В. Сухотин. Методы дешифровки сообщений // Внеземные цивилизации. Проблемы межзвездной связи. М., 1969.
- Сухотин 1978 – Б.В. Сухотин. Основные проблемы грамматики и семантики в тензорном исчислении // Проблемы структурной лингвистики 1976. М., 1978.
- Ульдалль 1960 – Х.И. Ульдалль. Основы глоссематики. Исследование методологии гуманитарных наук со специальным приложением к лингвистике // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
- Шапир 2005 – М.И. Шапир. «Тебе числа и меры нет». О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках // ВЯ. 2005. № 1.
- Ярхо 2006 – Б.И. Ярхо. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М., 2006.
- Hilbert 1899 – D. Hilbert. Grundlagen der Geometrie. 1899. (Русский перевод: Д. Гильберт. Основания геометрии. М., 1948.)
- Hjelmslev 1935–1937 – L. Hjelmslev. La catégorie des cas. Pt. 1: Aarsskrift for Aarhus Universitet. VII. Aarhus, 1935; Pt. 2: Aarsskrift for Aarhus Universitet. IX. Aarhus, 1937.
- Jakobson 1936 – R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus // TCLP. VI. Praha, 1936. (Русский перевод: Р. Якобсон. К общему учению о падеже. Общее значение русского падежа // Р. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.)
- Lorenz 1963 – K. Lorenz. Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Wien, 1963. (Русский перевод: К. Лоренц. Так называемое зло. К естественной истории агрессии // К. Лоренц. Обратная сторона зеркала. М., 1998.)
- Lorenz 1973a – K. Lorenz. Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. München, 1973. (Русский перевод: К. Лоренц. Обратная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания // К. Лоренц. Обратная сторона зеркала. М., 1998.)
- Lorenz 1973b – K. Lorenz. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München, 1973. (Русский перевод: К. Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // К. Лоренц. Обратная сторона зеркала. М., 1998.)
- Propp 1966 – V.Ja. Propp. Struttura e storia nello studio della favola // V.Ja. Propp. Morfologia della fiaba. Torino, 1966.
- Serbat 1981 – G. Serbat. Cas et fonctions. Étude des principales doctrines casuelles du Moyen Age à nos jours. Paris, 1981.
- Steinthal 1863 – H. Steinthal. Geschichte der Sprachwissenschaft bei der Griechen und Römern. Mit besonderer Rücksicht auf die Logik. Berlin, 1863. (2-te Auflage: Berlin, 1891.)



© 2007 г. Д. О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

**ПАССИВИЗАЦИЯ ИДИОМ**

**(о семантической обусловленности синтаксических трансформаций во фразеологии)\***

На примере пассивизации идиом в статье показано, что для синтаксической трансформации определенного вида могут быть сформулированы условия, соблюдение которых позволяет осуществлять данную трансформацию, не нарушая требований узуса. Помимо общего семантического требования агентивно-переходной интерпретируемости идиомы, существуют и другие – семантико-синтаксические – предпосылки пассивизации. В компонентном составе идиомы или в ее актантной рамке должна присутствовать именная группа, способная к продвижению в позицию подлежащего. Эта общая предпосылка реализуется в сфере идиоматики в двух вариантах: 1) в валентностной структуре идиомы должна присутствовать валентность, актант которой способен взять на себя функцию подлежащего; 2) именная группа, перемещаемая в позицию подлежащего, является компонентом идиомы и должна в этом случае обладать относительно самостоятельным значением.

**1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ**

Во всех известных синтаксических теориях указывается на трансформационную дефектность идиоматики. Неспособность идиом регулярным образом подвергаться стандартным трансформациям синтаксической структуры рассматривается в качестве одного из конститутивных признаков фразеологии как особого компонента лексикона. Среди синтаксических трансформаций, действие которых не распространяется на сферу фразеологии, часто называются топиализация, ввод в именную группу кванторного слова или определения любого вида, анафорические замены, преобразование активного залога в пассивный (пассивизация), номинализация, ввод в компонентный состав идиомы контрастного отрицания, помещение идиомы в контекст вопросительных и императивных предложений и др. Эти и подобные им преобразования либо делают предложения с идиомами (в отличие от предложений, не содержащих идиом) аграмматичными, либо допускают только дословное прочтение таких предложений, то есть превращают идиомы в «не-идиомы» (ср. (1) и (2)).

- (1) Иван *отдал книги* → *Книги отдал Иван*; Иван *отдал все книги*; Иван *отдал толстые книги*; Иван *отдал книги Анны*; Иван *отдал их*; *Книги, которые отдал Иван*; *Книги были отданы (Иваном)*; *Отданные Иваном книги*; Иван *отдал не книги*, а газеты; *Какие книги отдал Иван?*; *Отдай книги!*
- (2) Иван *отдал концы* → \**Концы отдал Иван*; \*Иван *отдал все концы*; \*Иван *отдал длинные концы*; \*Иван *отдал концы Анны*; \*Иван *отдал их*; \**Концы, которые отдал Иван*; \**Концы были отданы (Иваном)*; \**Отданные Иваном концы*; \*Иван *отдал не концы*, а швартовы; \**Какие концы отдал Иван?*; \**Отдай концы!*

\* В этой работе, выполненной при поддержке РГНФ (проект 05-04-04026а), использован материал из [Добровольский 2005]. Автор благодарит А.Н. Баранова, Е.В. Падучеву и Е.В. Рахилину, принимавших участие в обсуждении этой статьи на различных этапах ее создания.

идиом образовывать пассивный залог увязывалась с употреблением артикля при именном компоненте, переходящем при пассивизации в позицию подлежащего (так наз. «Sproat's Specified Determiner Restriction»; критический анализ этой гипотезы ср. в [Abraham 1989])<sup>2</sup>, с грамматическими свойствами квазисинонимичных глаголов, могущих заменить данную идиому в определенных контекстах [Chafe 1968; Newmeyer 1974], с мотивированностью идиом [Lakoff 1987: 450–451] и пр. Каждая из этих попыток объяснения оказывается не вполне удачной, так как в любом случае можно найти противоречащие примеры (ср. подробнее [Dobrovol'skij 1997: 82–90; 1999; 2000; 2001]).

Одна из наиболее правдоподобных гипотез в этой области базируется на семантической членимости идиом, т.е. на относительной семантической автономности отдельных компонентов. В соответствии с этой гипотезой способность идиомы образовывать пассив зависит от того, может ли быть приписано относительно самостоятельное значение именной группе, выступающей в составе идиомы в функции объекта [Ruwet 1983; 1992; Gibbs, Nayak 1989; Dobrovol'skij 1997: 91–102]<sup>3</sup>. В русском языке сюда могут быть отнесены такие идиомы, как *сломать лед (в отношениях) → лед (в их отношениях) был сломан, объявить бой (какому-л. явлению) → (какому-л. явлению, например, пьянству) был объявлен бой*, в отличие от идиом типа *бить баклуши → \*баклуши были биты*. Причина этого в том, что *лед* и *бой* обладают определенной семантической самостоятельностью и, будучи перемещенными в позицию подлежащего (и соответственно, тематического субъекта), могут быть проинтерпретированы осмысленным образом. Напротив, слову *баклуши* в идиоме *бить баклуши* не может быть приписано никакого самостоятельного значения, что запрещает любые трансформации, изменяющие коммуникативный статус именного компонента. Ср. также немецкий контекст (8).

(8) Mit dieser neuen Produktpalette, die von der Fuchs Mineralölwerke GmbH in Mannheim entwickelt wurde, werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe getroffen: Neben der Entlastung der Umwelt könnten derartige Produkte auch dazu beitragen, die landwirtschaftlichen Flächen verstärkt für den Anbau nachwachsender Rohstoffe zu nutzen (Mannheimer Morgen)

‘Благодаря этому новому ассортименту изделий, выпускаемых мангеймской фирмой «Фукс Минераль-Ольверке ГмбХ», достигается двойной успех (букв. «убиваются одной хлопнушкой сразу две мухи»): помимо улучшения экологической ситуации, такие изделия позволяют лучше использовать земли для выращивания сырьевых культур’.

Так как именная группа в функции объекта *zwei Fliegen* ‘две мухи’ имеет в рамках семантической структуры идиомы относительно автономное значение (что-то вроде ‘два выигрыша’ или ‘две цели’ (ср. сходную по значению русскую идиому *убить двух зайцев*, обнаруживающую определенные параллели и в синтаксическом поведении), форма *zwei Fliegen werden mit einer Klappe getroffen* ‘две мухи убиваются одной хлопнушкой’ является осмысленной. Эта форма может быть проинтерпретирована как ‘в результате одного действия достигаются две цели’. Таким образом, идея о зависимости пассивизации от семантической членимости структуры идиомы представляется правильной. Однако этот критерий явно не универсален.

<sup>2</sup> На зависимость способности идиомы к пассивизации от степени свободы в выборе артикля при соответствующем именном компоненте (включая замену артикля на указательные местоимения и кванторные слова) указывает и А. Абеилле [Abeillé 1995: 21]. Очевидно, что свобода в выборе артикля представляет собой эпифеномен от семантической автономности именного компонента (см. подробнее ниже, а также [Fellbaum 1993: 289]).

<sup>3</sup> Ср., например, характерное утверждение: «Idioms are, in varying degrees, analysable and their literal meaning (or the literal meaning of their constituents) almost always remains relevant. <...> This correspondence seems to be a necessary – though not sufficient – condition for an idiom not to be frozen, so that it may undergo passive for example» [Ruwet 1983: 14–16].

Совершенно очевидно, что семантическая автономность (и связанный с ней референциальный статус) отдельных компонентов не имеет значения для залоговых трансформаций соответствующих идиом в следующих примерах.

(9) а. В то время, когда Козлику исполнилось тридцать лет, князь еще не совсем *был сдан в архив* <...> (М.Е. Салтыков-Щедрин. Помпадурсы и помпадурши); б. Я хоть теперь и *сдан в архив*, а тоже потерялся в свете – узнаю птицу по полету (И.С. Тургенев. Отцы и дети); в. Мы рады, что в наших школах чтят еще русские традиции, и надемся, что советский гимн будет окончательно *сдан в архив*, а российский флаг будет подниматься только под звуки русского гимна! (Корпус публицистики); г. Казарменный социализм *сдан в архив*. Обозреватели «МН» сравнили архитекторов-конструктивистов и «Мадонну» Рафаэля с достижениями потомков: потомки проиграли (Московские новости).

Пассивизация возможна здесь, в частности, потому, что идиома *сдать в архив* (кого-л./что-л.) имеет открытую аккузативную валентность. Соответствующие актаны выступают в падежной роли Пациенса и перемещаются при пассивизации в тематическую позицию.

Анализ репрезентативной выборки немецких идиом в контекстах, отобранных на основе текстовых корпусов Института немецкого языка в Мангейме (см. подробнее [Dobrovol'skij 2001]), позволяет предположить, что механизмы пассивизации идиом управляются правилами комплексной природы и не могут быть объяснены простым образом с помощью какого-либо одного правила. Способность идиом образовывать формы страдательного залога представляется градуированным свойством. Это означает, что, помимо случаев, в которых возможность пассивизации не вызывает сомнений или же, напротив, абсолютно исключена, существуют формы пассива, допустимые только в определенных контекстных условиях. Градуированность способности к пассивизации подтверждается также и тем, что мнения информантов о допустимости той или иной формы страдательного залога часто расходятся. Кроме того, анализ примеров из текстовых корпусов показывает, что в некоторых случаях пассивные формы оказываются более распространенными, чем активные (как, например, для английской идиомы *to take aback someone* 'ошеломить, захватить врасплох кого-л.')<sup>4</sup>, а в других случаях на потенциально допустимые формы пассива не удастся найти ни одного реального примера<sup>5</sup>. Это вполне объяснимо. Залог служит не только и не столько перераспределению синтаксических ролей, сколько перераспределению стоящих за ними коммуникативных рангов [Плунгян 2000: 195–199], поэтому для того, чтобы пассивизация идиомы воспринималась естественно, мало ее грамматической допустимости, нужно еще, чтобы существовали ситуации, диктующие соответствующие прагматические условия. Вполне возможно, что для одних идиом такие ситуации оказываются коммуникативно более значимыми, чем для других. Кроме того, относительная частотность употребления определенных форм может объясняться чисто узуальными предпочтениями. В данной работе эти и подобные им факторы не рассматриваются. Задача состоит в определении тех условий, соблюдение которых необходимо, для того чтобы пассивизация была возможна в принципе.

Один из возможных способов решения этой задачи – выделение различных гетерогенных факторов, способствующих пассивизации (ср. на материале немецкого языка [Burger 1973; Fleischer 1997] и [Abeillé 1995] – на материале французского), и факторов, ей препятствующих (ср., например, наличие в составе идиомы непассивируемого глаго-

<sup>4</sup> Форма страдательного залога *to be taken aback* встречается в 95% всех зафиксированных в английских текстовых корпусах употреблений [Moon 2007].

<sup>5</sup> О неадекватности жесткого подхода к проблеме приемлемости/неприемлемости языковых выражений см. [Перцов 1996: 31–34].

ла или ярко выраженная неагентивность ее значения). Если идиома обнаруживает несколько способствующих пассивизации факторов, ее трансформация в пассивный залог воспринимается как более стандартная, чем в тех случаях, когда обнаруживается лишь один из них или же имеют место определенные факторы, препятствующие образованию форм страдательного залога (ср. подробнее [Dobrovol'skij 1997; 1999; 2000; 2001]). В принципе можно описать условия пассивизации идиом как результат действия отдельных независимых друг от друга факторов: таких, как семантическая членимость, наличие глагольных компонентов, свободно и регулярно образующих формы пассива в данном языке, грамматическая переходность идиомы, синонимичность идиомы глаголу, допускающему пассивную трансформацию, варьирование артикля при именном компоненте (для артиклевых языков) и т.п.<sup>6</sup> Более перспективным представляется, однако, подход, ориентированный на поиск неких общих закономерностей, стоящих за отдельными факторами. Такой подход обладает существенно большим объяснительным потенциалом. Многие из факторов, способствующих пассивизации или препятствующие ей, представляют собой рефлексы некоторых базовых свойств соответствующих идиом. Следовательно, исследование, ориентированное на установление зависимости пассивизации от подобных базовых свойств, скорее может способствовать обнаружению относительно общих правил, которым подчиняется данная синтаксическая трансформация, чем выявление разрозненных корреляций между различными характеристиками идиомы и ее синтаксическим поведением.

### 3. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В дальнейшем изложении мы попытаемся сконцентрироваться не на условиях образования пассива как особой морфосинтаксической формы, а на условиях применения пассивной трансформации. Если исходить из того, что пассивизация как синтаксическая трансформация в любом случае предполагает передвижение именной группы (NP-movement), следует проводить последовательное различие между пассивом как морфосинтаксической формой, с одной стороны, и пассивной трансформацией – с другой. В первом случае речь идет о принципиальной возможности употребить данную глагольную идиому в определенной, специфичной для каждого языка форме: для русского языка это форма на *-ся* от глаголов НСВ и форма, состоящая из глагола-связки *быть* и краткого страдательного причастия от глаголов СВ (сюда же, по-видимому, следует отнести страдательно-причастные обороты типа *сданный в архив X*); для немецкого – это форма *werden* + причастие II или же форма статива *sein* + причастие II. Во втором случае речь идет об изменении диатезы, т.е. о перераспределении семантических ролей по синтаксическим позициям с использованием соответствующих морфосинтаксических форм. Следовательно, о пассивной трансформации (или пассивизации) можно говорить только в том случае, когда именная группа из несубъектной позиции поднимается в позицию грамматического подлежащего (подробнее об этом на материале различных языков ср., например [Givón 1995: 243]). Иными словами, здесь будет рассматриваться только «полный пассив», который, в отличие от пассива «ленивого» (без продвижения дополнений) и «имперсонального» (пассив с нулевым агентом), предполагает продвижение дополнения – прямого или косвенного – в позицию подлежащего (подробнее об этих видах пассива [Плунгян 2000: 220]). Ориентация на «полный пассив» как на залоговую реализацию с совпадением «пассивной формы» и «пассивного смысла» [Zifonun, Hoffmann, Strecker et al. 1997: 1816–1817], возможно, позволит сформулировать некоторые общие правила, приложимые к материалу раз-

<sup>6</sup> Так, в [Abeillé 1995: 21] указывается, что одним из факторов, способствующих пассивизации, является наличие в составе идиомы агентивного глагола, а в ее аргументной структуре – одушевленного субъекта.

личных языков и обладающие тем самым большей объяснительной силой, чем более частные специфические правила<sup>7</sup>.

Поясним сказанное. «Пассивным смыслом» обладают не только канонические формы страдательного залога, но и многие другие конструкции со страдательной семантикой, которые в свою очередь образуют субкатеорию в рамках семантико-синтаксической категории конверсии (ср. подробнее [Апресян 1995: 264]). При ориентации на «пассивный смысл» к анализу должны привлекаться все лексические средства, служащие смещению коммуникативного фокуса при сохранении пропозитивного содержания высказывания. Так, например, в немецком языке идея страдательности может передаваться конструкциями с *sich lassen* 'давать себя' (например, *sie lässt sich nicht täuschen* 'она не даст себя обмануть'), конструкциями с *bekommen* 'получать' (например, *er hat das geschenkt bekommen* 'ему это подарили'), конструкциями, состоящими из глаголов *sein*, *bleiben*, *stehen*, *gehen* или формы *es gibt* в сочетании с инфинитивом, предваряемым частицей *zu* (например, *der Schmerz ist kaum zu ertragen* 'боль почти нестерпима') и пр. (см. подробнее, например [Duden-Grammatik 1984: 184–185]). Однако, поскольку залог – это грамматическая категория, о пассивизации имеет смысл говорить только в случаях, когда имеется регулярное соотношение форм. Соответственно, предложения типа *Sie lässt sich nicht an der Nase herumführen* 'она не позволит водить себя за нос' мы не рассматриваем в качестве примеров на пассивизацию идиомы *jmdn. an der Nase herumführen* 'водить себя за нос кого-л.'

В литературе по фразеологии встречаются случаи, когда идиомы, выражающие смыслы, близкие к пассивным (которые, как правило, не передают идею страдательности в точном смысле), интерпретируются как результат пассивизации. Ср. характерный пример из [Левин-Штайнман 2000: 31]. Форму *виден/видна насквозь* в контексте (10) автор ошибочно характеризует как пассив состояния.

(10) К случаю с Маней это не подходило, поскольку в случае с Маней не было до предела обнажено и банально: Маня была *видна насквозь* и Юра был *виден насквозь* (Л. Петрушевская. Маня).

На самом деле это не пассив от *видеть насквозь* (кого-л.), поскольку *виден* – это не страдательное причастие от *видеть*, а краткая форма от прилагательного *видный*. Таким образом, здесь отсутствует «пассивная форма», как, впрочем, и страдательность в точном смысле. Далее, в качестве залоговых коррелятов иногда интерпретируются пары типа *выпустить в трубу – вылететь в трубу* [Телия 1972: 60]. Здесь мы также имеем дело со случаем, который при самой широкой интерпретации страдательной семантики, видимо, может быть отнесен к категории пассивности, но, строго говоря, представляет собой декаузатив (см. подробнее [Падучева 2001]). А главное – здесь отсутствует «пассивная форма»; это разные идиомы, связанные между собой каузативным отношением. Ср. аналогично: *сойти в могилу – загнать в могилу*, а также встречающиеся во фразеологии конверсивные парадигмы типа *почва уходит из-под ног – выбить почву из-под ног – лишиться почвы под ногами*. Вообще, декаузативы часто используют ту же форму, что и глаголы в страдательном залоге (в русском языке это прежде всего форма на *-ся*), и по этой причине часто ошибочно интерпретируются как пассивные конструкции. Ниже мы остановимся на этом несколько подробнее.

Что касается «пассивной формы» без «пассивного смысла», то сюда относятся прежде всего пассивы от непереходных глаголов, достаточно широко распространенные в

<sup>7</sup> На принципиальную возможность несовпадения синтаксиса, морфологии и семантики указывает и Н. Хомский: «Even within a single language that has syntactic passives with movement and passive morphology, we may find passive morphology without movement <...>, movement with the sense of passive but without passive morphology <...>, and the passive sense with neither passive morphology nor movement» [Chomsky 1993: 122].

языках типа английского и немецкого. Например, в немецком языке возможно образование пассива от глаголов типа *helfen* «помогать». Такие предложения, как *ihm wurde geholfen* (букв. «ему было поможено») описываются в различных концепциях как одночленный или как безличный (бессубъектный) пассив (ср. понятие *Eintakt-Passiv* в [Zifonun, Hoffmann, Strecker et al. 1997]). Способность подобных глаголов образовывать формы пассива (строго говоря, не являющиеся результатом пассивной трансформации, так как в этом случае перемещение именной группы в тематическую позицию отсутствует) наследуются глагольными идиомами (например, *jmdm. auf die Sprünge helfen* → *jmdm. wird auf die Sprünge geholfen* – см. также ниже в разделе 4). Такие случаи, очевидно, должны описываться специальными правилами, характерными для немецкого языка и не действующими в русском<sup>8</sup>. Специальными правилами должны, по-видимому, описываться и близкие к страдательным русские конструкции типа *ему легко работалось*, когда они встречаются во фразеологии. Речь идет о так называемой пассивно-потенциальной форме, которая семантически не идентична страдательному залогу, хотя использует ту же форму на *-ся*, что и пассив в точном смысле<sup>9</sup>. Отличия потенциалиса от канонического пассива становятся особенно очевидными при обращении к другим языкам. И английский, и немецкий языки используют для передачи этого значения другие морфологические формы, не совпадающие с пассивными.

Интерпретация русских глагольных форм на *-ся* представляет собой одну из основных сложностей при изучении пассивизации, поскольку эти формы имеют, помимо значения пассива, еще и значения декаузатива, рефлексива и реципрока<sup>10</sup>. Четко разграничить эти значения часто бывает крайне трудно (см. [Плунгян 2000: 206–220]). Похожие по форме пары идиом часто оказываются связанными разными семантическими отношениями. Например, *сбиться с панталыку* и *сводиться на нет* – это декаузатив от *сбить с панталыку* и *сводить на нет*, а *схватываться на лету* и *сбрасываться со счетов* – пассив от *схватывать на лету* и *сбрасывать со счетов*. Декаузатив отличается от пассива тем, что соответствующая ситуация не имеет Агенса и допускает отсутствие Каузатора – внешней причины изменения состояния, в то время как в ситуации, описываемой пассивом Агенса (если и не назван) подразумевается [Падучева 2001: 62–67]. Ср. *они это схватывают на лету* – *это схватывается (ими) на лету*, *они это сбрасывают со счетов* – *это сбрасывается (ими) со счетов*.

В идиоме *руки опускаются* форма на *-ся* представляет собой декаузатив, ср. контекст (11). Естественно, подобные случаи требуют отдельного анализа и не подчиняются правилам пассивизации идиом.

---

<sup>8</sup> Формы бессубъектного пассива встречаются и в русской фразеологии. По большей части, однако, они оставляют впечатление определенного отклонения от нормы. Ср.: – *Вы, наверное, знаете, что лавра после революции была разорена и на многие годы закрыта. Все сокровища вывезли. В мощах преподобного Сергия тоже копались. Мародеры и трупоеды! <...> Все осквернено, наплевано в самую душу* (В. Солоухин. Последняя ступень).

<sup>9</sup> «Форма на *-ся* от некоторых глаголов д е й с т в и я может иметь пассивно-потенциальное значение (термин предложен В.А. Плунгяном): *юбка отстиралась* = ‘юбку удалось отстирать’. <...> Парный несоев. вид тех же глаголов обозначает действие, узואльно применяемое к объекту, или даже его свойство – ‘Х таков, что его можно легко / с трудом подвергнуть данному действию’ <...>: *Книга легко читается, Пятна от чая отстирываются с трудом*» [Падучева 2001: 73]. Я.Г. Тестелец [2001: 421] использует для обозначения подобных конструкций термин «потенциалис» и считает одним из видов пассива. Поскольку в данной статье применительно к идиомам мы обсуждаем только «прототипическую» пассивизацию, то есть пассив, образованный от агентивно-переходных глаголов, потенциалис (семантика которого, безусловно, обнаруживает элемент страдательности) не попадает в сферу рассмотрения. О конструкциях типа *мне хорошо работается* см. также [Апресян 2005].

<sup>10</sup> На диахроническую обусловленность этой омонимии форм и ее типологические аспекты указывает Т. Гивон в работе [Givón 1990].

гола *резать* (ср. *мясо резалось на мелкие ломтики острым ножом*), а с ограничениями на пассивизацию подобных конструкций.

Таким образом, те ограничения на образование пассива, которые обычно объяснялись действием поверхностных факторов, могут быть сведены к достаточно общим семантическим причинам.

#### 4.2. Семантико-синтаксические условия пассивизации

Помимо общего семантического требования агентивно-переходной интерпретируемости, существуют и другие – в известной степени грамматические – предпосылки пассивизации. Поскольку пассивная трансформация – это вид перемещения именной группы (ИГ), то в компонентном составе идиомы или в ее актантной рамке должна присутствовать ИГ, способная к продвижению в позицию подлежащего. В русском языке (как и в немецком) это, как правило, прямое дополнение, в английском – как прямое, так и косвенное или предложное. В нормальном случае такое дополнение должно обладать относительной семантической самостоятельностью (об исключениях ниже). Эта общая предпосылка реализуется в сфере идиоматики в двух вариантах:

1) в валентностной структуре идиомы должна присутствовать валентность, актант которой способен взять на себя функцию подлежащего (что является условием внешнего ИГ-перемещения);

2) именная группа, перемещаемая в позицию подлежащего, является компонентом самой идиомы (а не просто ее валентностью) и должна в этом случае обладать относительно самостоятельным значением (что является условием внутреннего ИГ-перемещения).

Рассмотрим эти варианты ИГ-перемещения более подробно.

##### 4.2.1. Условия внешнего ИГ-перемещения

Пассивизация глагольной идиомы может осуществляться за счет того, что в валентностной структуре этой идиомы содержатся актанты, которые на основе их семантико-синтаксических свойств (падежных ролей) могут брать на себя функцию тематического субъекта (в стандартном случае совпадающую с синтаксической функцией подлежащего). Синтаксически эти свойства проявляются как наличие открытой валентности, которая (в языках, имеющих категорию падежа) заполняется аккузативным – реже дативным – актантом. В этом случае именная группа, перемещаемая в тематическую позицию, является не частью идиомы, а элементом ее синтаксического окружения. Ср. *связать по рукам и ногам кого-л.* → *кто-л. был связан по рукам и ногам, стереть в порошок кого-л.* → *кто-л. был стерт в порошок, взять на бордаж кого-л.* → *кто-л. был взят на бордаж, предать анафеме кого-л./что-л.* → *кто-л./что-л. был(о) предан(о) анафеме, размазать по стенке кого-л.* → *кто-л. был размазан по стенке, встретить в штыки что-л.* → *что-л. было встречено в штыки*. Следовательно, разложимость идиомы на значимые составные части не образует здесь необходимой предпосылки для пассивизации. Ср. характерные контексты (12).

(12) **а.** А нас, еще сонных, тащат в железобетонный подвал, где по углам еще лежит хозяйская картошка и какое-то тряпье, а мой отец, утешая мать, произносит: «Здесь лишь опасно прямое попадание... А так, снесет верх, а подвал-то останется! Он – железобетонный!» И шупает серые стены, а все напряженно его слушают. Как же! Любое слово о безопасности *ловится на лету* (А. Приставкин. Рязанка); **б.** Сколько здоровья *было пущено коту под хвост* (Собеседник); **в.** – У них давно споры шли, у Крылова с Тулиным. Это всем известно. Думаете, Крылов не понимает, что у Тулина все *на песке построено*? Прекрасно понимает. Спросите его (Д. Гранин. Иду на грозу); **г.** – Как вы смеете со своими дамскими прихотями! Здесь матери, понимаете это, матери! Их дети насильственно разлучены с ними и брошены на про-

(11) Я не считаю себя пессимистом, но должен сказать со всей ответственностью, что если вдуматься повнимательней в существо жизни, то станет ясно, что все кончается смертью. В этом нет ничего особенного, и было бы даже недемократично, если бы кто-нибудь из нас вдруг уцелел и сохранился. Конечно, всякому жить хочется, но как подумаешь, что Леонардо да Винчи тоже вот умер, так просто *руки опускаются* (А. Терц. Гололедица).

Итак, ориентация на совпадение «пассивного смысла» и «пассивной формы», то есть на канонические виды пассивизации представляется необходимой предпосылкой любых попыток сформулировать относительно универсальные правила. Особенности каждой конкретной квазипассивной формы и каждого конкретного языка могут быть описаны на следующем этапе исследования в виде дополнений к этим общим правилам и уточнений условий их приложения. Межъязыковые различия в области пассивизации достаточно хорошо известны. Многие из них связаны с различной степенью грамматикализации пассива. Так, в английском языке пассив грамматикализован в большей степени, чем в немецком, а в немецком – в большей степени, чем в русском. В русском языке пассив – более редко встречающаяся форма, типичная для агентивных глаголов, ср. [Апресян 2002; Падучева 2003: 196]. Соответственно, любые неканонические формы пассива (например, пассив стативных глаголов) должны описываться с помощью частных правил, специфичных для каждого конкретного языка.

#### 4. ПРАВИЛА ПАССИВИЗАЦИИ ИДИОМ

##### 4.1. Общие семантические предпосылки

Важнейшая предпосылка для образования канонических форм пассива носит чисто семантический характер и не является специфичной для идиом. Лексические единицы (глаголы и глагольные фразеологизмы любых типов) могут в принципе пассивизироваться только в том случае, если они осмысляются как лексемы с **агентивно-переходной семантикой**. Иными словами, такие глаголы должны интерпретироваться как обозначающие действия, каузируемого активной сущностью (необязательно Агенсом в точном смысле) и направленные на объект (как правило, Пациенс или Тему)<sup>11</sup>. См. подробнее [Givón 1995: 76]. Специфичным для идиоматики оказывается требование агентивно-переходной интерпретируемости не только относительно актуального значения, но и относительно образной составляющей. Иными словами, идиома, прочитанная буквально, также должна допускать агентивно-переходную интерпретацию, так, чтобы, будучи преобразованной в форму страдательного залога, представлять собой выражение, не противоречащее нормам соответствующего языка. Последнее касается в первую очередь идиом с прозрачной внутренней формой.

Так, например, идиома *быльем поросло* в принципе не может образовывать пассив, так как ни ее актуальное значение, ни ее внутренняя форма не интерпретируемы как агентивно-переходные. Идиома *мерить всех на свой аршин*, взятая в буквальном значении, обладает агентивным значением, но ее актуальное значение описывает не действие, а некоторое ментальное состояние субъекта (нечто вроде 'будучи неспособным встать на точку зрения других людей или не желая это делать, руководствоваться в своих суждениях исключительно собственными ценностными представлениями'), поэтому вряд ли возможно сказать <sup>??</sup>*все мерились на его аршин*<sup>12</sup>. По сходным причинам обсуж-

<sup>11</sup> В языках типа английского это могут быть также Адресат, Реципиент и Бенефактив.

<sup>12</sup> Дополнительным препятствием для образования пассива является замена *свой* на *его*, которая необходима из-за потери в результате пассивизации кореферентности подлежащего и притяжательного местоимения. Подобная замена в известной степени разрушает устойчивость идиомы.



даемая в разделе 1 идиома *отдать концы* (ср. (2)) не может пассивизироваться. Сказать \**концы были отданы (Иваном)* нельзя, хотя бы уже потому, что актуальное значение этой идиомы 'умереть' не поддается агентивно-переходной интерпретации.

Исходя из этих наблюдений, можно переформулировать гипотезу о зависимости способности идиом к пассивизации от наличия квазисинонимичного глагола, регулярно преобразуемого в пассив [Chafe 1968; Newmeyer 1974], в более общих терминах. Эта гипотеза позволяет предсказать, например, неспособность идиомы *to kick the bucket* = 'умереть' образовывать формы пассива на том основании, что глагол *to die* 'умереть' не может употребляться в страдательном залоге. Критерий квазисинонимичности идиомы с соответствующим глаголом выделяет лишь один класс случаев, поскольку существует немало выражений, которые вообще не могут быть перефразированы с помощью одного глагола (ср., например, идиому *мерить всех на свой аршин*). Интересно, что идея о релевантности критерия «переводимости» идиомы с помощью пассивизируемого глагола разделяется далеко не всеми исследователями (ср., например [Nunberg 1978; Abeillé 1995]). Так, А. Абеиле считает, что идиомы *to give up the ghost* (букв. «испустить дух») и *to throw in the towel* (букв. «бросить полотенце»), которые не отвечают этому критерию, поддаются пассивизации, хотя их неидиоматические соответствия *to die* 'умереть' и *to resign* 'сдаться, отказаться от борьбы' не образуют пассива [Abeillé 1995]. Опрошенные нами носители английского языка оценили выражение <sup>??</sup>*the ghost was given up* (нечто вроде «дух был испущен») как некорректное, а выражение <sup>?</sup>*the towel was thrown in* – как условно допустимое в значении 'имевшиеся намерения были оценены как неосуществимые', которое допускает агентивную интерпретацию. Этот случай может рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу предположения, что решающим фактором оказывается не (квази)синонимия с каким-либо конкретным глаголом, а ингерентные семантические характеристики соответствующей идиомы.

Также и отмечаемое в специальной литературе ограничение на пассивизацию, связанное с наличием в структуре идиомы непассивизируемых глаголов [Burger 1973: 81; Fleischer 1997: 49; Möhring 1996: 51], может быть описано как частный случай общего требования допустимости естественной агентивно-переходной интерпретации обоих аспектов плана содержания (т.е. актуального значения и внутренней формы). Ср., например, такие русские идиомы со значением 'наказания, порицания', как *намылить голову (кому-л.)*, *накрутить хвост (кому-л.)*. Их преобразование в страдательный залог явно затруднено (<sup>???</sup>*ему была намылена голова*, <sup>???</sup>*ему был накручен хвост*), при том что актуальное значение не препятствует пассивизации: ≈ 'он подвергся наказанию, порицанию'. Глаголы *намылить* и *накрутить* сами по себе свободно образуют формы страдательного залога. Препятствием является скорее неестественность этих – понятых буквально – словосочетаний в целом. В случае с *накрутить хвост* вообще не очень понятно, как интерпретировать подобное действие, а при необходимости описать ситуацию, обозначаемую буквально проинтерпретированным словосочетанием *намылить голову* в пассиве, сказали бы скорее не что вроде *его голова была намылена*, а не <sup>???</sup>*ему была намылена голова*. А значит, дело не столько в том, что тот или иной глагол в структуре идиомы препятствует ее пассивизации (хотя и это, конечно, достаточная причина для трансформационных ограничений), сколько в том, что соответствующие идиомы, взятые в их буквальном значении, не могут быть естественным образом прочитаны как словосочетания с агентивно-переходной семантикой.

Что касается условия, не допускающего образование каких бы то ни было форм пассива от идиом, содержащих непассивизируемые глаголы, то оно опровергается целым рядом контрпримеров. Так, немецкая идиома *auf Nummer sicher gehen* (букв. ≈ «идти на надежный номер» 'действовать наверняка'), хотя и содержит непассивизируемый глагол *gehen*, тем не менее образует формы «ленивого» пассива: *Diesmal wurde vom Trainer auf Nummer sicher gegangen. Er hat die erkrankten Sportler gar nicht in Betracht gezogen*. 'Тренер в этот раз действовал наверняка (букв. «тренером пошло на надежный номер»). Он даже не рассчитывал на участие заболевших спортсменов'. Особенности об-

*извол судьбы. А вы смеете оскорблять матерей! Сравнить наших детей со своими котами и пуделями!* (Е. Гинзбург. Крутой маршрут); д. Дзига Вертов, революционер, сделавший киножурналистику искусством, в то время прозябал на задворках Центральной студии документальных фильмов. Все его теории *были выброшены на свалку*, а сам он, после многочисленных проработок, чудом уцелевший от бесчинств энкаведешников, превратился в старика с испуганными глазами и доброй, застенчивой улыбкой (Э. Рязанов. Неподведенные итоги).

Часто пассивизация идиомы сопровождается ее преобразованием в атрибутивно-причастную форму; ср. (13)<sup>16</sup>.

(13) а. На Поклонной горе – развороченная бездарным незавершенным строительством земля. *Сведенный на нет* парк. Громоздится над всем этим безобразием недоделанный купол мемориала Победы (А. Усов. Насилие); б. Словом, к настоящему отдыху надо относиться чутко и критично. И безошибочно выбирать тот вариант досуга, чтобы не было потом мучительно больно за *брошенные на ветер деньги* и истрепанные на год вперед нервы (Московский комсомолец); в. Программа коммунистической партии образца зимы-весны 1993 года воспринимается не иначе как набор лозунгов, без разбору *сваленных в одну кучу* (Корпус публицистики); г. *Сбитые с толку* придворные в отчаянии заметались между двух королей, попадая из огня да в полымя (О. Вовк. Четыре мушкетера, или Мочалкой по черепу); д. Без интеллигентской, *высосанной от бессилия из пальца* «внутренней свободы» с ее несчастным «чистым искусством», без интеллигентского же фиглярства – от того же бессилия (Корпус публицистики); е. Как достаточно честный человек, я хотел было последовать его совету, но на следующий день к ней прибыл муж, внезапно *выброшенный на свалку истории*, омерзительный тип, и она тоже – гнуснейшая баба, и пошли бы они к черту! (Викт. Ерофеев. Письмо к матери).

Встречаются идиомы, у которых эта форма фиксирована в качестве исходной, например, *забытый богом*.

Пассивизация идиом с внешним ИГ-перемещением – достаточно распространенное явление. Так, в корпусах русских текстов встречаются примеры таких пассивных форм, как *кто-л. был поставлен на место, что-л. было сбито с рук, кто-л. был списан/что-л. было списано на свалку, кто-л. был списан в тираж, что-л. было сброшено/списано со счета/счетов, кто-л. был поставлен в тупик, что-л. было вынесено за скобки, кто-л. был отправлен на все четыре стороны, что-л. было перевернуто вверх дном, кто-л. был обобран до нитки, что-л. пропускалось/было пропущено мимо ушей, что-л. принималось/было принято за чистую монету, кто-л. был выведен из себя, что-л. было собрано по крохам*. Из всех типов пассивизации идиом это, очевидным образом, самый простой. Видимо, именно по этой причине в некоторых работах по фразеологии рассмотрение пассивизации идиом ограничивается этим типом ИГ-перемещения; см., например [Левин-Штайнман 2000]. Для реализации этой трансформации достаточно (помимо общего требования агентивности и семантической переходности), чтобы идиома имела свободную объектную валентность, то есть – с точки зрения пассивных трансформ – валентность на потенциальное подлежащее. Естественно, это лишь весьма общее правило, санкционирующее данную трансформацию в принципе. Как ведут себя конкретные идиомы, во многом решает узус и специфичные для каждого языка синтаксические предпочтения. Выше уже было отмечено, что степень грамматикализации

<sup>16</sup> Несколько иначе следует интерпретировать следующий контекст: – *А что я должен буду делать? – разыгрывая откровенность уже почти купленного с потрохами осведомителя-интеллектуала, спросил я* (Е. Евтушенко. Не умирай прежде смерти). Собственно идиомой здесь является *с потрохами*.

разования неканонических форм пассива представляются в большей степени лингвоспецифичными, чем образование «полного» пассива, и требуют отдельного изучения.

Еще один пример, иллюстрирующий роль внутренней формы идиом в их синтаксическом поведении. Известно, что образование пассива затруднено с *nomina anatomica*, выступающими в функции неотчуждаемой принадлежности субъекта (см. [Апресян 2001: 18–19])<sup>13</sup>. Это ограничение, не являясь специфичным для фразеологии, наследуется идиомами с такими компонентами. По этой причине выражения типа *развесить уши* и *вытаращить/вылупить/выпучить/выкатить глаза* не образуют пассива: *\*уши развесились (Петькой)*, *\*уши были развешены (Петькой)*, *\*глаза выпучивались/выкатывались... (Петькой)*, *\*глаза были вытаращены/вылуплены/выпучены (Петькой)*<sup>14</sup>. Заметим, что возможны, однако, употребления типа *глаза Петьки оставались вытаращенными*, которые, не будучи пассивными формами в точном смысле, не подпадают под это ограничение (однако, *\*уши Петьки оставались развешенными* сказать нельзя). В соответствии с ограничением на пассивизацию выражений с *nomina anatomica*, идиомы, содержащие такие компоненты, не образуют страдательного залога – если речь идет о неотчуждаемой принадлежности субъекта идиомы – вне зависимости от агентивности и переходности их актуального значения. Интересно, что запрет на образование пассива действует и применительно к таким идиомам, как *резать глаз*, при том что *глаз* в данном случае – неотчуждаемая принадлежность Экспериментера, а подлежащим предложений типа *двойные стандарты слишком уж резали глаз* является Тема. Тем не менее, нельзя сказать *\*глаз резался двойными стандартами*. Актуальное значение этой идиомы (нечто вроде ‘неприятно удивлять, возмущать, не соответствуя представлениям субъекта об этических, эстетических и пр. нормах’) допускает агентивно-переходное прочтение<sup>15</sup>, а буквальное значение – нет. Причем это связано не с особенностями гла-

<sup>13</sup> Ср.: «наличие внутренней связи между субъектом и тем, что является его неотчуждаемой принадлежностью, препятствует пассивизации <...> глаголы типа *вынимать, опускать, открывать, поднимать, растягивать, сжимать* и т.п., которые сочетаются, в частности, с *nomina anatomica* – важнейшим классом существительных неотчуждаемой принадлежности; ср. *Мужчина вынимает руки из карманов <опускает голову, открывает рот, поднимает руку, растягивает губы, сжимает зубы>*. В таких употреблениях представлен агенс, глагол физического действия и прямое дополнение глагола, т.е. идеальные условия, необходимые для пассивизации. Однако полная пассивная конструкция (с агенсом в творительном падеже) в форме НЕСОВ невозможна совсем (ср. неправильность конструкций типа *\*Голова опускается мужчиной, \*Рот открывается мальчиком*), а полная пассивная конструкция с глаголом в форме СОВ явно затруднена. Между тем при деперсонифицированном дополнении пассивизация в форме НЕСОВ становится допустимой, а в форме СОВ – совершенно свободной. Ср. *Гроб опускается <был опущен> рабочими в могилу, Дверь открывается <была открыта> привратником* и т.п. Ср. также глаголы типа *морщить, скалить, таращить, хмурить, щурить* и т.п., которые употребляются преимущественно или исключительно с *nomina anatomica* и которым пассивизация в форме НЕСОВ категорически противопоказана. Даже в таком языке, как английский, где пассив грамматикализован в гораздо большей степени и может быть образован не только от переходных, но и от непереходных глаголов, в том числе от глаголов состояния, он становится невозможен при персонифицированном дополнении; ср. *He knocked his fist (on the table)*, но не *\*His fist was knocked by him (on the table)*» [Апресян 2001: 18–19].

<sup>14</sup> То, что форма *глаза выпучены* (например, *его глаза были так страшно выпучены*) в принципе возможна (хотя и не допускает фразеологической интерпретации), не противоречит сказанному. В данном случае *глаза выпучены* не страдательный коррелят к *выпучить глаза*, т.е. не пассив, ср. невозможность восстановления Агенса: *\*его глаза были так страшно им выпучены*.

<sup>15</sup> Строго говоря, это не вполне стандартный пример агентивно-переходной семантики. В этом случае в позиции подлежащего оказывается не одушевленный Агенс, а неодушевленная Тема, а прямое дополнение *глаз* лишь метонимически замещает Экспериментера/Пациенса. В любом случае основная причина запрета на пассивизацию усматривается не в специфике актуального значения идиомы, а в неприемлемости ее формы в буквальном понимании.

пассива варьирует от языка к языку. В этом легко убедиться, сопоставив английский, немецкий и русский контексты (14–16).

(14) There will of course be some changes. There will be hearings, and possibly some insight into the mechanics of how the USA *was led by the nose* into a major war for no reason (The Register).

‘Конечно, произойдут какие-то изменения. Будут расследования и, может быть, наступит некоторое понимание того, с помощью каких механизмов США, без всяких на то причин, *были вовлечены* (букв. «были введены за нос») в серьезную войну’.

(15) Wenn die neue Gouverneurin <... schliesslich durchschaut, dass sie *an der Nase herumgeführt worden ist*, so steckt darin tragische Ironie (Neue Züricher Zeitung).

‘Наконец, новая губернаторша [имеется в виду Юлия Михайловна из «Бесов» Достоевского. – Д.Д.], поняла, что ее *водили за нос*, что само по себе не лишено трагической иронии’.

(16) Затем успешно «*водился за нос*» Сулейманом, каждый сезон ожидая нападения на Аскунию, но как я понял, у самого Сулеймана и в мыслях не было этого делать (Речевое общение Интернета).

Идиомы *to lead someone by the nose*, *jmdn. an der Nase herumführen* и *водить за нос кого-л.* совпадают по внутренней форме и относительно близки, хотя и не идентичны, по актуальному значению: английская идиома *to lead someone by the nose* означает не ‘обманывать’, а ‘полностью контролируя чьи-л. действия, заставляя этого человека делать то, что хочет субъект’ и тем самым, возможно, агентивна в большей степени, чем соответствующие русская и немецкая идиомы. В соответствии с сформулированным в этом разделе правилом пассивизации с внешним ИГ-перемещением следовало бы ожидать, что все три идиомы должны допускать формы страдательного залога. Это, действительно, так. Однако, если английские и немецкие контексты, подобные (14) и (15), широко распространены в узусе и ощущаются как абсолютно нейтральные, русские контексты типа (16) встречаются крайне редко и оставляют ощущение некоторой нестандартности. В данном случае это, по-видимому, связано с омонимией глагола *водиться*: пассив от *водить* и ‘поддерживать отношения с кем-л.’. Отсюда следует, что соблюдение обсуждаемых здесь правил является лишь необходимым условием данного вида пассивизации. Его реальное воплощение – вопрос узуса и коммуникативной целесообразности.

#### 4.2.2. Условия внутреннего ИГ-перемещения

Пассивизация глагольной идиомы может осуществляться за счет того, что именная группа в компонентном составе идиомы перемещается в позицию подлежащего: *спутать все карты* → *все карты были спутаны*, *испортить всю обедню* → *вся обедня была испорчена*, *дать зеленый свет* → *зеленый свет был дан*, *взять барьер* → *барьер был взят*<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Интересно, что пассив на *-ся* оказывается в целом более контекстно ограниченным, чем пассив, образованный с помощью краткого причастия; ср. *открыть/открывать Америку* – *И вот в очередной раз была открыта Америка*; *Всякий раз, когда им открывалась Америка...* Это, по-видимому, частично связано с тем, что для русского языка пассив совершенного вида оказывается более однозначным, в то время как формы на *-ся* обладают рядом омонимичных значений и нуждаются для правильного понимания в дополнительных контекстных условиях. В противном случае может возникнуть эффект каламбура. Ср. приводимый в [Санников 1999] пример из «Винни-Пуха», где неоднозначность формы на *-ся* сознательно обыгрывается: «*Собака кусается*»... *Что ж, не беда. / Загадочно то, что собака, / Хотя и кусается, но никогда / Себя не кусает, однако...*

Именная группа должна при этом обладать относительно автономным значением. В этом случае глагольная идиома интерпретируется не как неделимый предикат, а как построенная по регулярным синтаксическим принципам глагольная группа, т.е. как глагольный предикат со своими актантами. Соответствующая именная группа выполняет функцию актанта, вычлененного из семантического целого и обладающего своим значением. Важной предпосылкой пассивной трансформации оказывается при этом падежная роль именной группы, перемещаемой в тематическую позицию. В языках типа русского или немецкого это должен быть либо Пациенс, либо Тема. В некоторых случаях идиомы рассматриваемого типа содержат собственно идиоматический и неидиоматический компоненты. Если в качестве неидиоматического выступает глагол с соответствующей семантикой, то пассивизация возможна. Семантическая членимость распространяется в таких случаях на глагол, а именная группа остается нечленимой<sup>18</sup>. Например, идиома *найти общий язык* может быть перифразирована приблизительно как 'найти способ договориться'. Соответственно, ее пассивная форма *общий язык был найден* осмысливается как 'способ договориться был найден'. В этом смысле глагол *найти* оказывается неидиоматичным или по крайней мере слабоидиоматичным. Можно даже предложить такой способ описания, при котором собственно идиомой будет считаться только выражение *общий язык*. Ср. также *вся малина была испорчена* ≈ 'все удовольствие было испорчено'. Однако слабая идиоматичность глагольного компонента не является обязательным условием семантической членимости идиомы и тем самым ее пассивируемости. Ср. *эта карта бита* ≈ 'этот аргумент опровергнут', *кровь была пролита* ≈ '(в результате вооруженного конфликта) погибли люди'.

Обращение к аутентичным контекстам показывает, что пассивизация членимых (в данном смысле) идиом представляет собой достаточно распространенное явление, причем встречается тем чаще, чем явственнее ощущим самостоятельный семантический потенциал соответствующей именной группы. Ср. русские (17) и немецкие (18) контексты.

(17) а. Ничто не мешало развитию, росту оркестра, когда в нем появилась, скажем, еще и струнная группа... Напротив – нам *давалась зеленая улица* буквально во всех наших начинаниях (Корпус публицистики); б. Да здравствует родной и любимый товарищ Сталин – корифей всех стран и полководец прогрессивных народов доброй воли. Мы смели с дороги к коммунизму фашистские преграды, и теперь нам *открыта* туда вечно живым Ильичом *зеленая улица*. Ура-а-а (Юз Алешковский. Синенький скромный платочек); в. У людей *выбита почва из-под ног*, они находятся в состоянии полной растерянности, даже паники, у многих опустились руки (Столица); г. Юмор, а особенно сатира всегда злободневны. И то, что современники сатирика понимали часто с полуслова, другому поколению становилось неясным, требовало примечаний, разъяснений. А раз неясно, *в чей огород брошен камешек*, значит, и не смешно (Э. Рязанов. Неподведенные итоги).

(18) а. *Gestern nun wurde doch die Katze aus dem Sack gelassen* (Mannheimer Morgen) 'И вот вчера дело все-таки *вышло наружу* (букв. «кошка была выпущена из мешка）」'; б. *Wenn sich aber als traurige Konsequenz der Auflösung Jugoslawiens die Völker in Kroatien, Serbien und Bosnien die Köpfe einschlagen, dann ist der Rubikon überschritten* (Mannheimer Morgen) 'Если в результате ликвидации югославского государства народы в Хорватии, Сербии и Боснии расшибают друг другу головы, то *дальше идти уже некуда* (букв. «Рубикон уже перейден）」'.

Семантическая членимость идиомы – градуированная категория, то есть автономность отдельных ее компонентов может иметь разную степень выраженности. Чем яснее ощущается семантическая автономность именной группы, тем меньше специфиче-

<sup>18</sup> Вопросы, связанные с семантической членимостью идиом, ее видами, поиском операциональных критериев и пр., заслуживают отдельного рассмотрения (ср. [Dobrovolskij 1997; Добровольский (в печати)]).

ских условий требуется для того, чтобы пассивизация соответствующей идиомы была узуально приемлема, и тем больше контекстов с ее пассивной формой можно найти в корпусах. На одном полюсе находятся идиомы типа *открыть/дать зеленую улицу* (ср. (17а, б)), где *зеленая улица* может быть описана как именная группа, абсолютно самостоятельная семантически, а на другом полюсе – нечленимые идиомы типа *показать небо в алмазах (кому-л.)*, *показать кузькину мать (кому-л.)*, *прописать ижицу (кому-л.)*, *заговаривать зубы (кому-л.)*, *точить лясы*, *отдать богу душу*, *света белого неувидеть*. В первом случае пассив образуется регулярно и без каких бы то ни было затруднений, во втором – невозможен вообще (естественно, за исключением контекстов языковой игры, которая и ощущается как таковая именно по причине того, что при этом нарушаются те или иные правила): *???ему было показано небо в алмазах*, *\*ему была показана кузькина мать*, *\*ему была прописана ижица*, *???ему были заговорены зубы*, *\*лясы были точены*, *\*душа была отдана богу*, *\*свет белый был неувиден*.

Семантическая отдельность именного компонента особенно очевидна в случаях, когда имеются две и более идиомы, основанные на одной и той же метафоре и коррелирующие друг с другом по компонентному составу; ср., например, *заваривать кашу* и *расхлебывать кашу*. Толкования этих идиом должны обнаруживать общую часть, которая в их актуальных значениях соответствует компоненту *каша* в лексической структуре этих идиом и в структуре метафоры, лежащей в основе их внутренней формы: = ‘неприятности’. Соответственно, идиома *заваривать кашу* может пассивизироваться. Встречаются даже контексты (большой частью с элементами языковой игры), где обе эти идиомы – *заваривать кашу* и *расхлебывать кашу* – употребляются вместе, причем обе в страдательном залоге (19). В последнем случае семантическая автономность именного компонента подчеркивается наличием модифицирующего прилагательного и кванторного слова *большинство*.

(19) Надо сказать, что большинство из государственных каш, *завариваемых сегодня*, неизбежно будут *расхлебываться* потом, через много лет (В. Солоухин. Последняя ступень).

Наличие у того или иного именного компонента семантической автономности доказывается его способностью находиться в сфере действия дейктических слов. В таких контекстах соответствующий именной компонент приобретает конкретно-референтный статус; ср. (20).

(20) а. <...> выскочил проводник из вагона, мимо Кольки пробежал, да застопорился. – Ха! Привет! – кричит. Зубы скалит. <...> – Я раньше сообразил, что тут за каша заваривается, удрал на дорогу. Езжу, как видишь. Куда хошь привезу (А. Приставкин. Ночевала тучка золотая); б. Американцы после дела Эймса просто пережили шок. Они в последние годы, особенно после распада Советского Союза, и предположить не могли, что так проиграют. Была здесь задета гордость. Они выслали из страны нашего открытого резидента, мы ответили им тем же. Заварилась такая каша! (Огонек); в. Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша (А. и Б. Стругацкие. Жук в муравейнике).

Существуют идиомы, в которых перемещаемое в позицию подлежащего существительное употребляется не в канонической форме именительного падежа, а в других формах, в частности в родительном падеже.

(21) а. Вот уж будет наломано дров! Ежели, конечно, не сочтет необходимым вмешаться Комитет конституционного надзора... (Столица); б. Речь шла о равенстве и неравенстве. Свеженькая темка, не правда ли? Копий и дров наломано столько, что хватило бы, пожалуй, на растопку не одной, а десятка цивилизаций (В. Аксенов. В поисках грустного беби).

В таких случаях пассивизация подчиняется общему правилу внутреннего ИГ-перемещения, в том числе и в игровом контексте (21б). Компонент *дрова* осмысливается как семантически автономный ( $\approx$  'отрицательные последствия необдуманных действий'). А выбор неканонического падежа перемещаемого компонента подчиняется известному правилу пассивизации кумулятивных глаголов совершенного вида с приставкой *на-* типа *наколоть, наносить, наготовить, закупить* [Храковский 1991: 156]. Интересно, что в семантике этой идиомы есть скрытый квантор: *наломать дров*  $\approx$  'совершить много необдуманных действий с отрицательными последствиями'<sup>19</sup>. При пассивизации этот квантор частично эксплицируется; ср. *дров наломано столько* в (21б) и сочетание частиц *вот уж* с семантикой 'много' в (21а).

Встречаются идиомы, у которых пассивная форма, основанная на внутреннем ИГ-перемещении, лексикализована. Так, форма *руки связаны (у кого-л.)* столь же «словарна», как и *связать руки (кому-л.)*, а форма *жребий брошен* воспринимается, пожалуй, как первичная по отношению к активной форме *бросить жребий*. Ср. употребление этих идиом в контекстах (22). Идиома (*чья-л.*) *песенка спета* вообще лексикализована в пассивной форме. Подобные явления встречаются и в других языках. Например, немецкая идиома *von allen guten Geistern verlassen sein* (букв. «быть покинутым всеми добрыми духами» 'быть не в себе') изначально фиксирована в форме пассива состояния, а идиома *jmdm. den Zahn ziehen* (букв. «выдернуть зуб кому-л.» 'лишить кого-л. иллюзий') употребляется в пассиве настолько часто, что здесь можно говорить о частичной лексикализации.

(22) а. Директор поднялся над столом, как над трибуной, и произнес. – Двадцать лет сидел я в этом кресле и ни одного решения сам не принял. Ответственности боялся. Все ждал своего часа. И дождался: на пенсию меня отпускают, с завтрашнего числа. Значит, за все, что я сделаю сегодня, завтра будет отвечать другой. Зовите ко мне сейчас каждого, всех, подряд!.. Все подпишу, разрешу, санкционирую... Полжизни *руки были связаны* – хоть полдня поработаю по-настоящему. Дождался! (А. Каневский. Дождался!); б. Хлопнув дверью, хорваты прервали консультации, которые можно было и не начинать: *жребий был брошен* несколько дней назад (Огонек).

Само собой разумеется, что предложенное здесь правило пассивизации регулирует лишь принципиальную возможность образования соответствующих форм. Реальная употребительность этих форм зависит от ряда причин, выходящих за рамки соотношения семантики и синтаксиса в точном смысле – в первую очередь от коммуникативной целесообразности пассивизации в каждом конкретном случае и от узуса каждого конкретного языка на данном этапе его развития. Это становится особенно очевидным при сопоставлении разных языков.

Почему плохо сказать *козел был пущен в огород*? Эта идиома семантически членима и, согласно предложенным правилам, должна пассивизироваться регулярным образом: компонент *козел* достаточно автономен семантически, поскольку отождествляется с человеком, получившим доступ к некоторому ресурсу и использующим этот ресурс в своих интересах, то есть соотносится с актантом ситуации, фиксированной в актуальном значении. Дело здесь, по-видимому, в коммуникативных условиях. Для прагматического оправдания пассивизации необходим контекст, который делал бы перемещение компонента *козел* в позицию темы коммуникативно осмысленной. Ср., например: *...и таким образом этот козел был пущен в огород*. При отсутствии соответствующих контекстных условий идиомы в пассиве, как уже было сказано выше, часто воспринимаются не-

<sup>19</sup> Глаголы с кумулятивной семантикой часто содержат в своем значении смысл «слишком много» и характеризуются выводимой из него отрицательной оценкой (ср. [Зализняк, Шмелев 1997: 96–97]). Эта отрицательная оценка, как правило, наследуется идиомами, содержащими соответствующие глаголы.

естественно. Очевидно, это происходит не потому, что не работают предложенные правила, а потому, что пассив (как любая маркированная форма) требует для своей реализации более специфических условий, чем форма немаркированная.

Однако в таких языках, как английский и немецкий, где пассив вообще более частотен и, соответственно, менее маркирован (возможно, из-за меньшей употребительности конкурирующих неопределенно-личных конструкций), встречается гораздо больше случаев употребления идиом в пассиве в отсутствие сильных показателей контекста. Ср. употребление пассивной формы немецкой идиомы *den Bock zum Gärtner machen* (букв. «делать/назначать козла садовником»)<sup>20</sup> в контекстах (23).

- (23) а. <...> statt dessen wurde auch noch der Bock zum Gärtner gemacht (Stern) 'вместо этого еще и назначили некомпетентного начальника (букв. «назначили козла садовником»)'; б. <...> der zweite Komplex dreht sich um die Erteilung von Subaufträgen an das Darmstädter Ingenieurbüro Dittrich, mit dem laut Sitzungsprotokoll der «Bock zum Gärtner» gemacht wurde (Mannheimer Morgen) 'второй комплекс вопросов крутится вокруг субподрядов дармштадтской фирмы «Дитрих», которая, согласно протоколу заседания, уже показала свою некомпетентность (букв. «в лице которой козла назначили садовником»)'.

Заметим, что и в этом случае подлежащее пассивной трансформы *Bock* ни в одном из обнаруженных в корпусах контекстов не топиализуется. Соответствующая перестановка этого компонента привела бы к результатам, сомнительным с точки зрения норм узуса. Ср. <sup>??</sup><...> mit dem der Bock laut Sitzungsprotokoll zum Gärtner gemacht wurde.

Лингвоспецифические аспекты узуализации пассивных конструкций становятся очевидными также при сопоставлении русской идиомы *взять быка за рога* с немецкой *den Stier bei den Hörnern packen*. Ср. сомнительное выражение <sup>??</sup>*Бык снова был взят за рога, задача была решена* и совершенно узуальное немецкое выражение *der Stier ist auch heute wieder bei den Hörnern gepackt worden; man hat die Aufgabe gelöst* (пример В. Фляйшера [Fleischer 1997: 50]).

Соотношение двух обсужденных в разделах 4.2.1 и 4.2.2 видов пассивизации (с внешним и с внутренним ИГ-перемещением) прослеживается на примере английских форм

---

<sup>20</sup> Русская идиома *пускать козла в огород* и немецкая идиома *den Bock zum Gärtner machen* эквивалентны лишь частично. Идиома *пускать козла в огород* означает 'доверить кому-л. контроль над определенной сферой деятельности, при том что это лицо способно причинить в этой сфере деятельности серьезный вред и будет использовать свое положение в личных интересах'. Немецкая идиома *den Bock zum Gärtner machen* отличается от русской на компонент значения 'использовать свое положение в личных интересах'. Иными словами, она встречается в контекстах, в которых речь идет о назначении на ту или иную должность человека, не обладающего соответствующей компетенцией и, следовательно, неспособного эффективно работать в этой должности. *Использует ли он свое положение в личных интересах или нет* – целиком определяется контекстными условиями, т.е. данный смысл в значение идиомы не входит. Заметим, что эти межъязыковые различия могут быть (по крайней мере до известной степени) объяснены в терминах образной составляющей. В основе внутренней формы русской идиомы лежит метафора допуска «потенциального вредителя» к некоторому ресурсу, при том что о «вредителе» известно, что он в силу своей природы будет использовать этот ресурс в личных интересах. Внутренняя форма немецкой идиомы не профилирует идею допуска к ресурсу, она основана на метафоре «абсурдного назначения». Не исключено, что особенности употребления этих идиом в контекстах пассивизации мотивированы этими семантическими различиями. Возможно, дело в том, что случаи, когда субъектом в процессе пассивизации становится одушевленное имя, менее характерны для русской фразеологии, чем для немецкой или английской. Известно, что противопоставление одушевленных имен неодушевленным имеет в русском языке весьма серьезные лингвистические следствия. В любом случае, этот вопрос заслуживает отдельного изучения.



«внутреннего» (inner passive) и «внешнего» пассива (outer passive)<sup>21</sup>. Так, идиома *to take advantage of someone* может пассивизироваться как по правилам внутреннего ИГ перемещения с результирующей формой *advantage was taken of someone*, так и по правилам внешнего ИГ-перемещения в экзотичной с точки зрения русского языка форме *someone was taken advantage of* (outer passive). Такое варьирование пассивных форм, допускаемое английской грамматикой, позволяет говорящим в зависимости от коммуникативного фокуса варьировать тема-рематическое членение предложения, что в русском и немецком языках достигается с помощью изменения порядка слов. Когда высказывание строится с канонической формой пассива *advantage was taken of someone*, компонент *advantage* продвигается в позицию подлежащего и топикализуется. Таким образом, говорящий использует потенциал семантической членимости данной идиомы. Когда употребляется форма «внешнего» пассива *someone was taken advantage of*, в позицию топикального подлежащего выносится актант, заполняющий объектную валентность идиомы, то есть происходит внешнее ИГ-перемещение, а сама идиома синтаксически ведет себя как нечленимая (ср. [Kuiper 2007]).

В целом, использование семантического потенциала, заложенного во внутренней структуре идиомы, до известной степени индивидуально. Понятно, что во многих типах контекстов членимые идиомы ведут себя так же, как нечленимые (английский «внешний» пассив – лишь один из таких типов). Иными словами, потенциал семантической членимости проявляется только в определенных синтаксических условиях. Понятно также, что, поскольку степень членимости идиомы может быть различной, в случаях ее слабой выраженности остается место для индивидуального варьирования в интерпретации. Идиому, которую один говорящий воспринимает как членимую, другой может считать нечленимой. По этой причине в подобных случаях наблюдаются расхождения в оценке приемлемости пассивизации идиомы разными носителями языка.

#### 4.2.3. *Случаи семантико-синтаксической асимметрии*

Все обсуждавшиеся до сих пор условия пассивизации, большей частью, относительно тривиальны, поскольку отражают достаточно общие принципы преобразования активного залога в пассивный. Специфика идиом по сравнению с глаголами проявляется лишь в их способности к внутреннему ИГ-перемещению, что также достаточно очевидно, поскольку соответствующая валентность глагольного компонента идиомы фиксирована и заполняется актантом внутри самой идиомы, т.е. становится константой (ср. 4.2.2).

Более сложными и интересными в теоретическом плане представляются случаи типа *вылить ушат холодной воды (на кого-л.)* → *(на кого-л.) был вылит ушат холодной воды*, *поставить крест (на ком-л./чем-л.)* → *(на ком-л./чем-л.) был поставлен крест*. Значение идиомы *поставить крест* в силу устройства лежащей в ее основе метафоры плохо членится на семантически самостоятельные фрагменты, изоморфные компонентам *поставить* и *крест*. Ср. недопустимость трансформаций типа *\*крест, который был на нем поставлен* или *\*какой крест был поставлен на нем?*

Таким образом, продвижение компонента *крест* в позицию подлежащего противоречит условию семантической членимости. Действительно, странно производить операции над коммуникативным рангом лексического элемента, не обладающего самостоятельным референциальным статусом в актуальном значении. Очевидно, в данном случае продвижение именного компонента в позицию подлежащего является чисто синтаксической операцией, не приводящей к изменению его коммуникативного ран-

<sup>21</sup> Outer passive – это ряд экзотических пассивных конструкций с продвижением в позицию подлежащего не прямого, а косвенного, предложного дополнения или обстоятельства места. Эти конструкции в высокой степени лексикализованы, то есть свойственны небольшим классам слов, причем не все глаголы-члены класса, в принципе способные образовывать такие конструкции, реализуют эту способность: см. подробнее [Апресян 1993: 10].

- Телия 1972 – В.Н. Телия. Вариантность идиом и принципы идентификации вариантов // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Материалы межвузовского симпозиума (1968). Тула, 1972.
- Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Храковский 1991 – В.С. Храковский. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / Отв. ред. А.В. Бондарко. СПб., 1991.
- Abeillé 1995 – A. Abeillé. The flexibility of French idioms: a representation with Lexicalized Tree Adjoining Grammar // M. Everaert, E.J. van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder (eds.). Idioms: structural and psychological perspectives. Hillsdale, 1995.
- Abraham 1989 – W. Abraham. Idioms in contrastive and in universally based typological research: toward distinctions of relevance // M. Everaert, E.J. van der Linden (eds.). Proceedings of the first Tilburg workshop on idioms. Tilburg, 1989.
- Burger 1973 – H. Burger. Idiomatik des Deutschen. Unter Mitarbeit von H. Jaksche. Tübingen, 1973.
- Chafe 1968 – W.L. Chafe. Idiomaticity as an anomaly in the Chomskyan paradigm // Foundations of language. № 4. 1968.
- Chomsky 1993 – N. Chomsky. Lectures on government and binding: the Pisa lectures. 7th edition. Berlin; New York, 1993.
- Dobrovol'skij 1997 – D. Dobrovol'skij. Idiome im mentalen Lexikon: Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung. Trier, 1997.
- Dobrovol'skij 1999 – D. Dobrovol'skij. Haben transformationelle Defekte der Idiomstruktur semantische Ursachen? // N. Fernandez-Bravo, I. Behr, C. Rozier (Hrsg.). Phraseme und typisierte Rede. Tübingen, 1999.
- Dobrovol'skij 2000 – D. Dobrovol'skij. Gibt es Regeln für die Passivierung deutscher Idiome? // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 1999. Bonn, 2000.
- Dobrovol'skij 2001 – D. Dobrovol'skij. Pragmatische Faktoren bei der syntaktischen Modifizierbarkeit von Idiomen // F. Liedtke, F. Hundsnurscher (Hrsg.). Pragmatische Syntax. Tübingen, 2001.
- Duden-Grammatik 1984 – Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 4., völlig neu bearb. und erweiterte. Aufl. Mannheim; Wien; Zürich, 1984.
- Fellbaum 1993 – C. Fellbaum. The determiner in English idioms // C. Cacciari, P. Tabossi (eds.). Idioms: processing, structure, and interpretation. Hillsdale, 1993.
- Fleischer 1997 – W. Fleischer. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. 2., durchgesehene und ergänzte Aufl. Tübingen, 1997.
- Fraser 1970 – B. Fraser. Idioms within a transformational grammar // Foundations of language. 1970. № 6.
- Gibbs, Nayak 1989 – R.W. Gibbs, N.P. Nayak. Psycholinguistic studies on the syntactic behavior of idioms // Cognitive psychology. 1989. № 21.
- Givón 1990 – T. Givón. Syntax: a functional-typological introduction. Amsterdam, 1990.
- Givón 1995 – T. Givón. Functionalism and grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Katz 1973 – J. Katz. Compositionality, idiomaticity, and lexical substitution // S. Anderson, P. Kiparski (eds.). A Festschrift for Morris Halle. New York, 1973.
- Kuiper 2007 – K. Kuiper. Syntactic aspects of phraseology II: Generative approaches // Handbook phraseology. V. 1. Berlin; New York, 2007.
- Lakoff 1987 – G. Lakoff. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1987.
- McCawley 1971 – J.D. McCawley (Quang Phuc Dong). The applicability of transformations to idioms // Papers from the seventh regional meeting of the Chicago linguistic society. Chicago, 1971.
- Möhring 1996 – J. Möhring. Passivfähigkeit verbaler Phraseologismen // J. Korhonen (Hrsg.). Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen II. Bochum, 1996.
- Moon 2007 – R. Moon. Phraseology in general monolingual dictionaries // Handbook phraseology. V. 2. Berlin; New York, 2007.
- Newmeyer 1974 – F.J. Newmeyer. The regularity of idiom behavior // Lingua. V. 34. 1974.
- Nunberg 1978 – G. Nunberg. The pragmatics of reference. Dissertation. New York, 1978.
- Nunberg, Sag, Wasow 1994 – G. Nunberg, I.A. Sag, T. Wasow. Idioms // Language. V. 70. 1994.
- Ruwet 1983 – N. Ruwet. Du bon usage des expressions idiomatiques dans l'argumentation en syntaxe générative // Revue Québécoise de Linguistique. V. 13. 1983.
- Ruwet 1992 – N. Ruwet. Syntax and human experience. Chicago, 1992.
- Schenk 1992 – A. Schenk. The syntactic behaviour of idioms // M. Everaert, E.-J. van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder (eds.). Proceedings of IDIOMS. Tilburg, 1992.
- Zifonun, Hoffmann, Strecker et al. 1997 – G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker et al. Grammatik der deutschen Sprache. Bd. 3. Berlin; New York, 1997.

га<sup>22</sup>. В топиальную позицию выносится не этот компонент, а актант, заполняющий пациенсную валентность (или какой-либо другой член предложения); ср. просодически нейтральное высказывание *На Иване Ивановиче был поставлен крест* и контексты (24), с одной стороны, и высказывание <sup>??</sup>*Крест был поставлен на Иване Ивановиче*, явно требующее специальных контекстных условий и специфической просодии – с другой.

- (24) а. В перестановке кадров тоже наблюдается кое-что интересное. <...> Таким образом, по мнению некоторых участников этих переговоров, *поставлен крест* на эффективном и самостоятельном чеченском правительстве. Ставленники Москвы, укрепленные старым партийным кадром, для Грозного, без сомнения, оккупационный режим (Московские новости); б. Да, мир в Чечне кого-то сильно не устраивал. И на долгожданном соглашении *был поставлен крест* (Известия).

Подчеркнем, что речь идет не о порядке следования компонентов (*был поставлен крест* vs. *крест был поставлен*), а именно о тематической позиции: необычным и требующим специальных условий является не порядок слов *крест был поставлен*, а вынесение компонента *крест* в тему высказывания и изменение его коммуникативного ранга. Что касается данного порядка следования компонентов, то он вполне допустим: например, при таком коммуникативном членении предложения, при котором вся идиома оказывается в теме, а рему образует множественный Пациенс, как в случае (25).

- (25) Несколько раньше *крест был поставлен* на Сергее Кирьякове, Игоре Шалимове, Дмитрие Харине (Интерфакс-АИФ).

Обнаруженные в текстовых корпусах<sup>23</sup> и в Интернете контексты подтверждают наличие подобных ограничений в распределении коммуникативных ролей. Ср. нейтральные примеры употребления этой идиомы в страдательном залоге (26), с одной стороны, и явно нестандартные контексты (27) – с другой. Очевидно, пассивная форма идиомы *поставить крест* приемлема в тех случаях, когда она полностью (за исключением ее актантов, естественно) входит или в тему<sup>24</sup>, или в рему.

- (26) а. Выпускников факультета журналистики практически всех пытались завербовать в КГБ. Исключение составляли единицы, вроде меня, которые уже успели пострадать от КГБ и на которых *был поставлен крест* (Столица); б. Неизвестно, был ли у Гайникамал талант врача, но мечталось ей стать и авиаконструктором <...>. А еще будоражили воображение индийские фильмы <...>. На карьере врача *крест был поставлен* быстро и бесповоротно (Новости недели).
- (27) а. Окончательный жирный крест был поставлен после того, как в клубе случился пожар: сгорело несколько эллингов вместе со всем снаряжением <...> (Публицистика Интернета); б. Целая стопка журналов стоит на моем столе и все беленькие и пушистые, но только последний номер стал черным и жирный крест был поставлен на нем (Публицистика Интернета).

Нестандартность контекстов (27) подчеркивается введением в структуру идиомы определений *жирный* и *окончательный*. Заметим впрочем, что определение *жирный* встречается в составе этой идиомы настолько часто, что ощущение нестандартности сочетания *поставить жирный крест* в последнее время несколько притупляется, в осо-

<sup>22</sup> Это «квазиаргумент» в терминологии Н. Хомского [Chomsky 1993], которому приписывается «пустая» семантическая роль.

<sup>23</sup> При анализе русского материала был использован Национальный корпус русского языка, корпусы русских текстов Тюбингского университета (Германия) и корпусы Отдела экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН.

<sup>24</sup> В данном случае «тема» понимается не как семантическая роль (ср. выше), а как часть оппозиции «тема – рема» – одна из структур коммуникативной организации смысла высказывания.

бенности, если в контекстах пассивизации не нарушается нормальное тема-рематическое членение высказывания, ср. (28).

(28) На робких попытках Москвы стать полноценным восьмым членом главного клуба мировой политической и экономической элиты жирный крест был поставлен после дефолта 1998 года (Сегодня).

«Асимметричная» пассивизация характерна не только для русского языка. Ср. немецкую идиому *jmdm. den Garaus machen* 'убить кого-л.' с уникальным компонентом *Garaus*.

(29) Ratten, Mäuse, Kakerlaken – den lästigen Hausgenossen soll nun mit einem neuen System *der Garaus gemacht werden*: Ein elektromagnetischer Schädlingsbekämpfer, kurz EMS «steckt» den Mitbewohnern, daß sie unerwünscht sind (Mannheimer Morgen)

'Крысы, мыши, тараканы – этим неприятным соседям скоро *придет конец* (букв. «будет сделан *Garaus*»): электромагнитный прибор для уничтожения вредителей, сокращенно ЭМС, втолкует этим соседям, что им здесь не рады'.

Несколько отличные от обсужденных здесь случаи семантико-синтаксической асимметрии встречаются в английской фразеологии. Ср. употребление идиомы *to pull someone's leg* (букв. ≈ «тянуть кого-л. за ногу» 'дурачить кого-л.') в пассивных конструкциях типа *I think my leg is being pulled* «думаю, что моя нога тянется» 'думаю, что меня дурачат'. Пациент, претендующий на статус топика, ассоциируется с посессором слова *leg*, выраженного местоимением *my*, а в позицию подлежащего придаточного предложения перемещается вся именная группа *my leg*<sup>25</sup>.

Во всех подобных случаях мы, судя по всему, имеем дело с рассогласованием функций грамматического подлежащего и темы/топика. Для теории фразеологии вообще и для построения грамматики идиом в частности подобные явления представляют особый интерес.

Важно подчеркнуть, что обсужденные в разделах 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 способы пассивизации идиом имеют различный статус. Если первые две закономерности носят характер правил и обладают (наряду с общим семантическим требованием агентивно-переходной интерпретируемости идиомы) некоторой предсказательной силой, то наличие определенных семантико-синтаксических асимметрий помогает лишь объяснить те случаи, которые выходят за рамки этих правил. Как было показано выше, в целом пассивизация идиом базируется на следующих правилах.

Идиома способна образовывать «полный» пассив<sup>26</sup>,

1) если в ее валентностной структуре есть валентность, актанта которой способен взять на себя функцию подлежащего, и

2) если именная группа, являющаяся частью идиомы и перемещаемая в позицию подлежащего, обладает относительно самостоятельным значением.

В случаях, когда эти условия нарушаются, а пассив, тем не менее, возможен и узуально приемлем, это может объясняться различного рода асимметриями в организации семантической и синтаксической структур, в частности рассогласованием функций грамматического подлежащего и темы/топика. Предсказать, в каких конкретных случаях подобное рассогласование будет иметь место, не представляется возможным. Можно

<sup>25</sup> «A syntactic phenomenon, in which a larger constituent has to be moved when only a subpart of the constituent is the focus of the syntactic operation, is called pied-piping» [Schenk 1992: 102].

<sup>26</sup> Речь идет, естественно, лишь о стандартных, санкционированных узусом формах. В нестандартных контекстах встречаются самые разнообразные отступления от нормы, в том числе и явные нарушения предложенных здесь правил. Нестандартная пассивизация возможна, разумеется, и за пределами фразеологии. Ср. примеры игрового употребления пассивных форм в [Санников 1999], в частности: – *Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?* (А. Аверченко. Страшный человек).

лишь указать, для каких языков семантико-синтаксические асимметрии более характерны, а для каких – менее.

\* \* \*

Возвращаясь к общей проблеме поиска универсальных механизмов пассивизации идиом, заметим, что она не имеет простого однозначного решения. Любые правила, которые могут быть здесь предложены, в принципе ориентированы на потенции языковой системы и, естественно, не могут учитывать несистемные факторы (узуальные предпочтения, коммуникативную целесообразность, оправданность специфическими условиями контекста и т.п.). Реальное употребление идиом в пассивной форме зависит от ряда дополнительных коммуникативных и прагматических условий, а также от особенностей каждого конкретного языка – в данном случае, от степени грамматикализованности пассива и наличия неканонических пассивных конструкций. Следует также принимать во внимание динамику узуса: оценка приемлемости определенных языковых выражений меняется во времени. Задача выявления строгих зависимостей осложняется еще и тем, что семантическая членимость идиом, будучи категорией значимой для формулирования условий их пассивизации, поддается лишь относительной операционализации. Тем не менее, очевидно, что любые правила, объясняющие синтаксическое поведение идиом, исходя из их семантики, полезны для теории фразеологии. Конечной целью подобных исследований должно стать построение грамматики идиом – системы правил, тенденций и зависимостей, выявляющих регулярные элементы в организации фразеологической системы. Иными словами, речь идет о поиске регулярного в нерегулярном.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1993 – Ю.Д. *Апресян*. Лексикографическая концепция Нового Большого англо-русского словаря // Новый Большой англо-русский словарь: В 3-х т. М., 1993.
- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Лексическая семантика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.
- Апресян 2001 – Ю.Д. *Апресян*. Системообразующие смыслы 'знать' и 'считать' в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
- Апресян 2002 – Ю.Д. *Апресян*. Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1.
- Апресян 2005 – Ю.Д. *Апресян*. О Московской семантической школе // ВЯ. 2005. № 1.
- Баранов, Добровольский 1991 – А.Н. *Баранов*, Д.О. *Добровольский*. К универсальному определению идиомы // Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов. Образцы словарных статей. М., 1991.
- Добровольский 2005 – Д.О. *Добровольский*. Зависит ли синтаксическое поведение идиом от их семантики? // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции «Диалог 2005». М., 2005.
- Добровольский (в печати) – Д.О. *Добровольский*. Семантическая членимость как фактор вариативности идиомы // Сб. в честь Н.Ю. Шведовой. М. (в печати).
- Зализняк, Шмелев 1997 – А.А. *Зализняк*, А.Д. *Шмелев*. Лекции по русской аспектологии. München, 1997.
- Левин-Штайнман 2000 – А. *Левин-Штайнман*. Образование страдательного залога (пассива) на примере фразеологизмов с особым учетом когнитивных процессов // Провинция как социокультурный феномен. Сб. научных трудов. Т. 5. Кострома, 2000.
- Падучева 2001 – Е.В. *Падучева*. Каузативный глагол и декаузатив в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
- Падучева 2003 – Е.В. *Падучева*. Таксономическая категория как параметр лексического значения глагола // Русский язык в научном освещении. 2003. № 2.
- Перцов 1996 – Н.В. *Перцов*. О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Плунгян 2000 – В.А. *Плунгян*. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
- Санников 1999 – В.З. *Санников*. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.

© 2007 г. И. Б. ИТКИН

## МЯГКИЕ ОСНОВЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье показано, что морфонологическое поведение корней и суффиксов с исходом на мягкий согласный в русском языке может быть описано при помощи нескольких правил, которые формулируются автором. С другой стороны, в статье исследуется и обратное явление – отверждение конечных согласных так называемых мягких основ перед несмягчающими суффиксами.

**Постановка проблемы.** Чрезвычайно широкое распространение палатализации конечных согласных основы перед суффиксальными морфемами составляет одну из особенностей морфонологии современного русского языка (далее – РЯ), ср. такие примеры, как *брат – братец, слон – слонёнок, дом – домишко, вор – ворюга, рапира – рапирист, дуб – дубить, новый – новенький, сильный – сильнее* и т.д. Работы, посвященные смягчению согласных в РЯ, весьма многочисленны, и хотя единой, общепринятой трактовки этого явления пока не предложено, основные его закономерности вполне можно считать установленными, ср. [Земская 1973: 93–97; Чурганова 1973: 116–136; Поливанова 1976: 35а, приложение: 8–17, 27–34].

Однако наряду с палатализацией в РЯ представлено и обратное явление – отверждение конечных согласных так называемых мягких основ перед несмягчающими суффиксами, ср. такие примеры, как *тётя – тётка, гусь – гусыня, поле – широкополюй, тень – отенок, кровь – кровавый, восемь – восьмушка, гулять – прогулка* и т.д. Правила этого отверждения, если они вообще существуют, устроены крайне нетривиально, поскольку имеется множество случаев различного поведения как одних и тех же основ перед разными суффиксами (ср. *пень – пенёк* и *опёнок, кудри – кудреватый* и *златокудрый, цель – целевой* и *прицел, корень – коренастый* и *корневой, государь – государыня* и *государев*), так и разных основ перед одним и тем же суффиксом (ср. *тётя – тётка* и *батя – батька, локоть – локоток* и *зять – зятёк, лохань – лоханка* и *сирень – сиренька, лень – леность* и *горе – горесть, глазурь – глазуровать* и *заря – зоревать*).

Данная проблема также неоднократно привлекала внимание исследователей, но в большинстве работ (ср., например [Трубецкой 1987: 118–119; Земская 1973: 96–97]) приводятся лишь изолированные примеры отверждения конечных согласных. Более подробно соответствующий материал изложен в книге [Чурганова 1973: 120–124], однако В.Г. Чурганова, считая диспалатализацию явлением нерегулярным, не ставила перед собой задачу сформулировать ее точные условия.

В диссертации А.К. Поливановой – одной из немногих работ, где сохранение и исчезновение мягкости согласных рассматривается в теоретическом аспекте, – «основы с неустранимой мягкостью зубных как в случае *дядя – дядька* считаются аномальными», а среди основ на *л', н', р'* различаются имеющие устранимую (*дверь*) и неустранимую (*конь, мор(е)*) мягкость [Поливанова 1976: 14]. Такой подход вызывает серьезные возражения. Основы типа *дядя* в РЯ достаточно многочисленны (ср. *батя – батька, князь – князёк, зять – зятёк, медь – медяк* и др.) и могут трактоваться как аномальные разве что при диахронически-ориентированном описании. В то же время мягкость конечных согласных в таких словах, как *конь, море*, хотя и ощущается как ничем не обусловленная, ингерентная (ср. *конёк, морюшко*), парадоксальным образом вовсе не является неустранимой, ср. *конка, конокрад, помор*.

Интересная попытка объяснить случаи исчезновения мягкости переходом именных основ в глагольные предпринята в статье С.М. Толстой: «Корневая морфема существительного *воля* в системе субстантивного словоизменения и именного словообразования имеет устойчивую палатальность конечного согласного, выступающую в морфонологически сильной позиции (перед флексиями *-а, -и, -ој, -і*). В производной глагольной основе на *-і* эта независимая палатальность, попадая в слабую позицию (перед тематическим *-і*, флексиями 2-го спряжения, в том числе и *-ат*, где морфонологически твердые невозможны), начинает вести себя как позиционно обусловленная и потому легко устраняется в соответствующих позициях, напр. *позволить, соизволить, но произвол*, ср. *ходить, приходить, но ходок, приход*. То же самое можно сказать об именных корнях в словах *тень (оттенить, но оттенок), соль (засолить, но засол)* и т.п.» [Толстая 1991: 167]. Данная гипотеза, однако, также не разрешает всех проблем: с одной стороны, у некоторых глагольных корней ауслаутная мягкость, очевидно, не является позиционно-обусловленной, ср. *солить – солка, но линять – линька, ходить – ходовой, но гулять – гулевой*, а с другой стороны, такие слова, как *помор, бескозырка, опёнок*, не являются отглагольными образованиями.

Как видно, к настоящему моменту задача адекватного и непротиворечивого описания морфонологического поведения мягких основ РЯ никоим образом не может считаться решенной; более того, попытка ее решения в полном объеме предпринимается в настоящей работе фактически впервые.

**Разграничение омонимичных суффиксов.** Трудности, связанные с разграничением омонимии и полисемии аффиксальных морфем, хорошо известны, ср. признание авторов «Словаря морфем русского языка»: «Вопрос об аффиксальных омонимах (омоморфемах) – один из самых неясных и не имеющих общепринятого решения вопросов морфемного анализа» [Кузнецова, Ефремова 1986: 6]. Заметим, что в «Словаре морфем...» существование омонимичных аффиксов признается лишь в исключительных случаях, так что, например, слова *мяг-к-ий, уш-к-о* и *чист-к-а* считаются имеющими один и тот же суффикс *-к-* [Там же: 685]. Однако при формулировании правил отвердения конечных мягких согласных основы признание омонимии аффиксов оказывается необходимым по крайней мере для производных, относящихся к двум широко распространенным в РЯ словообразовательным типам – с нулевым словообразовательным суффиксом и с суффиксом вида  $[o'k]^1$ . Соответствующие списки приводятся ниже; разумеется, короткие и неформальные семантические пояснения, используемые в этих списках, ни в коей мере не претендуют на роль толкований – они представляют собой не более, чем ярлыки, по крайней мере в ясных случаях позволяющие установить, какая именно морфема представлена в тех или иных дериватах.

**Нулевые словообразовательные суффиксы:**

$\emptyset_{Vb}$  – отглагольный, образующий существительные м. р. II склонения с процессуальным, агентивно-инструментальным и объектным значением, ср. *бег, укус, повар, ледокол, перелом*;

$\emptyset_I$  – суффикс с аналогичными свойствами, образующий существительные I склонения, ср. *езда, помеха, задира, подошва*;

$\emptyset_S$  – отсубстантивный с неясным значением, образующий существительные м. р. II склонения, ср. *люд, корабел*;

$\emptyset_{Car}$  – образующий уменьшительно-ласкательные формы I склонения от мужских и женских личных имен, ср. *Юля, Боря, Люба*;

$\emptyset_{Adj}$  – отсубстантивный, образующий прилагательные со значением «имеющий/не имеющий чего-л.», ср. *вислоухий, длиннополый, безъязыкий*;

$\emptyset_{Num}$  – образующий порядковые числительные, ср. *пятый, восьмой, девяностый*.

<sup>1</sup> Знаками  $[o']$  и  $[e']$  в морфонологической записи морфем и словоформ в настоящей работе обозначаются беглые гласные *о* и *е*.

Суффиксы вида [o'k]:

|o'k|<sub>Dim</sub> – диминутив, ср. *мерка, лесок, молочко, санки*;

|o'k|<sub>1</sub> – отыменной с не вполне ясным значением, образующий существительные ж.р., ср. *коробка, табуретка, кошелка, десятка*;

|o'k|<sub>2</sub> – отглагольный, образующий существительные ж.р. с агентивным, инструментальным, локативным, объектным и т.д. значением, ср. *гадалка, вешалка, кофеварка, причёска, сушилка*;

|o'k|<sub>3</sub> – отглагольный, образующий существительные ж.р. с процессуальным значением, ср. *ломка, прорезка, забастовка*;

|o'k|<sub>4</sub> – отыменной, образующий существительные ж.р. со значением «существо женского пола», ср. *японка, коммунистка, голубка*;

|o'k|<sub>5</sub> – образующий существительные ж.р. путем «свертки» устойчивых словосочетаний вида «прилагательное + существительное», ср. *Ленинка* (< *Ленинская библиотека*), *высотка* (< *высотное здание*), *читалка* (< *читальный зал*);

|o'k|<sub>7</sub> – с не вполне ясным значением, образующий существительные м.р. от слов разных частей речи при одновременном присоединении приставки или второго корня, ср. *пригорок, суглинок, просёлок, окурок, подросток, межеумок, первоуток*;

|o'k|<sub>Amb</sub> – образующий одушевленные существительные I склонения общего или м.р. от слов разных частей речи, ср. *недоучка, лакомка, полукровка, невидимка, дружка*;

|o'k|<sub>Pl</sub> – образующий *pluralia tantum* от слов разных частей речи, ср. *мостики, задворки, прятки, поминки*;

|o'k|<sub>Pej</sub> – отсубстантивный, образующий существительные I склонения с пейоративным или ироническим значением, ср. *компашка, балаболка, таракашка, япошка*;

|o'k|<sub>Dev</sub> – отглагольный, образующий существительные м.р. со значением кванта действия, реже – с агентивным или инструментальным значением, ср. *бросок, шлепок, прыжок, росток, боёк*;

|o'k|<sub>Them</sub> – тематический, оформляющий некоторые непроизводные прилагательные, ср. *крепкий, сладкий, яркий*;

|o'k|<sub>Adj</sub> – отглагольный, образующий качественные прилагательные, ср. *зябкий, колкий, резкий, топкий*.

**Отбор материала.** Во избежание крайнего усложнения всех необходимых формулировок рассмотрим сначала только корневые морфемы, причем без учета позиции перед соединительной гласной *-o-*, о которой см. ниже.

Объектом нашего рассмотрения являются корни, мягкость конечного согласного которых на поверхностном уровне не обусловлена никакими последующими аффиксами. К числу таких корней относятся:

– корни непроизводных существительных I и II склонения, а также *pluralia tantum* (*баня, дыня, дядя, тётя, сакля, башня, голубь, карась, ферзь, фитиль, корень, егерь, поле, горе, джунгли, сани, дебри* и т.д.);

– корни непроизводных прилагательных, в том числе оформленных суффиксами *-к(ий)* и *-ок(ий)* – *синий, карий, игрений, горький* (ср. *яркий*) и *далёкий* (ср. *высокий*);

– корни местоимений *весь, сей*;

– корни непроизводных глаголов на *-ова(ть)* (только *малевать*) и *-а(ть)* (*вилять, вонять, гулять, ковырять, линять, шнырять* и неск. др.).

У существительных III склонения и примыкающих к ним числительных от 5 до 10 твердые согласные на конце основы невозможны, т.е. их мягкость в определенном смысле является позиционно-обусловленной. Поскольку, однако, эта мягкость в одних случаях сохраняется, а в других устраняется (ср. *тень* – *теновой* и *оттенок*, *щель* – *щелевой* и *прощельга*, *карамель* – *карамелька* и *бутыль* – *бутылка*), морфонологические свойства таких слов также требуют изучения. Напротив, среди корней непроизводных глаголов с тематическими морфемами *-и(ть)* и *-е(ть)*, перед которыми твердые согласные также невозможны (ср. *любить, говорить, вертеть, звенеть* и т.п.), ни один не обнаруживает случаев сохранения мягкости перед несмягчающими суффиксами, так что эта группа корней может быть исключена из дальнейшего рассмотрения.



Обрисованное множество корней выглядит очень большим, почти необозримым, однако такое впечатление обманчиво. Во-первых, совершенно бессмысленно говорить о морфонологических свойствах таких основ, как *витязь*, *изрений* или *ковылять*, вовсе не имеющих суффиксальных производных. Во-вторых, в РЯ относительно мало несмягчающих суффиксов, и лишь менее десятка из них достаточно свободно сочетаются с мягкими основами. Именно этим объясняется тот удивительный на первый взгляд факт, что не поддаются проверке и морфонологические свойства таких основ, как *грусть*, *лось* или *октябрь*, имеющих обширные словообразовательные гнезда. Следовательно, предметом нашего рассмотрения являются не любые корни с мягким ауслатом, а только «активные», т.е. представленные хотя бы перед одним несмягчающим суффиксом, заведомо допускающим как сохранение, так и устранение мягкости конечного согласного основы.

Большинство «активных» корней четко делится на две группы: сохраняющие мягкость конечного согласного перед всеми несмягчающими суффиксами, например, *гиря*, *няня*, *король*, *линять*, *весь* (далее – корни типа I), и не сохраняющие мягкость конечного согласного ни перед одним несмягчающим суффиксом, например, *башня*, *голубь*, *шерсть*, *девять* (корни типа II).

**Корни, всегда сохраняющие мягкость.** К данному типу относятся:

– корни всех непроезженных существительных I склонения, кроме *башня*, *стерня*, *тётя*, *тетеря* и (на наш взгляд, синхронно нечленимого) *простыня*;

– корни ряда существительных м. р. II склонения с исходом на *-ль*, *-нь* и *-рь* (*король*, *мотыль*, *уголь*, *штиль*, *огонь*, *парень*, *ларь*, *пузырь*, *хорь*, *царь* и неск. др.) и на зубные шумные (только *дождь*, *зять*, *тесть* и *князь*, где *з'* из *г*), а также одного существительного ср.р. – *горе* (представляется, что корни слов *горе*, *гореть* и *горький* с синхронной точки зрения уже не имеют между собой ничего общего);

– корни всех непроезженных существительных III склонения с исходом на *-ль*, кроме *бутыль*, *ель*, *мораль*, *пыль*, *соль*, *цель*, *щель* (о слове *шинель* см. ниже), а также существительных *медь* и *сирень*;

– корень *рл. т. ясли*;

– корни прилагательных *синий*, *карий*, *далёкий* и *горький* (отверждение *р* в *горше*, *прогоркнуть* имеет чисто фонетическую природу), а также местоимения *весь*;

– корни глаголов *гулять*, *линять*, *вонять*, *ишьрять* и *малевать*;

– корень частицы *авось*.

Значительная часть корней типа I из всех несмягчающих суффиксов встречается только перед диминутивным *-к-* (*сабля* – *сабелька*, *кастрюля* – *кастрюлька*, *баня* – *банька*, *деревня* – *деревенька*, *дыня* – *дынька*, *тюря* – *тюрька*, *уголь* – *уголёк*, *парень* – *паренёк*, *ларь* – *ларёк*, *пузырь* – *пузырёк*, *князь* – *князёк*, *карамель* – *карамелька*, *медаль* – *медалька*, *параллель* – *параллельки* (название знака ||), *ясли* – *ясельки* и т.д.), однако некоторые из них обладают более широким словообразовательным потенциалом, например:

*батя* – ср. *батька*, *батюшка*, разг. *батяня*;

*гиря* – ср. *гирька*, *гиревик*;

*дядя* – ср. *дядька*, *дядюшка*;

*ноздря* – ср. *ноздрястый*, *ноздреватый*;

*няня* – ср. *нянька*, *нянюшка*;

*пуля* – ср. *пулька*, *пулевой*;

*цикля* – ср. *циклевать*;

*дождь* – ср. *дождевой*, спец. *дождевальный*;

*зять* – ср. *зятёк*, *зятюшка*;

*король* – ср. *королёк*, *королевский*, *королевич* и т.д.;

*огонь* – ср. *огонёк*, *огневой*;

*царь* – ср. *царёк*, *царевать*, *царевич* и т.д.;

*штемпель* – ср. *штемпелевать*;

*штиль* – ср. *штилевать*;

*горе* – ср. *горюшко, горесть, горевать*, устар. *горюн* (откуда далее *пригорюниться* и фамилия *Горюнов*);

*роль* – ср. *ролька, ролевой*;

*медь* – ср. *медяк*;

*сирень* – ср. *сиренька, сиреневый*;

*весь* – ср. *всегда, всюду, всякий* и т.д.;

*карий* – ср. *Карько* (кличка лошади карей масти);

*синий* – ср. *синюшный, синька*;

*вонять* – ср. *вонючий*;

*линять* – ср. *линька, линючий*;

*шнырять* – ср. *Шнырёк* (имя персонажа сказочной повести Т. Янссон «Мемуары папы Муми-тролля» в пер. Л.Ю. Брауде и Н.К. Беляковой);

*авось* – ср. *авоська*.

**Корни, никогда не сохраняющие мягкость.** К данному типу относятся:

– корни существительных I склонения *башня, тётя, тетеря* и *простыня*;

– ряд корней существительных м. р. II склонения (*голубь, лебедь, коготь, лапоть, бобыль, корень, олень, монастырь*, прост. *пупырь*, а также *ремень* и *пельмень* – см. ниже);

– ряд корней производных существительных III склонения: два корня с исходом на *-ль* – *бутыль* и *ель* – и все корни, оканчивающиеся иначе (*дробь, бровь, кровь, морковь, церковь, цепь, лошадь, грудь, рысь* «аллюр лошади», *мать, горсть, кость, известь, кровать, нить, печать, плеть, рать, голень, грань, лень, лохань, глазурь, дверь* и др.), кроме имеющих производные с суффиксом *-ов(ый)* (см. ниже), а также корней *медь* и *сирень*;

– корень рl. t. *сани*;

– корни числительных *пять, шесть, семь, восемь, девять* и *десять*;

– корень наречия *чуть*.

Самым «популярным» диагностическим контекстом для корней типа II оказывается опять-таки позиция перед диминутивным *-к-* (*башня* – *башенка, тетеря* – *тетёрка, простыня* – *простынка, лапоть* – *лапоток, морковь* – *морковка, лошадь* – *лошадка, тетрадь* – *тетрадка, прядь* – *прядка, горсть* – *горстка, кость* – *косточка, лохань* – *лоханка, дверь* – *дверка, сани* – *санки* и др.), но в ряде случаев этот контекст либо не является единственным, либо вообще отсутствует, например:

*тётя* – ср. *тётка, тётушка*;

*бобыль* – ср. *бобылка*;

*голубь* – ср. *голубок, голубка*;

*лебедь* – ср. *лебёдка, лебёдушка*;

*монастырь* – ср. *монастырка*;

*олень* – ср. *оленуха*;

*пупырь* (прост.) – ср. *пупырьшек*;

*бровь* – ср. *бровка, бровастый, безбровый* и т.д.;

*голень* – ср. *голенастый, паголенки*;

*глазурь* – ср. *глазуровать*;

*грань* – ср. *грановитый, огранка*;

*грудь* – ср. *грудка, грудастый*;

*кровь* – ср. *кровушка, кровавый, полукровка*;

*лень* – ср. *леность*;

*мать* – ср. *матушка, матка*, также *мат* «нецензурная брань»;

*печать* – ср. *печатка, печатать, отпечаток* и т.д.;

*рать* – ср. *ратовать*;

*рысь* «аллюр лошади» – ср. *рысак*;

*цепь* – ср. *цепочка, цепкий, прицеп* и т.д.;

*церковь* – ср. *церковка, церквушка*;

*шерсть* – ср. *шёрстка, подшёрсток*;

*пять* – ср. *пятый, пяток, пятак, сам-пят*;

восемь – ср. *восьмой, осьмушка*;

десять – ср. *десятый, десяток, десятка, сам-десять*;

чуть – ср. *чуток, чуточку*.

В этот же класс входит и существительное *гусь* (ср. *гусак, гусыня*), имеющее, однако, диминутив с аномальным сохранением мягкости – *гусёк*, к которому восходит также наречие *гуськом*.

Корень слова *зверь*, по-видимому, находится в процессе перехода от типа II к типу I: если в специальных терминах *зверовать* и *зверовой* мягкость устраняется, то наряду с формой *зверушка* существует получающий все большее распространение вариант *зверюшка*, а диминутив *зверок* (ср. также фамилию *Зверков* в «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя) уже полностью вытеснен более новой формой *зверёк*.

Большой интерес представляет морфонологическое поведение корня существительного *шинель*. В то время как многочисленные словари, принадлежащие, насколько можно судить, перу людей сугубо штатских, в качестве диминутива от *шинель* приводят исключительно форму *шинелька* (по типу I), в речи военных широко распространен вариант *шинелка* (по типу II), ср., например: «Той **шинелкою** потертою // Укроют – спи, солдат!» (А. Твардовский, «Василий Теркин»), «Вещмешок и **шинелку** здесь оставишь» (Б. Васильев, «А зори здесь тихие...»). Этот факт представляется чрезвычайно важным: он свидетельствует о том, что устранение мягкости конечного согласного может восприниматься как признак освоенности слова, а ее сохранение – как признак чуждости.

### Морфонологическое представление корней типа I и типа II.

Морфонологическая интерпретация корней типа I однозначна: их конечные согласные, несомненно, являются исходно мягкими, т.е. морфонологическое представление корней данной группы должно выглядеть как [гир'], [з'ат'], [ого'н'], [мед'], [сив'], [ве'с'], [лин'] и т.д. Напротив, адекватная интерпретация корней типа II сопряжена с некоторыми сложностями. Поскольку мягкость их конечных согласных не является ингерентной, но и не может быть отнесена на счет флексий (ср. *тётя*, но *мята*, *голубь*, но *ястреб*, *мост*, но *кость*, *кроватьями*, но *палатами*), уже достаточно давно было высказано вполне естественное предположение, что она вызывается особой единицей, стоящей между основой и флексиями, – морфемой [i] [Уорт 1972: 83–84] или символом «йот-мягкость» [Поливанова 1976]. В настоящей работе эта единица трактуется как «нулевой суффиксальный форматив, принадлежащий классу смягчающих» [Поливанова 1976, приложение: 16], т.е. [Ø]. Грамматический статус «нуля-смягчающего» достаточно ясен: этот элемент не относится ни к корню, ни к флексии и не обладает собственным значением, т.е. представляет собой **тематическую морфему**. В III склонении эта морфема структурно обязательна, из чего следует, между прочим, что в словах типа *медаль*, *сирень* имеет место такое же наложение позиционной мягкости на ингерентную, как в *ясли* – *ясельный*, *синий* – *синеть* и т.п. Напротив, в I и II склонении появление [Ø] представляет собой особенность синтактики небольшой группы корней. Дополнительным аргументом в пользу принятого решения служит то обстоятельство, что к типу II не принадлежат ни адъективные, ни глагольные корни.

Все прочие «активные» корни занимают как бы промежуточное положение между двумя рассмотренными классами, причем их морфонологическое поведение выглядит довольно запутанным. Тем не менее, опираясь прежде всего на различия в образовании все тех же форм диминутива, можно установить, что одни из этих корней явно тяготеют к типу II, тогда как другие – к типу I.

**Корни, близкие к типу II.** К этой группе относятся корни, сохраняющие мягкость перед адъективными суффиксами *-ов(ый)* (реже *-ов*) и/или *-оват(ый)* и не сохраняющие ее ни в каких других случаях. Таких корней 17:

*гвоздь* (ср. *гвоздарь*) – *гвоздевой*;

*государь* (ср. *государыня*) – *государев*;

*грязь* (ср. *погрязать*) – *грязевой*;

*дёготь* (ср. *деготок*) – *дегтевой*;

*жердь* (ср. *жёрдочка*) – *жердевой*;  
*кисть* (ср. *кисточка*) – *кистевой*;  
*клеть* (ср. *клетка, клетушка*) – *клетевой*;  
*корень* (ср. *коренастый*) – *корневой*;  
*ремень* (ср. *кремешок* – см. ниже) – *кремнёвый*;  
*локоть* (ср. *локоток*) – *локтевой*;  
*ноготь* (ср. *ноготок*) – *ногтевой*;  
*сельдь* (ср. *селёдка*) – *сельдевый*;  
*сеть* (ср. *сетка*) – *сетевой*;  
*смоль* (ср. *смола*) – *смолевой*;  
*соль* (ср. *солонка*) – *солевой*;  
*стерня* (ср. спец. *сторновать*) – *стерневой*;  
*щель* (ср. *щёлка, прощельга*; слово *щелястый* – исключение) – *щелевой, щелеватый*.

Все эти корни ведут себя в целом так же, как корни типа II. Естественно считать поэтому, что перед суффиксами *-ов(ый)*, *-ов* и *-оват(ый)* [∅] сохраняется. Такая гипотеза хорошо подтверждается тем фактом, что все ранее выделенные корни типа II практически не представлены перед этими тремя суффиксами: имеющиеся примеры – *дробовик, еловый* и редкое *зверовой* – единичны и вполне могут рассматриваться как исключения.

Из сказанного выше следует, что реальные морфонологические свойства субстантивных корней с ауслатной мягкостью, представленных из всех несмягчающих суффиксов только перед *-ов(ый)*, *-ов* или *-оват(ый)*, неизвестны нам точно так же, как свойства корней типа *витязь, грусть*. Число таких корней в РЯ довольно значительно; таковы *броня* (ср. *броневой*), *деверь* (ср. *деверев*), *киль* (ср. *килевой*), *ноль/нуль* (ср. *нулевой*), *тюль* (ср. *тюлевый*), *ферзь* (ср. *ферзевой* ~ *ферзевый*), *щёголь* (ср. *щеголеватый*), *боль* (ср. *болевой*), *фасоль* (ср. *фасолевый*), *эмаль* (ср. *эмалевый*) и неск. др.

**Корни, близкие к типу I.** В отличие от *-ов(ый)*, *-ов* и *-оват(ый)*, все прочие несмягчающие суффиксы не допускают сохранения [∅]. Правда, если для суффиксов [o'k]<sub>Dim</sub>, *-ушк-*, *-ость*, *-ын(я)*, *-∅Adj*, *-аст(ый)*, *-ова(ть)*, *-ак* и нек. др. имеются реальные примеры его устранения (ср. *ель* – *ёлка*, *голубь* – *голубок*, *мать* – *матушка*, *лень* – *леность*, *гусь* – *гусыня*, *бровь* – *чернобровый*, *голень* – *голенастый*, *рать* – *ратовать*, *пять* – *пятак*, *рысь* – *рысак*<sup>2</sup>), то суффиксы *-ан*, *-ат(ый)*, *-ач*, *-ок(ий)*, *-от(а)*, *-ул(я)*, *-ун*, *-ух*, *-уч(ий)* вообще не сочетаются с корнями типа II, так что применительно к ним такое утверждение является скорее условным. Так или иначе, если какой-либо корень сохраняет ауслатную мягкость перед любым из таких суффиксов, эта мягкость должна быть признана ингерентной. Имеется, однако, ряд корней, которые, в отличие от корней типа I, сохраняют мягкость не во всех случаях, причем их количество в РЯ неожиданно велико:

*море*: ср. *морюшко*, но *помор, Черномор*;  
*заря*: ср. *зорька, зоревать*, но *Светозар*;  
*воля*: ср. *волюшка*, но *произвол, самоволка, народоволка, доброволка*;  
*гость*: ср. *гостевать, гостюшка*, но *погост*;  
*поле*: ср. *полюшко, полевать*, но *широкопольный*;  
*кудри*: ср. разг. *кудерьки, кудреватый*, но *златокудрый*;  
*пень*: ср. *пенёк*, но *опёнок*;  
*тень*: ср. *тенёк*, но *оттенок*;  
*шаль*: ср. разг. *шалька*, но *полушалок*;  
*конь*: ср. *конёк, конюх*, но *конка*;  
*день*: ср. *денёк, дневать*, но *обыденка, подёнка*;  
*козырь*: ср. *козырёк*, но *бескозырка*;  
*хмель*: ср. *под хмельком*, но *опохмелка*;  
*кошель*: ср. *кошелёк*, но *кошёлка*;  
*гулять*: ср. *гулевой*, но *отгул, прогулка* и т.д.

<sup>2</sup> Исключение: *кость* – *костяк* (ср. *косточка*).

-аль (ср. *печаль* – *печаловаться*), -арь (ср. *дикарь* – *дикарка*, *корчмарь* – *корчмарка*), -знь (ср. *болезнь* – *соболезновать*), -н(я) (во всех значениях, ср. *колокольня* – *колоколенка*, *спальня* – *спаленка*, *песня* – *песенка*, *вишня* – *вишенка*, а также – с эпентетическим -с- – *басня* – *басенка*, *песня* – *песенка*), -ость (ср. *благодать* – *благодатьня*, *милость* – *милостьня*), -ень<sub>2</sub> (отглагольный, ср. *гребень* – *гребешок*, *ставень* – *ставешек*). Отметим, что и после суффиксально-оформленных основ [ʔ] перед суффиксом -ов(ый) регулярно сохраняется, ср. *пестрядь* – *пестрядевый*, *гребень* – *гребневой*, *вишня* – *вишеневый*, а также, например, *ткань* – *тканевый*, где исходная твердость [n] очевидна в силу того, что слово *ткань* образовано от причастия *тканый*.

Для суффикса -тель в РЯ нельзя указать ни одного сколько-нибудь реального диагностического контекста.

**Суффикс -ть.** На основании таких примеров, как *четверть* – *четвертак*, *четвертовать*, *весть* – *весточка*, *повесть* – *повестушка*, *память* – *памятка*, *запамятовать*, *рукоять* – *рукоятка*, можно было бы заключить, что суффикс существительных III склонения -ть относится к типу II. Однако такое утверждение представляется слишком слабым: даже в тех контекстах, где [ʔ] мог бы сохраняться, т.е. перед суффиксом -ов(ый) и в сложных словах, нет ни одного примера его сохранения, ср. *вестовой*, *смертоносный*, *смертоубийство*, *страстотерпец*, *властолюбие*, *сластолюбие*, *честолюбие*. Таким образом, для суффикса -ть характерен более радикальный, чем у морфем типа II, запрет на сохранение [ʔ] вне пределов словоизменительной парадигмы.

**Замечание об основах с исходом на -нь.** Особого рассмотрения требуют неодносложные существительные м.р. с исходом основы на -нь. У таких существительных конечное н' перед суффиксом [o'k]<sub>Dim</sub> никогда не переходит в н – оно либо сохраняется, либо чередуется с ш. К первому типу относятся непроезженные существительные *огонь*, *парень*, *стержень*, а также отыменные *клубень* и *перстень*, ко второму – непроезженные корни *олень*, *пельмень*, *ремень*, *ремень*, плохо членимое *камень* (ср. *камушек*), а также отглагольные производные (тоже не очень морфологически прозрачные) *гребень* и *ставень*. Как видно, основы типа *огонь* по своему поведению ничем не отличаются от основ типа *царь*, т.е. они оканчиваются на [n'] и принадлежат к типу I. Что касается основ типа *корень*, то их тем самым следует относить к основам, имеющим в ауслате сочетание [n + ʔ], т.е. к типу 2; собственно говоря, именно такое решение и принимается для них в рг10г1 выше. На наш взгляд, в пользу такого решения можно привести два серьезных аргумента. Во-первых, для корней таких слов, как *олень* и *корень*, принадлежность к типу II устанавливается без обращения к форме диминутива – ср. *оленуха*, *коренастый*. Во-вторых, от слова *окунь* в РЯ образуются две формы диминутива – *окунёк* и *окушок*, первая из которых является нейтральной и приводится в словарях, а вторая характерна для речи рыбаков. Таким образом, соотношение между формами *окунёк* и *окушок* оказывается в точности таким же, какое имеет место между формами *шинелька* и *шинелка*: первая форма – с неустраняемой мягкостью конечного согласного – используется при неосвоенности носителем соответствующей реалии, вторая – с чередованием – при ее освоенности.

**Итоговые правила.** Результаты, полученные в ходе проведенного выше исследования, как кажется, позволяют сделать вывод, что морфонологическое поведение корней и суффиксов с исходом на мягкий согласный отнюдь не является в РЯ хаотическим и может быть описано при помощи нескольких достаточно простых правил:

1) морфемы типа I (имеющие в ауслате исходно мягкий согласный) подвергаются чередованию С' ~ С перед нулевыми словообразовательными суффиксами, а также перед суффиксами [o'k]<sub>1</sub>, [o'k]<sub>5</sub>, [o'k]<sub>7</sub> и – частично – [o'k]<sub>3</sub> и [o'k]<sub>4</sub>, и сохраняют С' в остальных случаях;

2) морфемы типа II (выступающие в субстантивном склонении в сочетании с тематической морфемой [ʔ]) сохраняют [ʔ] перед суффиксами -ов(ый), -ов и -оват(ый) и теряют его перед всеми прочими суффиксами;

Как видно, исчезновение мягкости конечного *С'* наблюдается в строго определенных контекстах – перед всеми нулевыми и некоторыми *к*-овыми суффиксами. Точное распределение приведенных примеров по различным словообразовательным типам выглядит следующим образом:

$\emptyset_{Vb}$ : *погост* (ср. *бежать* – *побег*), *отгул* и др. на *-гул*;

$\emptyset_S$ : *помор*, *Черномор*, *Светозар*, *произвол*;

$\emptyset_{Adj}$ : *широкопольный*, *златокудрый*;

$|o'k|_1$ : *кошёлка*, *подёнка*, *бескозырка*;

$|o'k|_3$ : *опохмелка*, *прогулка*;

$|o'k|_4$ : *народоволка*, *доброволка*;

$|o'k|_5$ : *конка*, *обыдёнка*, *самоволка*;

$|o'k|_7$ : *опёнок*, *оттенок*, *полушалок*.

Со всеми перечисленными суффиксами, кроме  $|o'k|_3$  и  $|o'k|_4$ , корни типа I (за исключением единичного *сися* – *тугосисий*) не сочетаются, из чего следует, что парно-мягкие согласные перед ними вообще невозможны. Морфемы  $|o'k|_3$  и  $|o'k|_4$  являются диспалатализирующими только для основ, содержащих приставку или второй корень (ср. *опохмелка*, *прогулка*, но *синька*, *линька*; *народоволка*, *доброволка*, но *полька* «жительница Польши»). Таким образом, корни типа *море*, *заря*, *гулять* должны быть включены в тип I: мягкость их конечных согласных также является ингерентной.

Суффикс  $|o'k|_{Dim}$ , как уже отмечалось, не является диспалатализирующим; на прочие нулевые и *к*-овые суффиксы нет примеров.

В открытии столь неожиданного для русского языка с его исключительно ярко выраженной склонностью к палатализации явления, как морфонологически обусловленное **отверждение** конечных согласных, велика роль В.В. Лопатина, отметившего, что в РЯ «имеются морфонологические позиции нейтрализации различий морфоном по твердости – мягкости, где выступают именно твердые разновидности морфоном» [Лопатин 1977: 293], и указавшего, что таковыми являются, в частности, позиции перед суффиксами  $\emptyset_{Vb}$  и *-к(а)*. К сожалению, наблюдение В.В. Лопатина имеет скорее иллюстративный характер; никаких четких правил в его работе не содержится.

Существование морфем, требующих обязательной диспалатализации конечного *С'*, означает, что, помимо рассмотренных выше корней типа *вишня*, *грусть* и типа *броня*, *деверь*, ни одного диагностического контекста не имеют также корни *груздь* (ср. *подгруздок*), *ковырять* (ср. *подковырка*), *брань* (ср. *перебранка*), *мораль* (ср. *аморалка*), *ось* (ср. *безостый*), *ось* (ср. *осевой* и *двухоска*), *пыль* (ср. *пылевой* и *распыл*), *цель* (ср. *целевой* и *прицел*), *путь* (ср. *путёвый*, *путевой*, *путёвка* и *первопуток*, *попутка*). Поскольку трактовка мягкости конечной согласной как исходной является в общем случае и более простой, и более естественной (не требует введения дополнительного чередования), все такие корни, имеющие в исходе зубные или сонорные (например, *пядь*, *ферзь*, *бязь*, *карась*, *ось*, *корысть*, *путь*, *тля*, *апрель*, *брань*, *сени*, *вебрь*), мы будем считать принадлежащими к типу I; напротив, корни с исходом на губные (например, *скорбь*, *червь*, *хоругвь*, *выпь*, *степь*, *верфь*) мы относим к типу II: ни один достоверный пример ингерентной мягкости ауслатных губных нам неизвестен.

**Суффиксы с конечным мягким согласным.** Морфонологическое поведение суффиксов с мягким ауслатом практически не отличается от поведения корневых морфем. Всегда сохраняют конечную мягкость (т.е. принадлежат к типу I) суффиксы *-ень<sub>1</sub>* (отыменной, ср. *клубень* – *клубенёк*, *перстень* – *перстенёк*), *-ул(я)* (ср. *бабуля* – *бабулька*, *рогуля* – *рогулька*), *-ан(я)* (ср. *маманя* – *маманька*), *-ын(я)* (ср. *барыня* – *барынька*, *милостыня* – *милостынька*, также *пустыня* – *пустынька*, ср. «...И в глазах – **пустынька**» (А.Н. Толстой, «Похождения Невзорова, или Ибикус»)), *-(о)н(я)* (ср. *кухня* – *кухонька*, *яблоня* – *яблонька*), несколько малопродуктивных морфем вида  $|el'|$  (ср. *колыбель* – *колыбелька*, *качели* – *качельки*) и  $|e'l'|$  (ср. *земля* – *земелька*, *земляк*, *капля* – *капелька*, *грабли* – *грабельки*). К типу II принадлежат суффиксы *-адь* (ср. *площадь* – *площадка*),

3) особым образом ведет себя суффикс *-ть*, никогда не сохраняющий [ʔ] за пределами словоизменительной парадигмы.

**Позиция перед соединительной гласной.** Позиция перед соединительной гласной *-о-* по своему влиянию на мягкость конечной согласной существенно отличается от всех прочих. В этой позиции мягкость может как сохраняться, так и устраняться, причем один и тот же корень может вести себя по-разному в разных производных (ср. *кровоточить*, но *кровеносный*), а разные корни – в совершенно идентичных (ср. *звероводство*, но *коневодство*). Однако самое поразительное состоит в том, что наличие / отсутствие отверждения перед *-о-* никак не зависит от морфонологического типа корня, ср. *конь* ([кон'] – *конокрад*, но *море* ([мор']) – *мореход*, *кость* ([кост + 'ʔ]) – *костолом*, но *кисть* ([кист + 'ʔ]) – *кистепёрый* и т.д. Ниже приводится почти полный (лишь при корнях *шерст-* и *кров-*, где число производных очень велико, некоторые из них опущены) список композитов, образованных от всех основ, допускающих модель с устранением мягкости, кроме содержащих суффикс *-ть* (см. выше):

ОСНОВА <sup>3</sup>	МОДЕЛЬ С УСТРАНЕНИЕМ МЯГКОСТИ	МОДЕЛЬ С СОХРАНЕНИЕМ МЯГКОСТИ
[гвозд + 'ʔ]	гвоздодёр	
[голен + 'ʔ]	голеностоп	
[звер + 'ʔ // звер']	зверобой, звероферма, зверовод, зверолов, зверосовхоз, звероящер	
[кабел']	каблограмма	
[кон']	коновал, конокрад, коновод, коногон, коновязь	конезавод, конеферма, коневодство, конесовхоз
[корыст']	корыстолюбие	
[кост + 'ʔ]	костоеда, костолом, костоправ, косторез	
[кров + 'ʔ]	кровоостанавливающий, кровопийца, кровосос, кровообращение, кровоизлияние, кровопускание, кровопролитие, кровосмешение, кровотечение, кровоточить, кровоподтёк, кровожадный...	кроветворный, кровеносный
[ногот + 'ʔ]	ногтоед	
[параллел']	параллелограмм	параллелепипед
[плот']	плотоядный	
[рат + 'ʔ]	ратоборец	
[черв + 'ʔ]	червовидный, червоточина	червеобразный
[шерст + 'ʔ]	шерстобит, шерстобой, шерстотрепальный, шерстопрядение, шерстоткацкий, шерстомойка...	шерстезаготовительный, шерстеобрабатывающий
[шест + 'ʔ]	шестопёр	
[кам + е'н']	каменоломня, каменотёс	камнепад, камнерез, камнедробильный, камнедробилка
[ба + е'н + 'ʔ]	баснословный, баснописец	
[пе + е'н + 'ʔ]	песнопение	
[дал' + е'н']	дальнобойный, дальновидный, дальноточный, дальномер	дальневосточный

<sup>3</sup> Основы приводятся в форме исходного морфонологического представления с некоторыми несущественными для рассматриваемой темы упрощениями, касающимися, в частности, качества корневых гласных.

Случаи отвердения конечной согласной перед -о- представлены примерно у 20 основ. Данная модель очень архаична – не случайно многие из композитов такого типа имеют возвышенно-книжную окраску – и практически непродуктивна; правда, в новых сложных словах, образованных с участием этих основ, отвердение еще возможно, ср. *Шерстопалы* и *Шерстолапы*, *Червослов* (имена персонажей в переводах сказочной эпопеи Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец»), *кровописец* («Спорт-экспресс» от 18 марта 1998 г.: о болельщике, написавшем заявку на получение билета собственной кровью), а также придуманную А. и Б. Стругацкими фамилию *Камноедов*, выглядящую, впрочем, довольно странно. Все прочие основы в данной позиции неизменно сохраняют мягкость, ср. *бронбойный*, *путеводный*, *грязелечение*, *корнеплод* и т.д.

Примеры типа *шерстотрепальный* – *шерстезаготовительный*, *каменоломня* – *камнедробилка*, *косторез* – *камнерез*, *червовидный* – *нитевидный*, *параллелограмм* – *параллелепипед* свидетельствуют о том, что отвердение конечной согласной основы перед -о- не регулируется никакими правилами и является чисто словарной информацией. Отметим, однако, что такое отвердение невозможно у исконнославянских основ с исходом на л', ср. *щель* (|щел + 'О|) – *щелевидный*, *соль* (|сол + 'О|) – *солевар*, *уголь* (|уго'л'|) – *угледобыча*, *углежог*, *поле* (|пол'|) – *полевод*, *пуля* (|пул'|) – *пулемёт*, *пуленепробиваемый* и т.д., а также у основ с суффиксом -н(ий), ср. *древнерусский*, *задняязычный*, *Нижневарттовск*, *раннефеодальный*, *верхненемецкий*, *внешнеторговый* и т.д. Приведенные в таблице производные от *дальний* составляют в этом смысле исключение, обусловленное длительной конкуренцией в РЯ форм *дальний* и *дальный*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Земская 1973 – Е.А. Земская. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.  
 Кузнецова, Ефремова 1986 – А.И. Кузнецова, Т.Ф. Ефремова. Словарь морфем русского языка. М., 1986.  
 Лопатин 1977 – В.В. Лопатин. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.  
 Поливанова 1976 – А.К. Поливанова. Морфонология русского субстантивного словообразования. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1976.  
 Толстая 1991 – С.М. Толстая. О понятии «морфонологическая позиция» // *Studia slavica: Языкознание. Литературоведение. История. История науки* (К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна). М., 1991.  
 Трубецкой 1987 – Н.С. Трубецкой. Морфонологическая система русского языка // Н.С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987.  
 Уорт 1972 – Д.С. Уорт. Морфонология нулевой аффиксации в русском словообразовании // ВЯ. 1972. № 6.  
 Чурганова 1973 – В.Г. Чурганова. Очерк русской морфонологии. М., 1973.



© 2007 г. А. О'КОРРАНЬ

## ПЕРФЕКТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОСТРОВНЫХ КЕЛЬТСКИХ ЯЗЫКАХ

В данной статье рассматриваются разнообразные процессы, связанные с формальным и функциональным развитием перфектных форм в островных кельтских языках и, в первую очередь, в ирландском. В исследовании продемонстрировано несколько отчетливо проявляющихся тенденций. В целом, направление функционального развития можно представить так: состояние > предшествование > действие. При этом такое развитие характеризуется цикличностью: новые формы сначала вытесняют старые формы в их основной функции, после чего значение последних сужается до обозначения дополнительных функций.

**1. Введение.** Категории перфекта было уделено значительное внимание в лингвистическом анализе многих языков. Было показано, например, что перфект играет важнейшую роль в формировании других глагольных категорий, в частности – пассивных форм. Перфект также имеет тенденцию расширять сферу значения и вторгаться в функциональную область чисто повествовательных времен. В центре внимания настоящей статьи будут определенные формальные и функциональные аспекты категории перфекта в островных кельтских языках в общем и в ирландском языке – в частности. Будут рассмотрены также различные формы, использовавшиеся для выражения перфекта на отдельных этапах развития этих языков. Будет рассмотрено и функциональное развитие этих форм и выделены определенные сходные черты и тенденции, которые могут служить примерами более общих диахронических принципов.

**2. Индоевропейский перфект и претерит актива в островных кельтских языках.** Так как одной из функций перфекта является соотнесение действия в прошлом с состоянием в настоящем, не случайно то, что отглагольные прилагательные (являющиеся по природе стативными) оказались особенно продуктивными в истории развития перфектных форм в большом ряде языков. Стоит лишь вспомнить следующие примеры:

(1) лат. *habē cantātum*, франц. *j'ai chanté*, нем. *Ich habe gesungen*, англ. *I have sung*.

Действительно, по всей вероятности и индоевропейский перфект развился из отглагольного прилагательного на *-e* в сочетании с элементами, выступавшими в качестве грамматического субъекта, например:

(2) и-е. отглагольное прилагательное *\*louké* 'светлый' > *\*lóuke* перфект от 'светить'; *\*gh<sup>h</sup>ené* 'убитый', > *\*gh<sup>h</sup>éne* '(он) убит', *\*gh<sup>h</sup>énta* 'ты убит' и т. д. (перфект от 'убить') (1. sg. *-a*, 2. sg. *-tha*, 3. sg. *-∅*) (ср. [Brugmann, Delbrück 1916: II 3: 594; Kuryłowicz 1964: 62 и сл.]).

Это должно было бы указывать на то, что эквивалентное именной группе образование с нефинитной формой в качестве основы было грамматикализовано как часть системы индоевропейского спряжения, что должно было повлечь за собой функциональный сдвиг, при котором отглагольное прилагательное было переосмыслено как причастие (т.е. как глагольная форма). Более того, как было показано рядом исследователей на материале большого количества языков, перфектные формы проявляют четкую тен-

денцию к расширению своей функциональной сферы. Правдоподобным кажется предположение, что индоевропейский перфект первоначально обозначал состояние (характеризующее субъект) в настоящем как результат действия в прошлом:

(3) и-е. \**woida*, 'знаю = я видел'; лат. (*g*)*nōi*, 'я узнал и теперь знаю' [Szemerényi 1980: 317]; ср. [Schmidt 1990].

Так, по существу, обстоят дела в раннем древнегреческом. Однако в послегомеровском языке происходит развитие результативного перфекта, который «использует перфект прошедшего действия, результат которого в или на объекте все еще длится в настоящем», например, греч. δέδωκε 'он дал' [Schmidt 1990]. Другими словами, эта изначально стативная форма стала выражать предшествование. Новый этап этого развития в греческом можно проследить в текстах начиная с III в. до н. э., когда перфект берет на себя функцию претерита, т.е. развивается в повествовательную форму [Wackernagel 1926: 166 и сл.; Szemerényi 1980: 317; Schmidt 1974: 30]. Аналогичное расширение функциональной сферы перфекта можно продемонстрировать на материале других языков. В латинском языке перфект выражает как предшествование, так и простое прошедшее время.

(4) лат. *cantāvi* 'я спел', ср. англ. *I have sung* и *I sang*;  
лат. *amātus sum* 'меня любили', ср. англ. *I have been loved* и *I was loved*.

В разговорном французском языке и во многих немецких диалектах первоначальное противопоставление перфекта претериту исчезло, причем перфект полностью вытеснил претерит:

(5) франц. *je chantai* : *j'ai chanté* > *j'ai chanté* > 'я пел / (уже) спел'.  
нем. *ich sang* : *ich habe gesungen* > *ich habe gesungen* 'я пел / (уже) спел'.

Схожий процесс, а именно вторжение перфекта в семантическую область претерита, по всей вероятности, произошел в протокельтском, так как древнеирландский претерит является результатом объединения форм аориста, т.е. простого прошедшего времени (в *-s-* и *-t-* претеритах), и индоевропейского перфекта (в бессуфиксальном претерите) [Zimmer 1888; Schmidt 1964; 1990]. Следует, поэтому, предположить, что первоначально у каждого глагола была форма претерита и перфекта.

Эти преобразования должны указывать на общезыковую тенденцию – склонность перфекта к расширению своей функциональной сферы за счет функций форм простого прошедшего времени. Этот вывод можно развить, так как уже было показано, что перфекты чаще всего возникают из адъективных форм и первоначально обозначают состояние в настоящий момент, и, как мы увидим, они часто расширяют свою семантическую сферу в сторону выражения действия в общем, скорее, чем просто в прошедшее время. Таким образом, мы сможем выявить четкую линию функционального развития: расширение от обозначения *состояния* к обозначению *предшествования* и затем – простого *действия*. Как мы увидим, эта общая тенденция имела чрезвычайно важное значение для исторического развития глагольных систем островных кельтских языков.

**2.1. Индоевропейское отглагольное прилагательное и пассивный претерит в островных кельтских языках.** Мы уже показали, как древнее отглагольное прилагательное на *-e* (с дополнительными элементами) грамматикализовалось в качестве перфекта в индоевропейской глагольной системе и впоследствии расширило свою сферу в кельтских языках, перенимая функции претерита актива. Похожую схему можно проследить и в пассивной парадигме. Древнеирландский претерит пассива, представляющий собой, по сравнению с другими пассивами, категорию загадочную и сложную, происходит от отглагольного прилагательного с суффиксом *-to-*, *-tā-* (например, и-е. \**gn̥-tó-s* 'рожденный', лат. (*g*)*nā-*

*tus*, галл. *Cintu-gnātus* 'перворожденный'). Турнайзен сравнивает лат. *captus*, -a, -um est [Thurneysen 1946: 437]. На происхождение этой формы из адъективной указывает существование формы множественного числа (в 3 л. мн. ч.), окончание которой соответствует окончанию женского и среднего родов множественного числа прилагательного [Thurneysen 1946: 440]. Пассивная парадигма выстроена на базе формы единственного числа в сочетании с инфигированными местоимениями (в 3 л. местоимение нулевое). Наиболее вероятный сценарий развития описан в [McCone et al. 1994: 172]:

(6) «др.-ирл. *-breth fer* 'родился мужчина' < островное кельт. *\*britos wiros* 'мужчина рождён, мужчина был рождён' < общекельт. *\*(esti) britos wiros* < и-е. *\*wihrós b<sup>h</sup>rtós h<sub>1</sub>esti*»<sup>1</sup>.

Сходные черты в развитии индоевропейского перфекта и древнеирландского претерита пассива очевидны: в обоих случаях отглагольное прилагательное в сочетании с аффиксами было переосмыслено и грамматикализовалось в глагольной системе как изменяемая форма.

В языке наиболее ранних источников пассивный претерит (на что и указывает его название) уже использовался как повествовательная форма. Однако, учитывая данные других языков, следует предположить наличие периода в его развитии, когда он выражал значение (результативного) перфекта, который позже расширил сферу употребления, другими словами – период, в котором вновь можно было бы постулировать развитие от обозначения *состояния* (ср. англ. *he is born* 'он рожден') к выражению *предшествования* (ср. англ. *he has been born* 'он (уже) родился') перед тем как стать *повествовательной* формой (ср. англ. *he was born* 'он родился'). В таком случае мы бы имели пример эволюции, очень похожий на изменения в латинском языке: *laudātus est* 'он восхвален' > 'он (уже) восхвален' > 'его восхваляли', движение, которое повторяется в функциональной карьере новой активной формы: лат. *capram comparātam habeo* 'у меня есть купленный козел' (состояние) 'я (уже) купил козла' (предшествование) > франц. 'я купил козла' (нарратив) [Lockwood 1969: 59].

Таким образом можно прийти к выводу, что индоевропейская форма, сложившаяся на базе древнего отглагольного прилагательного, сохранилась в островных кельтских языках (здесь представленных ирландским) как важный составной элемент парадигмы активного претерита. Другая же форма на базе более позднего отглагольного прилагательного стала основой для претерита пассива. Отметим свойственную перфектам тенденцию развиваться из стативов, грамматикализовываться как маркеры предшествования и затем подвергаться семантическому сдвигу к выражению действия<sup>2</sup>.

**3. Обновление перфекта: форма на *ro-*.** Тенденция перфекта к расширению своей сферы в сторону повествовательных функций приводит к его частому обновлению, что можно увидеть в развитии перфекта на *-vi-* в латинском и перфекта на *-k-* в греческом. Тот же процесс обновления четко прослеживается и в кельтских языках в развитии нового маркера перфекта, который в ирландском отразился как морфема *ro-* (вместе с алломорфами *ad*, *com* и т.д.)<sup>3</sup>. Эта инновация должна была произойти до разделения инсу-

<sup>1</sup> В бриттских языках ср., например, средневаллийск. *llas* 'он был убит' < *\*sladtó* [Lewis, Pedersen 1961: 311; Schmidt 1974: 33].

<sup>2</sup> Пассивный презенс сильных глаголов, похоже, также восходит к нефинитной форме, в этом случае – отглагольному существительному: др.-ирл. *-berar* < и.-е. *\*bher-or*, см. [Schmidt 1974: 32].

<sup>3</sup> *Ro* по происхождению является предлогом, однако уже в древнеирландском имеет практически исключительно перфективирующую функцию. В качестве преверба также выступает в некоторых глаголах, напр. *ro-fítir* 'знает', *ro-cluinethar* 'слышит', *ro-laimethar* 'осмеливается'. В сочетании с прилагательными *ro* выражает значение 'слишком', напр. *ro-már* 'слишком большой'. Те же значения характерны и для соответствующих предлогов в других кельтских языках. Соответствует греч. *pro*, лат. *prō-*, гот. *fra*, санскр. *pra* и т.д.; ср. также лат. *ad* 'к, по направлению к' соответствует лат. *ad*, гот. *at*, *com* 'с, совместно с' – лат. *cum* (*con-*). Подробнее см. [Thurneysen 1946: 496-497, 502-504, 528-530]. (Примеч. пер.)

лярного кельтского, так как функции, схожие с функциями ирландского *ro-*, выражаются валлийским *ry* (7), корнским *re* (8) и древнебретонским *ro > ra* (9), каждый из которых, как можно убедиться, применялся для эксплицитного выражения значения перфекта:

(7) *coet ry welsom ar y weilgi* [Branwen Uerch Lyr l. 263] ‘лес видели мы на море’;

(8) *ty ren lathas* [GAB 1863] ‘ты убил его’;

(9) *ro-gulupias* gl. ‘olouauit’ [Lewis, Pedersen 1961: 258].

Данные ирландского языка заставляют предполагать, что этот новый способ маркирования перфекта был вызван слиянием индоевропейских перфекта и аориста в инсулярном кельтском, так как в формах, в которых перфект и аорист не совпали, как, например, в *do-bert* ‘он принес’ : *do-uic* ‘он (уже) принес’, перфективирующего префикса нет.

Стоит отметить на этом этапе, что формальное средство, используемое для образования новой категории, соответствует строю этих языков в тот период. На примере древнеирландского языка можно ясно увидеть, насколько важное место в островных кельтских языках, отличавшихся сложной глагольной структурой, занимала семантическая аффиксация как средство образования новых глаголов. И морфемы, которые по происхождению были предельными превербам и использовались для образования лексических единиц, обозначающих законченность, стали использоваться в глагольной системе как маркеры предшествования. Древнее предельное значение или значение завершенности *ro-* можно продемонстрировать, сравнив, например, др.-ирл. *saigid* ‘он ищет, отправляется к’ и *ro-saig, -roig, -roich* ‘он достигает’ [Thurneysen 1946: 528]<sup>4</sup>. Другими словами, как и с более ранними изменениями, описанными выше, что первоначально было словообразовательным элементом, грамматикализовалось как словоизменятельный маркер глагольной системы в общем. Как показал Шмидт [Schmidt 1990], это вызвало функциональный сдвиг в кельтских языках от обозначения перфективности к выражению предшествования (ср. также [Kuryłowicz 1964: 128]). Основополагающая дихотомия в древнеирландском между *ro-*претеритом (как его принято называть) и простым претеритом – это противопоставление «предшествование : не-предшествование», в котором первое изначально было маркированным членом: *as-rubart* ‘(уже) сказал’ (предшествование) против *as-bert* ‘сказал’ (не-предшествование).

Те же процессы можно наблюдать и в бриттских языках. В примере (10) валлийский претерит *kigleu* ‘я слышал’, подобно большинству ирландских бессуфиксальных претеритов, восходит к индоевропейскому перфекту, \**k'uk'lowa* (ср. [Lewis, Pedersen 1961: 300]). Таким образом, в доисторический период он претерпел семантический сдвиг от ‘он (уже) услышал’ к ‘он услышал’ (предшествование > нарратив/действие). В наиболее ранних источниках для выражения понятия предшествования используется перфектная частица *ry*, присоединяющаяся в препозиции к форме претерита, и она часто используется в этой функции в ранний средневаллийский период (ок. 1100–1250):

(10) *Dy glot ry gigleu ympob gwlat* [Evans 1964: 167] ‘о твоей славе слышал я в каждой стране’.

Однако уже в инсулярном кельтском *ro-* присваивало себе все новые функции. В древнеирландском, наряду с выражением предшествования, оно могло указывать на возможность, и, кроме того, использовалось с конъюнктивом для обозначения желания (описа-

<sup>4</sup> Обратите внимание также, что в глаголах, по определению имеющих перфективный компонент (например, в композитах от *-ic(c)* таких как *t-ic* ‘приходит’, *r-ic* ‘достигает’, *ar-ic* ‘находит’, *con-ic* ‘может’), не делается различий между формами претерита и перфекта [Thurneysen 1946: 346; 1904: 52–92].

ние развития этих дополнительных функций см. [Thurneysen 1946: 537]). Те же функции имеются и в бриттских языках: кроме перфектного употребления валлийское *ry* выражает возможность в сочетании с презенсом индикатива и желательность с презенсом конъюнктива; а выражение оптатива – характерная функция бретонского *ra* и корнского *re*.

**3.1. Развитие и ослабление формы на *ro-*.** Уже в инсулярном кельтском, таким образом, элемент *ro-* приобрел новые значения, и в исторический период этот «новый» перфект (так называемый *ro-*претерит) продолжил расширять семантическую сферу – такое изменение можно проследить во всех островных кельтских языках. К позднему древнеирландскому периоду эта форма расширила функциональную сферу за счет простого прошедшего времени. В результате она вытеснила простой претерит, прежние перфекты типа *as-rubart* теперь выражали простое прошедшее время ‘он сказал’, а *ro* (позже *do*) было суждено стать просто утвердительной частицей, маркирующей прошедшее время. Валлийское *ry* также начало расширять семантическую область в сторону простого прошедшего. Это видно на раннем этапе развития формы *yr*, которая распространилась за счет более ранней глагольной частицы *y(d)*, вытеснив, в конечном итоге, последнюю; и в следующих примерах мы снова видим, как маркер перфекта используется для выражения простого прошедшего времени:

(11) *o pa le yr oed yn dyuot* [Evans 1964: 169] ‘откуда он приходил’;

(12) *Odyna yr adeilyawd eglwys Gwent* [Evans 1964: 169] ‘затем он построил церковь в Гвенте’.

Независимое *ry* постепенно теряет значение маркера перфекта, так что к концу средневаллийского периода, как пишет Эванс, «во многих случаях он не имеет другой функции, как только утвердительной частицы» [Evans 1964: 166].

Тот же процесс можно видеть и в других бриттских языках. Уже в среднебретонский период *ra* потерял функцию выражения предшествования, а корнское *re*, хотя и выступало в качестве основного маркера перфекта дольше, чем в других кельтских языках, постепенно также было вытеснено. После того как бретонское *ra* (13) и корнское *re* (14) были заменены в их основной функции маркирования перфекта, их значение сузилось до выражения дополнительной функции – оптатива [Nemon 1975: 279; Lewis, Pedersen 1961: 258]:

(13) *Benniguet ra vezo an Aotrou Doue* [Nemon 1975: 279] ‘да благословен будет Господь Бог’;

(14) *gorthys rebi dew an tase* [GAB 1863] ‘да будут поклоняться Господу Отцу’.

Общая схема удивительно последовательна. В отсутствие эксплицитного средства выражения предшествования словообразовательный элемент *ro* (обозначающий завершенность) грамматикализуется как часть словоизменительной системы в инсулярном кельтском, для того чтобы восстановить утраченный перфект. В доисторический период он присваивает себе новые функции (возможностное значение и оптатив). В исторический период он продолжает расширять семантическую сферу в сторону выражения нарративного времени в такой степени, что теряет функцию маркера перфекта. В конце концов он оказывается вытеснен в своей основной функции другими средствами маркирования перфекта (которые мы рассмотрим ниже), а *ro* либо становится пустой частицей (как в ирландском и валлийском), либо редуцируется до одной из своих дополнительных функций, таких как введение оптатива (как в бретонском и корнском). Наиболее важное функциональное развитие формы на *ro-* можно, таким образом, охарактеризовать как движение «перфективность > предшествование > действие (> дополнительные значения)».

В результате ослабления *ro*- слова возникла потребность в обновлении средств маркирования предшествования, и, как мы увидим, в островных кельтских языках было выработано два основных способа: один – на базе глагольного имени и другой – на базе отглагольного прилагательного. В соответствии с более поздней структурой этих языков новый метод маркирования перфекта – аналитический, и в каждом случае в качестве вспомогательного глагола используется глагол существования. Будет уместно сначала рассмотреть глагольно-номинативную форму.

**4. Обновление перфекта: глагольно-номинативная форма (ГН).** Эта форма, состоящая из глагола «быть» плюс глагольного имени, которому предшествует предлог со значением «после», развивается как средство маркирования перфекта в валлийском, ирландском, шотландском и мэнском. Предполагается, что эта форма возникла в бриттском и оттуда распространилась на восточные гойдельские диалекты (шотландский и мэнский), а потом была заимствована ирландским в качестве литературной формы, которая не проникла в разговорный ирландский язык [Greene 1979–1980]. Однако это объяснение подразумевает довольно много допущений. Эта форма не засвидетельствована в текстах до XII в. (т.е. намного позже того, когда гойдельский и бриттский перестали соседствовать в северной Британии), и впервые появляется в позднем среднеирландском. Более того, не может быть никаких сомнений, что эта форма была вполне распространенной, так как, когда английский язык стал проникать в Ирландию в XVI в., эта форма была калькирована и заимствована в ирландский английский. Ко времени появления собственно шотландских и мэнских текстов в XVI и XVII в., она уже стала обычным средством выражения перфекта в этих языках. Однако кратко рассмотрим, как эта форма расширила сферу употребления в валлийском, а затем вернемся к гойдельским языкам.

**4.1. Валлийский язык.** По мере того как употребление *ru* в качестве маркера перфекта постепенно снижалось в течение XIV в. [Evans 1964: 167], эксплицитное выражение предшествования в позднем средневаллийском осуществлялось посредством формы *bod* ‘быть’ + *guedy* ‘после’ + глагольное имя:

(15) *y mae gvedy mynet gyd a Gwenhwyuar y hystauell* [Evans 1964: 111] ‘она ушла с Гвенхувар в ее комнату’ (буквально ‘она после ухода с Г. в ее комнату’).

Появляется также пассивный вариант с притяжательным местоимением перед глагольным именем (*bod* + *guedy* + притяжательное местоимение + глагольное имя). Этот вариант становится особенно продуктивным в современном языке как средство выражения пассивного перфекта пассива (16). Действительно, в пассиве процесс восстановления особенно очевиден, и появляется также вариант с глаголом *cael* ‘получать’ плюс глагольное имя, и, несмотря на то, что он редок в средневаллийском, в современном языке он используется регулярно (17):

(16) *y mae'r fwyall wedi ei gosod ar wreiddyn y preniau* [TN 1848: Matthew 3: 10] ‘секира при корне дерев лежит’ (буквально ‘секира есть после своего кладения при корне дерев’);

(17) *y mae e wedi (cael) ei ladd* ‘он (уже) убит’ (буквально ‘он есть после (получения) своего убиения’).

В конце концов этот новый аналитический способ маркирования предшествования расширил свою сферу в сторону активного претерита настолько, что в современном разговорном языке, как, например, во французском и немецком, он стал нормальным средством выражения прошедшего времени.

(18) *rhedais* 'я бежал': *yr wyf wedi rhedeg* 'я (уже) бегал' > *yr wyf wedi rhedeg* 'я бежал' / 'я бегал'.

**4.2. Ирландский язык.** Потребность в создании нового способа эксплицитного выражения предшествования в среднеирландском была больше, чем в средневаллийском, так как *ro*-перфект уже ослабился до выражения простого действия к IX в., и в результате этого в ранний среднеирландский период ирландская глагольная система вернулась к ситуации, когда одна и та же форма выражала прошедшее действие, перфект, а также плюсквамперфект. Как и в валлийском языке в ирландском новая форма может иметь как активный, так и пассивный вид. Основное различие между ними заключается в том, что в пассиве перед глагольным именем стоит притяжательное местоимение (глагол существования + предлог (+ притяж. мест.) + глагольное имя). Ранние примеры сочетания «*iar* + глагольное имя» иллюстрируют его изначальное стативное значение:

(19) *is for sliss tuaiscertach slebe [Sióin] ata-side iar suidiugud* [PH 1887: 4447.8] 'на северной стороне горы Сион он располагается'.

Постепенно, в ранненовоирландском он развивается в результативный перфект, выражающий предшествование как в активном [(20), (21)], так и в пассивном вариантах [(22), (23)]:

(20) *Et robai claideb in rig lan d'fhuil ina laim, mar bad ar marbad a hathar robeth 7 arna adluc-sin* [TT 1922] 'и окровавленный меч короля был у нее в руке, как будто она только что убила и похоронила своего отца';

(21) *A-taoi ar gcur do chongháire* [IT 1931–1934 II: 11 § 3] 'ты возвысил свой голос' (буквально 'ты после ставления своего крика');

(22) *In c[h]uid nár marbad díb do bátar ar n-a gcréchnugad* [CML 2 385/6] 'те из них, кто не был убит, были (уже) ранены' [англ. 'those of them who had not been killed had been wounded' (перевод мой. – А.О'К.)] (буквально '...они были после своего ранения');

(23) *a-tá ar n-a goin* [DD 1938: 26 § 24] 'который (уже) был ранен'.

И в более поздний классический период он становится особенно регулярным средством выражения пассива:

(24) *suim seanchusa Éireann go cumair: atá ar n-a thiomsughadh agus ar n-a thionól a prímh-leabhraibh seanchusa Éireann* [Keating 1901–1914: 93] 'краткий компендиум истории Ирландии, который (был) собран и сведен вместе из главных книг по истории Ирландии'.

Эта форма начинает расширять свою сферу на выражение значений простых времен, подробнее см. [Ó Sogáin 2006; (в печати)]. Семантическое расширение от маркирования предшествования к выражению действия происходит в особенности в пассивном залоге и особенно отчетливо видно в будущем времени (25), (26) и в других ирреальных контекстах, таких как конъюнктив (27).

(25) *bheth ullamh do chum résúin do thabhairt ar son a gcredmhe gach uair bhias sé ar na iaruidh orro* [AGC 1994: 43:16], что переводит 'to be readye to geue a reason of their faith when they shalbe there unto required' (буквально 'когда оно будет после своего спрашивания на них', но очевидно, выражает простое будущее, а не будущий перфект)

(26) *do chum go mbeam ar nar bhfollamhnadh go diágha cumhsgnaighthe fúithaigh* [AGC 1994: 35:15], что переводит 'that vnder her we maie be godly and quietly gouerned'.

(27) *Ní héidir lé duine éinnidh do ghlacadh, muna raibh sé arna thabhairt dó ó neamh* [TN: n/d: John 3:27; O'Domhnaill 1603] 'человек может получить только то, что ему может быть дано небесами'.

Как отмечалось выше, эта форма была заимствована в ирландский английский, и удивительно, что в ирландском английском XVII в., как и в ирландском, она часто скорее обозначает простое действие, чем предшествование. Более того, преобладают случаи ее употребления в контекстах будущего времени и ирреалиса как в активном, так и в пассивном варианте. Следующие примеры с пассивным вариантом могут послужить иллюстрацией сходства в функциональном расширении с ирландскими примерами, приведенными выше:

- (28) *when I do go home, I vill be after being absolv'd for it* [Bliss 1979: 174], что означает 'I will be absolved' (т. е. это скорее простое будущее время, чем перфект будущего времени).  
(29) *and de Caatholicks do shay, dat you vill be after being damn'd* [Bliss 1979: 122] 'you will be damned' (снова простое будущее время).

Еще раз отметим семантическое движение от обозначения состояния к маркированию предшествования и далее к выражению действия (нарратива). Отметим также, что расширение от обозначения предшествования к выражению действия происходит в пассивном залоге.

**4.3. Шотландский и мэнский языки.** В шотландском языке глагольно-номинативная форма также стала обозначать предшествование как в активном (30), так и в пассивном (31) вариантах:

- (30) *a ta sinn air teacht a thabhairt aoraidh dha* [TN: n/d: Matthew 2:2] 'мы пришли поклониться ему' (буквально 'мы после прихождения...').  
(31) *Agus a nis a ta an tuadh air a cur ri freumh nan crann* [TN: n/d: Matthew 3:10] 'так как уже и секира при корне дерев лежит' (буквально 'и теперь секира есть после своего кладения...').

Форма с глагольным именем была также характерна для мэнского языка в XVII и XVIII в.:

- (32) *as ta shin er jeet dy chur ooashley da* [YVC 1819: Matthew 2:2] 'мы пришли поклониться ему' (буквально 'мы после прихождения...').  
(33) *As nish hene ta'n teigh er ny choyr t gys frauen y bilyn* [YVC 1819: Matthew 3:10] 'так как уже и секира при корне дерев лежит'.

Однако здесь опять-таки наблюдается тенденция, по которой этот «новый» перфект расширяет семантическую сферу от обозначения предшествования к выражению действия: Теренс О'Рахилли в своей классической работе по ирландским диалектам [O'Rahilly 1932: 135] обратил внимание ирландских исследователей на такие выражения в шотландском языке, как: *bidh an rìgheachd air a sgrios agus tu féin air do mharbhadh* 'королевство будет разрушено, а ты будешь убит' и *dh'órdaich e a' bhean a bhith air a cur gu bás* 'он приказал, чтобы женщину убили'; здесь глагольно-номинативный перфект используется для выражения действия (и взаимозаменяем поэтому с имперсоналом). Особо следует обратить внимание на то, что оба примера в пассиве и, на самом деле, являются пассивами ирреалиса (т.е. относятся к будущему или неопределенному времени). Сравните следующие примеры<sup>5</sup>:

<sup>5</sup> Как в валлийском, так и в шотландском применяется несколько средств для образования пассивных форм. Я хотел бы поблагодарить профессора Дональда Мика за подтверждение того, что в его диалекте (о. Тайри) форма «*ar* + глагольное имя» особенно часто встречается в контексте будущего времени.



- (34) *A ta feum agamsa bhi air mo bhaisteadh leatsa* [TN: n/d: Matthew 3:14] ‘мне надобно креститься от тебя’.
- (35) *gum feum Mac an duine moran fhulang, a bhith air a dhiultadh leis na seanairean, ...'sa bhith air a chur gu bas* ‘что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами... и быть убиту’ [TN: n/d: Mark 8:31].

Семантическое расширение пассивного перфекта с глагольным именем от обозначения предшествования к выражению действия также очень часто встречается в мэнском (как было отмечено и О’Рахилли [O’Rahilly 1932: 135]). Эта конструкция здесь также очень распространена в пассиве (36) и часто встречается в пассиве будущего времени (37).

- (36) *a' n seihll er ny jannoo liorishyn* [YVC 1819: John 1:10] ‘мир через него начал быть’.
- (37) *son nagh bee leigh Voses er ny vrishey* [YVC 1819: John 7:23] ‘чтобы не был нарушен закон Моисеев’.

И вновь мы здесь сталкиваемся с функциональной эволюцией от обозначения состояния к обозначению предшествования и далее – простого действия. Более того, основной локус развития от предшествования к действию находится в пассивном залоге и, в особенности, в будущих и нереальных контекстах.

**5. Обновление: глагольно-адъективный перфект (ГА).** Перфект с глагольным именем расширил свою сферу в раннеовоирландском и, как следствие, потерял значение маркера предшествования, поэтому появилась потребность в новом способе маркирования перфекта. Выше мы обратили внимание на продуктивность типично стативных форм в развитии перфектных форм, в особенности отглагольных прилагательных, и вот снова отглагольное прилагательное оказывается востребованным, теперь уже в современную эпоху<sup>6</sup>. Как и в случае с формой с глагольным именем, конструкция перифрастическая и образована на базе глагола ‘быть’, а агенс вводится с помощью предлога: «глагол существования + существительное + отглагольное прилагательное + предлог», например, *tá sé buailte agam*, буквально ‘он побит у меня’. Форма имеет все формальные характеристики пассива, а примеры указывают на то, что изначально она так и использовалась. Однако, как мы увидим, позже она начинает использоваться в качестве эквивалента активного перфекта.

Красноречивое свидетельство того, что уже в начале XVII в. эта новая глагольно-адъективная форма начинала замещать глагольно-номинативный перфект, содержится в грамматике ирландского языка, написанной Бонавентурой О’хОгаса между 1607 и 1614 г. Он ясно дает понять, что более старое *atá Brian (i)arna bhualadh* (буквально ‘Бриан после своего битья’) подменяется *atá Brian buailte* ‘Бриан побит’, добавляя, что это не находит одобрения в образованных кругах, и можно предположить, что именно по этой причине новая форма относительно редко встречается в текстах:

Pro participio activo praeterito, verbale et[iam] nomen cum praepositione *ar* vel *iar* accipiunt, ut *atā Thadhg ar mb[u]aladh < nō iar mbualadh > Bhriain*. E[a]dem illa etiam accipiuntur pro participijs passivis praesentis et praeteriti quando nomen ponitur expresse vel implicite cum praepositione *le* vel *ó*, ut *atā Brian gā b[h]ualadh nó ar na bhualadh le nó ó Thadhg*. Pro isto

<sup>6</sup> В то время как древнеирландский пассив претерита восходит к отглагольному прилагательному на *-to, tā-*, древнеирландское ‘причастие прошедшего времени’ образовано с помощью суффикса *-tio-, tiā* и изменяется как основы на *io- iā-* [Thurneysen 1946: 441]. Так, *bíthe* ‘ударенный’, *crochthe* ‘распятый’, *suidigthe* ‘поставленный’ (< \**sodesagítio-* [Lewis, Pedersen 1961: 311]). Изначальные черты все еще различимы в современных отглагольных прилагательных *déanta, buailte* и т.д.

praeterito saepe dicitur atā Brian buailte, sed hoc reprobatur a peritis, ... [RGH 1968: caput XXXIII].

Важно, что О'хОгаса говорит в первую очередь о пассиве, ведь, как мы уже отмечали, конструкция с глагольным именем была в особенности употребительна именно в таком варианте; более того, начинает она подменяться как раз в пассивном варианте. Чередование «*ar* + притяж. мест. + глагольное имя» с отглагольным прилагательным можно увидеть, например, в следующих примерах:

- (38) *bairgheana gan laibín, ar na gcumasc le h-ola* [Bedell 1685: Exodus 29:2] 'пресные хлебы, смешанные с елеем'.  
(39) *bairgheana gan laibhín cumaiscthe le hola* [Bedell 1685: Leviticus 7:12] 'пресные хлебы, смешанные с елеем'.

Эволюция от полной глагольно-номинативной формы (здесь с агентивным маркером *ag*) к глагольно-адъективной конструкции удачно запечатлена в следующих примерах из переводов Нового Завета, где формы с ГИ встречаются в оригинальном издании 1602/3 г. (40), но заменены на ГА конструкции в переработанном издании 1837 г. (41):

- (40) *óir is mar seo atá sé ar na sgríobhadh ag an bhfáidh* [O'Domhnaill 1603: Matthew 2:5] 'ибо так написано через пророка'.  
(41) *oir is mar so atá sé sgríobhtha ag an bhfáidh* [O'Domhnaill 1837: Matthew 2:5] 'ибо так написано через пророка'.

Таким образом, глагольно-номинативная форма была сначала вытеснена глагольно-адъективной формой в пассивном варианте. Постепенно, однако, новая форма была переосмыслена в определенных контекстах как эквивалент активной формы<sup>7</sup>. Теперь для глагольно-адъективной формы был открыт путь к замещению более ранней конструкции в активных перфектах; и 'Тайг побил Бриана' все чаще выражается скорее как *atá Brian buailte ag Tadhg*, чем как более раннее *atā Tadhg iar mbualadh Bhriain*<sup>8</sup>. (Более подробное обсуждение механизмов, связанных со сдвигом от глагольно-номинативного перфекта к глагольно-адъективному перфекту в ирландском языке, см. [Ó Corráin (в печати)].) После того как конструкция с глагольным именем была вытеснена в своей основной функции маркера общего предшествования как в пассивных, так и в активных контекстах, ее значение редуцировалось до дополнительной функции маркирования перфекта недавнего прошлого (ср. схожую редукцию формы на *ro-*, описанную выше).

**5.1. Мэнский и шотландский языки.** Процессы возникновения, функционального расширения и обновления также можно наблюдать в мэнском языке. В «Книге общественного богослужения» (1610), а также в классическом для языка тексте мэнской Библии 1744–1773, господствующей формой перфекта как в активном, так и в пассивном варианте является форма с глагольным именем:

- (42) *T'eh er lhieneey ny accrysee lesh reddyn mie* [YVC 1819: Luke 1:53] 'алчущих исполнил благ' (буквально 'он после наполнения голодных хорошими вещами').

<sup>7</sup> Можно предположить, что здесь действует несколько факторов: влияние других активных конструкций с глаголом 'быть' и с предлогом *ag* 'у, при', понятийное родство концепта обладания и перфекта и даже, возможно, влияние английского языка.

<sup>8</sup> Тенденция к переосмыслению пассивных форм как активных конечно же не ограничивается ирландским языком: было продемонстрировано, например, что современные индоиранские активные формы перфекта восходят к более ранним пассивным [Comrie 1976: 85].

(43) *ta dty phadjer er ny chlashtyn* [YVC 1819: Luke 1:13] 'услышана молитва твоя' (буквально 'твоя молитва после своего услышания').

Уже к классическому периоду форма с глагольным именем расширила сферу употребления в сторону нарратива. Существенно, что этот сдвиг проявляется в пассивном залоге:

(44) *va'n ainle Gabriel er ny choyrт veih Jee* [YVC 1819: Luke 1:26] 'послан был ангел Гавриил от Бога'.

(45) *bee eh er ny thieeney lesh y Spyrryd Noo* [YVC 1819: Luke 1:15] 'и Духа Святого исполнится'.

Как и в ирландском языке, форма с глагольным именем постепенно заменяется на новую ГА конструкцию (используется несколько агентивных маркеров, включая *liorish*, *lesh* и *ec*), и снова это происходит в первую очередь в пассиве<sup>9</sup>. Ср. (45) выше из перевода Нового Завета, в котором мы имеем глагольно-номинативную форму, с (46) из позднего разговорного мэнского, где мы имеем глагольно-адъективную форму:

(46) *Va mee thieent lesh graih da Yee* [Broderick 1984: 175] 'я был преисполнен любви к Богу'<sup>10</sup>.

Мэнская ГА форма может ощущаться как пассивная, как в (47), или как активная, как в (48), [Broderick 1984: 102]:

(47) *va mish goit ec y ferrishyn* [Broderick 1984: 249] 'меня унесли эльфы'.

(48) *v' eh jeant echey jea* [Broderick 1984: 261] 'он это сделал вчера'.

Как и в ирландском, однако, она все больше используется в активных контекстах, особенно с агентивным маркером *ec*, а в позднем разговорном мэнском видна сильная тенденция к вытеснению новой формой конструкции с глагольным именем и в активе, ср. (49) и (50):

(49) *yn olk v' eh er n' uanno* [Broderick 1984: 177] 'зло, что он сотворил' (буквально 'зло, которое он был после его делания').

(50) *auns thie beg va jeant ain* [Broderick 1984: 279] 'в маленьком доме, который мы построили' (буквально 'в маленьком доме, который был сделан у нас/нами').

Действительно, ГА форма даже пошла дальше и расширила свою сферу в сторону выражения значения претерита актива:

(51) *v' eh jeant echey jea* [Broderick 1984: 261] 'он это (уже) сделал вчера' или 'он сделал это вчера'.

И вновь мы сталкиваемся с циклической схемой возникновения, функционального расширения и замещения. Мы также обратим внимание на важность пассива как локуса расширения и замещения. Любопытно, что хотя и ГН, и ГА конструкции встречаются в перфекте настоящего времени и в плюсквамперфекте актива, по-видимому, только ГА форма встречается в перфекте будущего времени [Broderick 1984: 81].

<sup>9</sup> Хотя мы все еще находим активный вариант формы с глагольным именем в позднем разговорном мэнском, пассивный вариант встречается очень редко [Broderick 1984: 102].

<sup>10</sup> Конечно же, в этом случае *lesh* не агентивный маркер.

Шотландский, с другой стороны, сохранил ГН форму как обычный перфект, хотя ГА конструкция также встречается:

(52) *Tha Iain leònte aca* [MacAulay 1992: 178] 'Иань ранен ими'.

Однако в тех диалектах, где эта форма продуктивна, например, на острове Арран, мы можем наблюдать такую же тенденцию к расширению в сторону выражения действия и отметить, что, по-видимому, это развитие происходит опять же в пассиве.

(53) *Bithidh thusa bàithe* 'ты утонешь' [Wagner, Ó Baoill 1969]; ссылка в [MacAulay 1992: 153].

(54) *(Bha iad) caillte* 'они были убиты' [Wagner, Ó Baoill 1969]; ссылка в [MacAulay 1992: 153].

Опять, расширение это, вероятно, особенно распространено в ирреальных контекстах. Обратите внимание на использование ГА формы (а также и ГН конструкции) скорее для выражения пассивного действия ирреалиса, а не какого-либо предшествования в примерах, таких как следующий:

(55) *b' fhearr dha clach mhuilinn a bhith crochte tu amhaich, 'sa bhith air a thilgeil sa mhuir* [TN: n/d: Mark 9:42] 'тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море'.

**5.2. Дальнейшее расширение ГА формы в ирландском.** В ирландском дистрибутивное расширение ГА формы хорошо иллюстрируется появлением, особенно в южных диалектах, отглагольных прилагательных от непереходных или по своему существу стативных глаголов, от которых таких форм не существовало, например, *imithe* 'ушедший', *tagtha* 'пришедший', *faighte* 'полученный' и т.д. (непереходное *tá sé imithe* 'он ушел'; переходное *tá sé faighte agam* 'у меня это получено').

Более того, эта форма, по-видимому, снова стала расширять свою семантическую область. Т. О'Рахилли [O'Rahilly 1932: 135] обратил внимание на употребление *tá* с причастием, особенно в предложениях, в которых в английском языке использовался бы пассивный инфинитив. Опять, следует отметить, что в таких случаях мы имеем дело, во-первых, с пассивным залогом, и, во-вторых, с будущим временем (или ирреалисом):

(56) *tá sin a dhíobháil a bheith déanta* (Донегол) *caithfe sé a bheith dlonta* (Голуэй) 'это должно быть сделано' (обычно *caithfear é a dhéanamh*).

Со времени О'Рахилли эта форма несомненно эволюционировала дальше в этом направлении, и примеры в речи носителей ирландского языка регулярно встречаются – особенно в футуральных пассивных контекстах – такие как *beidh sé tarraingte amárach* 'она будет разыграна завтра' (о лотерее), что отчетливо относится к будущему действию, а не будущему перфекту.

**5.3. Бретонский и корнский.** Будет бессмысленно кратко взглянуть на бриттские языки, так как, в то время как в валлийском (также как и в гойдельских языках) с самого начала грамматикализовался ГН перфект, эта конструкция не встречается в корнском и бретонском, в которых развились ГА формы<sup>11</sup>. И снова первоначально стативная фор-

<sup>11</sup> В каждом случае глагол существования используется как вспомогательный, в то время как бретонский зашел дальше и создал форму с глаголом 'иметь' (изначально 'быть у'), которая используется с переходными глаголами по схожей схеме, как во французском и других европейских языках.

ма (глагол существования с отглагольным прилагательным) грамматикализуется в рамках глагольной системы как маркер предшествования, при этом отглагольное прилагательное переосмысливается как причастие прошедшего времени (57). В среднебретонский период (тексты начиная с 1450 г.) эта форма расширила свою сферу и представляет собой нормальное средство выражения пассива в общем (58).

(57) *ez ouf manet* 'я остался' [Nemon 1975: 247]

(58) *ez viomp condamnet* 'что мы были осуждены' [Nemon 1975: 251].

Новая форма затем распространилась на активный залог и примерно к началу XIX в. вытеснила старый претерит из разговорного языка [Nemon 1975: 254].

Сходную схему можно наблюдать в корнском. Стативная по своей сути форма, которая все еще встречается в примерах типа (59), снова используется для маркирования предшествования как в активной (60), так и в пассивной (61) форме.

(59) *der henna ythof grevys* 'поэтому я опечален' [GAB 1863: 445] (состояние).

(60) *me a servyas pell an beyse* [GAB 1863: 445] 'я долго служил миру' (активный перфект).

(61) *a gans cayne omskemynes ow tabe abell uw lethys* [GAB 1863: 1253/4] 'Ах, Каином проклятым мой сын Авель (был) убит' (пассивный перфект).

Семантическое расширение на нарративные времена наиболее очевидно в пассиве.

(62) *ha thawell ythe fythe cregys* [GAB 1863: 569] 'и твоей проповеди поверят' (пассивный футурум).

(63) *sera ken foma cregys* [GAB 1863: 1023] 'хотя бы я и был повешен' (ирреалис).

(64) *eva am asan ew gwryes* [GAB 1863: 395] 'Ева из моего ребра была сделана' (пассивный претерит).

**6. Перфект в пассив.** Все это приводит нас к необходимости кратко рассмотреть связь между перфектом и пассивом, связь, которая была отмечена уже давно и которая проявляется в структурном сходстве этих двух категорий в большом количестве языков. Отмечалось также, что в некоторых языках, как, например, в русском и современном ирландском (см. [Comrie 1976: 84]), перфект может быть эксплицитно выражен только с помощью пассивной по своей сути конструкции: *tá an obair déanta aige* 'он сделал свою работу' (буквально 'у него работа сделана')<sup>12</sup>.

Важное наблюдение, которое становится очевидным в результате нашего исследования, это то, что в кельтских языках существует поразительная структурная взаимосвязь между этими двумя категориями. Из бриттских языков, валлийский развил глагольно-номинативный перфект, а также глагольно-номинативный пассив. Бретонский и корнский, с другой стороны, развили глагольно-адъективный перфект, а также глагольно-адъективный пассив. В гойдельской ветви шотландский развил глагольно-номинативный перфект и сохранил глагольно-номинативный пассив. В мэнском, в языке канонических текстов перфект был глагольно-номинативным, и пассив также образовывался с глагольным именем. Однако в позднем разговорном мэнском глагольно-адъективная форма постепенно стала основным маркером перфекта и единственным – пассива. Такой же структурный симбиоз наблюдается в ирландском: в классическом ранненовоирландском встречается глагольно-номинативная конструкция как в перфекте, так и в пассиве, в то время как в современном языке перфект выражается с помощью глагольно-адъективной формы (которая сама по происхождению пассивная). И хотя изменяемый имперсонал сохранился, у глагольно-адъективной формы четко прослеживается

<sup>12</sup> О некоторых конструкциях в русском языке, схожих с ирландской ГН формой, см. [Bauckha 2006].

тенденция к все большей продуктивности с непереходными глаголами и к вторжению в сферу имперсонала в пассивном футуруме и ирреалисе (*tá sé imithe* 'он ушел'; *beidh sé tarraingte amárach* 'его притащат завтра').

**7. Заключение.** Островные кельтские языки, таким образом, представляют благодатную почву для изучения разнообразных процессов, связанных с формальным и функциональным развитием перфекта как глагольной категории; наше исследование различных соответствующих конструкций выявило несколько отчетливых направлений и тенденций.

Наиболее заметная черта – это повторяющаяся схема появления, функционального расширения и конечного замещения. Как мы увидели, этот циклический процесс можно выявить во всех островных кельтских языках, но, наверно, лучше всего его можно проиллюстрировать на примере изменений в ирландском языке. Во-первых, мы увидели продуктивность нефинитных глагольных форм – в первую очередь отглагольных прилагательных – в формировании стативных перфектов, которые распространились в глагольной системе как перфекты результативные и – позже – расширили свою сферу употребления в сторону значения простого прошедшего времени. Таким образом, направление соответствующего функционального развития выглядит так: состояние > предшествование > действие. По мере того, как перфект расширяет свою функциональную область, появляются новые способы выражения идеи предшествования, которые, в свою очередь, начинают расширять свою функциональную сферу. Формальные средства, используемые для образования этих перфектов, различны и зависят от сил, господствующих в языковой системе. Когда семантическая аффиксация все еще была продуктивным словообразовательным средством, в качестве маркера предшествования грамматикализовался перфективирующий по происхождению префикс (*ro-*). С течением времени этот *ro-*перфект похожим образом расширил свою функциональную область, эволюция в этом случае была: перфективность > предшествование > действие. Вместе с исчезновением у форм на *ro-* перфектного значения появилась необходимость в новом средстве эксплицитного выражения предшествования.

После того как семантическая префиксация перестала быть элементом системы островных кельтских языков в средневековый период, развиваются перифрастические формы, и в ирландском языке появляется конструкция на базе глагольного имени. Эта по происхождению стативная конструкция снова грамматикализуется в глагольной системе как результативный перфект (и становится особенно продуктивной в пассиве), а позже она снова расширяет свою сферу и, как и предыдущие формы, теряет перфектное значение. Предположительно, как следствие этого появляется еще одно средство эксплицитного выражения предшествования, на этот раз в виде глагольно-адъективной конструкции. Как мы увидели, существует тенденция, по которой новые формы сначала вытесняют старые формы в их основной функции, после чего значение последних сужается до обозначения дополнительных функций (ср., в этом отношении, 4-й закон аналогии у Куриловича), а при том, что новая глагольно-адъективная конструкция стала основным маркером перфекта, значение глагольно-номинативной формы сузилось до дополнительной функции выражения перфекта недавнего прошлого.

Мы также отметили поразительную структурную корреляцию между категорией перфекта и пассивным залогом в островных кельтских языках вообще: языки (и языковые стадии), в которых появлялся глагольно-номинативный перфект, получали также глагольно-номинативный пассив; и наоборот, те, в которых появлялся глагольно-адъективный перфект, также приобретали глагольно-адъективный пассив. Этот формальный симбиоз, по всей вероятности, должен корениться в глубоких функциональных связях между этими двумя категориями. Более того, судя по данным, описанное функциональное расширение перфектных форм в островных кельтских языках в первую очередь проявляется в пассиве и, возможно, в пассивных футуральных (или ирреальных) контекстах.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- AGC – *B. Ó Cuív* (ed.). *Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma*, Seaán Ó Cearnaigh's Irish Primer of Religion published in 1571. Dublin, 1994.
- Bayda 2006 – *V. Bayda*. On the development of the 'after' perfect in Irish and Scottish Gaelic // *T. Mikhailova* (ed.). *Second International colloquium of Societas Celto-Slavica. Abstracts*. Moscow, 2006.
- Bedell 1685 – *U. Bedell*. *Leabhair na Seintiomna*. Lunnduin, 1685.
- Bliss 1979 – *A. Bliss*. *Spoken English in Ireland, 1660–1740: Twenty-seven representative texts assembled and analysed*. Dublin, 1979.
- Branwen Uerch Lyr – *D.S. Thomson* (ed.). *Branwen Uerch Lyr / Medieval and modern Welsh series V. II*. Dublin, 1976.
- Broderick – *G. Broderick*. *A handbook of late spoken Manx. V. 1. Grammar and texts*. Tübingen, 1984.
- Brugmann, Delbrück 1916 – *K. Brugmann, B. Delbrück*. *Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*. Straßburg, 1916.
- Comrie 1976 – *B. Comrie*. *Aspect*. Cambridge, 1976.
- CML – *K. Jackson* (ed.). *Cath Maighe Léna*. Dublin, 1990.
- DD – *L. Mac Cionnaith* (ed.). *Dioghluim Dána*. Dublin, 1938.
- DIL – *Dictionary of the Irish language, based mainly on Old and Middle Irish materials*. Dublin, 1913–1976.
- Evans 1964 – *D.S. Evans*. *A grammar of Middle Welsh*. Dublin, 1964.
- GAB 1863 – *W. Stokes* (ed.). *Gwreans An Bys: The Creation of the world, a Cornish mystery*. Berlin, 1863.
- Greene 1979–1980 – *D. Greene*. *Perfect and passive in Eastern and Western Gaelic // Studia Celtica*. 1979–1980.
- Hemon 1975 – *R. Hemon*. *A historical morphology and syntax of Breton*. Dublin, 1975.
- IT – *J. Fraser, P. Grosjean, J.G. O'Keefe* (eds.). *Irish texts*. London, 1931–1934.
- Keating 1901–1914 – *D. Comyn, P.S. Dinneen* (eds.). *Foras Feasa ar Éirinn le Seathrún Céitinn, D.D. The History of Ireland by Geoffrey Keating, D.D. / Cumann na Sgríbhneann nGaoidhilge: 1901–1914*.
- Kuryłowicz 1964 – *J. Kuryłowicz*. *The Inflectional categories of Indo-European*. Heidelberg, 1964.
- Lewis, Pedersen 1961 – *H. Lewis, H. Pedersen*. *A concise comparative Celtic grammar*. Göttingen, 1961.
- Lockwood 1969 – *W.B. Lockwood*. *Indo-European philology: Historical and comparative*. London, 1969.
- MacAulay 1992 – *D. MacAulay* (ed.). *The Celtic languages*. Cambridge, 1992.
- McCone 1987 – *K. McCone*. *The early Irish verb*. Maigh Nuad, 1987.
- McCone et al. 1994 – *K. McCone, D. McManus, C. Ó Háinle, N. Williams, L. Breatnach* (eag.). *Stair na Gaeilge*. Maigh Nuad, 1994.
- Ó Corráin 2006 – *A. Ó Corráin*. On the 'after perfect' in Irish and Hiberno-English // *H.L.C. Tristram* (ed.). *The Celtic Englishes IV: The interface between English and the Celtic languages*. Potsdam, 2006.
- Ó Corráin (в печати) – *A. Ó Corráin*. The origins and development of periphrastic perfects in Irish // *J.E. Rekdal* (ed.). *Proceedings of the Seventh symposium of societas Celtologica Nordica. V. 7*. Uppsala (в печати).
- O'Domhnaill 1603 – *U. O'Domhnaill*. *Tiomna Nuadh Ar dTighearna agus Ar Slanuirtheoéra Íosa Críost*. Dublin, 1603.
- O'Domhnaill 1837 – *U. O'Domhnaill*. *Tiomna Nuadh Ar Dtighearna agus Ar Slanuirtheoéra Íosa Críost*. London, 1837.
- O'Rahilly 1932 – *T.F. O'Rahilly*. *Irish dialects past and present*. Dublin, 1932.
- O'Rahilly 1941 – *T.F. O'Rahilly* (ed.). *Desiderius, otherwise called Sgáthán an Chrábhaidh, by Flaithrí Ó Maolchonaire / Medieval and Modern Irish Series*. Dublin, 1941.
- Pedersen 1913 – *H. Pedersen*. *Vergleichende grammatik der keltischen Sprachen*. Göttingen, 1913.
- PH – *R. Atkinson*. *The passions and the homilies from Leabhar Breac: Text, translation and glossary*. Dublin, 1887.
- RGH 1968 – *P. Mac Aogáin* (ed.). *Graiméir Ghaeilge na mBráthar Mionúr*. Baile Átha Cliath, 1968.
- Schmidt 1964 – *K.H. Schmidt*. *Das Perfektum in indogermanischen Sprachen: Wandel einer Verbalkategorie // Glotta*. 42. 1964.
- Schmidt 1974 – *K.H. Schmidt*. *Das Verbum im Keltischen: sprachgeschichtliche Grundlagen und typologische Entwicklung // Zeitschrift für celtische Philologie*. 33. 1974.
- Schmidt 1990 – *K.H. Schmidt*. On the prehistory of aspect and tense in Old Irish // *Celtica*. 21. 1990.

- Strachan 1899–1902 – *J. Strachan*. Action and time in the Irish verb // Transactions of the Philological Society. 1899–1902.
- Szemerényi 1980 – *O. Szemerényi*. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1980.
- Thurneysen 1904 – *R. Thurneysen*. Zum keltischen Verbum. 1. Die Verbalpartikel *ro*; 2. Zum Deponens und Passivum mit *r*; 3. Das *t*-Präteritum // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 37. 1904.
- Thurneysen 1946 – *R. Thurneysen*. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
- TN 1848 – Testament Newydd. Llundain, 1848.
- TN – TIOMNADH NUADH AR TIGHEARNA AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD. EADAR-  
THEANGAITHE ON GHREUGAIS CHUM GAELIC ALBANNAICH London (no date).
- TT – *G. Calder* (ed.). Togail na Tebe. The Thebaid of Statius. Cambridge, 1922.
- Wackernagel 1926 – *J. Wackernagel*. Vorlesungen über Syntax. Basel, 1926.
- Wagner, Ó Baoill 1969 – *H. Wagner, C. Ó Baoill*. Linguistic atlas and survey of Irish dialects. V. IV. Dublin, 1969.
- YVC 1819 – Yn Vible Casherick. London, 1819.
- Zimmer 1888 – *H. Zimmer*. Keltische Studien // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 30. 1888.

*Перевел с английского В. В. Байда*



© 2007 г. А. А. ЛЕВИТСКАЯ

**О ВИДОВОЙ НЕСООТНОСИТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  
ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ  
(ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ИДИОЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ)**

Видовую (перфективную) несоотнесенность приставочных глаголов в современном осетинском языке обуславливают, как показывает приведенный в статье материал, во-первых, значения определенных способов действия, не позволяющих представить данное действие как процессуальное (универсальный фактор); во-вторых, пространственно-ориентационные значения некоторых превербов, препятствующие выражению признака перцептивности – важнейшего контекстуального и ситуативного условия реализации функции процессности (идиоэтнический фактор). Несомненный интерес для общей и сопоставительной аспектологии представляют также выводы автора о типологическом сходстве процессов возникновения и развития категории вида в осетинском и русском языках.

Грамматическая категория вида, представленная оппозицией «глагол несовершенного вида (далее НСВ): глагол совершенного вида (далее СВ)», и грамматическая категория кратности, представленная оппозицией «глагол со значением однократного характера действия: глагол со значением политемпоральной повторяемости действия», образуют ядро функционально-семантического поля аспектуальности в современном осетинском языке [Левитская 1983: 59–32].

При соотнесении с ситуацией действия, повторяющегося в полном объеме в разные локально-временные промежутки, в осетинском языке во всех временах и наклонениях используется аналитическая конструкция 'глагол + частица -иу', которая противопоставляется тому же глаголу без частицы -иу, как не имеющему значения кратности, повторяемости действия. Никакого другого дополнительного лексического значения оппозиция не имеет. Противопоставление по данному аспектологическому основанию возможно в принципе для глагола любой семантики, следовательно, оно не может быть ограничено какими-то лексико-семантическими рамками. Аналитический способ выражения, в свою очередь, исключает сопротивление глагольной лексики по словообразовательным причинам, способствует неограниченным возможностям для выражения значения неоднократной (политемпоральной) повторяемости любого глагольного действия. С точки зрения функциональных соответствий можно сказать, что сфера употребления осетинской грамматической категории кратности соответствует неограниченно-кратному типу употребления русского НСВ (во всех вариантах). Если в русском языке неограниченно-кратное значение – это одно из основных значений несовершенного вида, то в осетинском языке произошло разделение, так сказать, на «сферы влияния» в обозначении характера протекания и распределения действия во времени между категорией вида и категорией кратности. Конкретно-процессному типу употребления русского НСВ (во всех его разновидностях) соответствует в осетинском языке сфера употребления НСВ, который представлен в видовой паре граммемой «приставочный глагол с аффиксом -цæй-», противопоставляемой тому же приставочному глаголу без этого аффикса по аспектуальному семантическому основанию «направленность действия на достижение предела». По этому основанию противопоставляются все осетинские глаголы НСВ (бесприставочные в инфинитиве, бесприставочные глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени и приставочные глаголы с аффиксом -цæй) гла-

голам СВ (приставочным формам в инфинитиве, приставочным глаголам будущего и прошедшего времени). Наибольший интерес для общей и сопоставительной аспектологии представляют формы одного и того же глагола, обозначающие одно и то же действие как направленное на достижение предела и достигшее этого предела, например:

*рацæйздæхын / возвращаться – раздæхын / вернуться;*  
*фæцæйфæлдæхын / опрокидываться – фæфæлдæхын / опрокинуться;*  
*æрцæйцæун / спустаться – æрцæун / спуститься;*  
*æрбацæйтулын / прикатывать – æрбатулын / прикатить;*  
*сцæйисын / поднимать – сисын / поднять и т.п.*

Приставочные глаголы с аффиксом *-цæй-* и те же глаголы без этого аффикса противопоставляются как видовые формы одной и той же лексемы, т.е. противопоставление отвечает требованию «эмансипированности от лексических различий» [Маслов 1978: 28] как самому важному критерию при доказательстве формообразовательного, чисто-видового характера видовой оппозиции. Глагольные образования с аффиксом *-цæй-* выражают либо конкретно-процессное, либо конативно-тендентивное значение [Левитская 2001: 29–30], которые интегрируются в единое, более общее значение недостижимости предела действием, направленным к достижению предела. Роль аффикса *-цæй-* в определенной мере соответствует роли русских суффиксов имперфективации *-ива/ыва-, -ва-, -а-*, см. [РГ 1980: 588–590]. Отличительной особенностью осетинского аффикса является то, что он имперфективирует лишь приставочные глаголы, тогда как с помощью русских суффиксов имперфективации регулярно образуются глаголы НСВ как от префиксальных, так и беспрефиксных глаголов совершенного вида: *атаковать – атаковать, дать – давать, бросить – бросать, обеспечить – обеспечивать* и др. [Там же: 590]. Кроме того, функциональная нагрузка аффикса *-цæй-* значительно меньше в сравнении с русскими суффиксами имперфективации, которые, как известно, обозначают как действия конкретно-процессные, так и многократные, поскольку являются одновременно и показателями многократности [Там же: 350–355]. Осетинский аффикс *-цæй-* имеет лишь одну функцию – показателя формы НСВ с конкретно-процессным значением (во всех его разновидностях).

Фактором объективной внеязыковой действительности, детерминирующим грамматическое противопоставление «совершенный вид/несовершенный вид» в осетинском языке, так же, как и в русском, является универсальный признак ограниченности/неограниченности развития действия во времени [Серенсен 1962: 184; Шелякин 1972: 102; Бондарко 2001: 54], однако конкретное отражение этого признака в семантической стороне грамматического строя осетинского и русского языков различно: в русском языке он выступает как обязательное указание на целостность/нецелостность [Маслов 1978: 32; Бондарко 1973: 14–15], в осетинском – на достигнутость/недостигнутость предела [Левитская 1983: 90–93]. Ю.С. Маслов подчеркивал, что «реальной основой, или семантической базой, видовой оппозиции совершенный : несовершенный вид (перфектив : имперфектив) в русском и других славянских языках является противопоставление достигнутость : недостижимость внутреннего предела глагольного действия. Но на уровне категориального значения, с учетом всех основных типов употребления в речи, аспектуальная «оценка», выражаемая СВ и НСВ, должна быть сформулирована иначе: СВ... изображает действие в его неделимой целостности, а НСВ... оставляет признак целостности/нецелостности невыраженным» [Маслов 1984: 15–16].

Квалифицируемые Ю.С. Масловым понятия предельности/непредельности как «реальная основа» и целостности/нецелостности как «категориальное значение» четко различал Л.П. Размусен как два момента исторической или логической последовательности в развитии видовых значений: «Глагол совершенного вида, мне кажется, означает первоначально действие как достигающее своей цели (своего предела), а затем вообще рассматриваемое как одно целое (начало, середина и конец – совокупно). Глагол несовершенного вида означает первоначально действие как приготовление к достижению

цели, а затем вообще действие, рассматриваемое только со стороны вещественных (знаменательных) своих признаков без обозначения целостности действия» [Размусен 1891: 379].

Совпадая в выборе одного и того же признака ограниченности/неограниченности действия во времени в качестве фундамента семантического «здания» видовой категории, сопоставляемые языки расходятся, как мы отметили выше, в особенностях преломления этого универсального признака и конкретного его выражения с помощью различных грамматических средств. С позиции определения Л.П. Размусена можно предположить, что процессы формирования видовых значений в русском и осетинском языках совпадают на первом историческом (или логическом) этапе, а затем расходятся на стадии дальнейшего развития вида как грамматической категории. Общим для грамматической категории вида в сравниваемых языках является и то, что она охватывает все глаголы: и в русском языке «всякий глагол подводится под категорию вида» [Виноградов 1972: 424], и в осетинском языке «вне вида не может выявляться значение глагола» [Козырева 1951: 8]. Выражение каждым глаголом видового значения (так же как и значения кратности в осетинском) носит регулярный, «принудительный», характер, является обязательным даже тогда, когда выражение видовых или кратных значений не является существенным для смысла данного высказывания, а различие вида оказывается «практически несущественным» [Маслов 1978: 28; Левитская 1983: 91–93, 121–122]. Общим для сравниваемых языков является и то, что образование глагола несовершенного вида с помощью имперфективирующих аффиксов и в русском, и в осетинском языке возможно не от всякого приставочного глагола, ср. [РГ 1980: 595–596; Левитская 1983: 63–70]. В обоих языках категория вида «является ареной борьбы и взаимодействия грамматических и лексических значений» [Виноградов 1972: 395], и вопрос о видовой соотносительности – это «всегда вопрос о единстве лексической семантики двух парных по виду форм и разнице их видовых значений» [Шелякин 1972: 222]. Причины видовой несоотносительности определенной части осетинских приставочных глаголов СВ следует, на наш взгляд, искать именно с позиций совместимости/несовместимости значений глаголов с грамматическими значениями и функциями того или иного вида. Этот принцип освещен в работах Ю.С. Маслова [Маслов 1948: 303–316; 1984: 48–65], раскрывшего лексико-семантическую базу проявления значений и функций русских видовых форм и обосновавшего «важность такого изучения семантики видов, которое выводит конкретные особенности видовых значений и видовых свойств рассматриваемых глаголов из особенностей их лексической семантики, т.е., собственно говоря, из некоторых объективных свойств самих обозначаемых этими глаголами действий» [Маслов 1984: 54–65]. Развивая идеи Маслова о том, что в подавляющем большинстве случаев причины видовой непарности кроются именно в семантике самих непарных глаголов, которая, отражая определенные объективные свойства соответствующего действия, оказывается несовместимой с грамматическим значением того или иного вида, многие авторы приходят к выводу, что «именно значения способов действия, а не какие-либо другие особенности глагольной семантики обуславливают аспектуально-грамматические свойства отдельных групп глаголов в русском языке: их видовую соотносительность/несоотносительность» [Шелякин 2001: 70; Зализняк, Шмелев 2000: 104–126 и др.].

В этой связи несомненный аспектологический интерес представляет ответ на вопрос о том, глаголы каких способов действия (далее СД) в современном осетинском языке отличаются видовой несоотносительностью и, в частности, не имеют имперфективных коррелятов? Какие универсальные и идиоэтнические аспектуально-акциональные значения<sup>1</sup> в осетинских приставочных глаголах СВ обуславливают невозможность пред-

<sup>1</sup> Акциональность мы вслед за М.А. Шелякиным понимаем как «относительно самостоятельные (полуграмматические, адвербиальной или атрибутивной природы) признаки глаголов, указывающие на формы / способы осуществления действия, т.е. формы / способы развития действия во времени [Шелякин 1972: 43].

ставления действия формами осетинского имперфектива с аффиксом *-цæй-* как длящегося, находящегося в процессе, *intra terminos*?

Исследованный нами материал подтверждает, что в осетинском языке так же, как и в русском [Шелякин 1983: 421; 2001: 79], не имеют видовой пары НСВ глаголы **длительно-ограничительного (пердуративного) СД**, характеризованного превербом *фæ-*. Например:

(1) Валько æфтæ фæлæууыд дзæвгар æмæ йын зын быхсæн уыд (325) // Валько так простоял довольно долго и начал уже терять терпение (259)<sup>2</sup>;

(2) Æфсарм дам нал ис! Æз маæ царгæ царæнбонты сымахæн фæкуыстон (561) // Стыда в тебе нет!.. Я всю жизнь работал на вас (440) (в осет. букв.: «проработал»);

(3) Мад æмæ чызг та, иунагæй бæйзайгæйæ, мады сынтæгыл бадтысты, афтæмæй фæкуыдтой боныцъæхтæм (330) // А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета (263);

(4) Любкайи хъуыди хорз фæфынай кæнын (471) // Ей надо было хорошо выспаться (370) (в осет. букв. «долго поспать»);

(5) Иу хъазахъхъаг идадз ус æм фæзылд дыууæ къуырийы дæргъы æмæ йæ фервæзын кодта (422) // Вдова – казачка в две недели выходила Туркенича (936) (в осет. букв. «проухаживала»).

Очевидная невозможность процессуализации семантики глаголов этого способа действия связана с «заключенной в них идеей ограниченности протекания определенными временными рамками» [Маслов 1984: 58]. При этом, по справедливому замечанию М.А. Шелякина, глаголы пердуративного способа действия «не поддаются имперфективации в связи с тем, что характеризуют действия не с точки зрения протекания в рамках ограниченного времени, а с точки зрения их временного количества, что сближает значение таких глаголов, с одной стороны, со своеобразной одноактностью (совершение действия как бы в один прием), а с другой стороны, с признаком суммарности» [Шелякин 2001: 72]. Это определение М.А. Шелякина в полной мере может быть отнесено не только к осетинским глаголам пердуративного СД, но и к глаголам осетинского ограничительного СД, характеризованного превербом *а-*, которые не образуют имперфективных пар, и так же, как и русский делимитативный<sup>3</sup> СД, являются глаголами одновидового (перфективного) способа действия.

**Ограничительный СД** образуется от неопредельных (НПД) глаголов или глаголов с подвижной границей по отношению к предельности (ПД / НПД) при актуализации в них неопредельного значения. Например, от глаголов *ненаправленного движения - перемещения*<sup>4</sup>, содержащих сему многократности: *аленк кæнын / поплавать; арабыр-бабыр кæнын / поползать; побродить* и др. От глаголов *статального СД*: *абадын / посидеть; алæууын / постоять; адарын / поддержать; агуырысхо кæнын / посомневаться* и др. От глаголов *многоактного СД*: *агуыр-гуыр кæнын / погременеть; акæл-кæл кæнын / похохотать; арайын / полаять; ахъæрзын / постонать; адæйын / пососать; атилын / потрясти* и др. От глаголов *эволютивного СД*: *адзурын / поговорить; азарын / полететь; акафын / потанцевать; афыцын / поварить; алвисын / попрясти* и др.

<sup>2</sup> В статье приводятся примеры из романа А. Фадеева «Молодая гвардия» на осетинском и русском языке. В скобках к примерам указаны страницы изданий, в соответствии с которыми цитируется текст (на русск. яз.: А.А. Фадеев. Молодая гвардия // Собр. соч. в семи томах. Т. 3. М., 1970; на осет. яз.: А. Фадеев. Æрыгон гварди. Дзæуджыхъæу. 1953).

<sup>3</sup> «В русском языке все делимитативные глаголы не допускают образования имперфективных форм» [Шелякин 2001: 71–72, 80]. См. также [Зализняк, Шмелев 2000: 111–112; Маслов 1984: 58].

<sup>4</sup> В осетинском языке глаголы движения-перемещения не противопоставляются как *однонаправленные / ненаправленные*. Значение *однонаправленности* или *ненаправленности* движения выявляется в контексте.

Как заметил Дж. Грубор, в глаголах ограничительного (делимитативного) СД речь идет только о значении временной завершенности протекания действия [Грубор 1962: 75]. Именно идея ограниченности протекания действия определенными временными рамками обуславливает невозможность представления этих действий как процессуальных. Глаголы осетинского ограничительного СД, так же, как и русские делимитативные глаголы, «никогда не подвергаются вторичной имперфективации» [Зализняк, Шмелев 2000: 112], хотя при этом некоторые русские глаголы делимитативного СД, в отличие от осетинских, «имеют тенденцию к превращению в видовой коррелят» [Там же].

Не поддаются имперфективации в осетинском языке и глаголы **начинательного СД**. Так же, как и в русском языке, идея начала действия выражается в осетинском посредством нескольких образовательных моделей. Этот способ действия характеризуется превербами *a-*, *ба-*, *ны-*, *с-*, *ар-*, *арба-*. Так, например, преверб *a-*, соединяясь с глаголами движения-перемещения при условии актуализации значения однонаправленности в контексте, указывающем на конечную цель движения, выступает показателем начинательности:

(6) *Æмæ сæ дыууæ дæр худгæйæ... азгъордтой цахæрадонмæ* (486) // И они, смеясь..., побежали в сад (382).

Значение начинательности имеют и глаголы с превербом *ар-* в соединении с глаголами эволютивного и статального СД. Например:

(7) Сергей Левашов гитара райста æмæ хæсты размæ модайы чи уыд, ахæм фæсарæйнаг бостон æрцагъта (627) // Сергей Левашов взял гитару и заиграл какой-то модный перед войной заграничный бостон (491);

(8) Марина йæ чысыл лæппуимæ æрцарди хæринаггæнæны æмкъул чысыл уаты... (261) // Марина с маленьким сыном поселилась в комнате рядом с кухней (205) (в осет. букв. «начала жить»);

(9) Катяйы æрфæндыд лæппуйы йæ хъæбысмæ æрбалвасын, йæ зæрдамаæ æрбалхъивын æмæ йыл афтæ бирæ, бирæ фæхацын, æппæт дунейæ дæр æй куыд бааууон кæна (704) // Ей захотелось подхватить его на руки, прижать к сердцу и держать так долго-долго, укрыть от всего света (552).

Преверб *ба-*, соединяясь с мультипликативными глаголами со значением звучания, света, цвета, движения, переводит эти глаголы в группу начинательного СД. Например: *базарын* «запеть»; *бауасын* «замычать»; *базмæлын* «задвигаться»; *баризын* «задрожать»; *бадыз-дыз кæнын* «задрожать, затрепетать»; *баджис-къус кæнын* «заколебаться»; *бадзæгъ-дзæгъ кæнын* «зазвенеть»; *бадзæнгæраг кæнын* «зазвонить»; *базыр-зыр кæнын* «затрястись, задрожать»; *бакæл-кæл кæнын* «захохотать»; *бакъæс-къæс кæнын* «заскрипеть, затрещать, заскрежетать»; *бакъуыззитт кæнын* «засвистеть»; *бакъыбар-къуыбур кæнын* «захрустеть, заскрипеть (зубами)»; *бардиаг кæнын* «зарыдать, заплакать, завопить, заголосить»; *басыр-сыр кæнын* «зашипеть», *басæр-сæр кæнын* «зашипеть (о шипучих напитках)»; *басым-сым кæнын* «засопеть»; *басыф-сыф кæнын* «зашелестеть»; *бахъар кæнын* «закричать» и др.

Как известно, в русском языке «не результативными являются глаголы начинательного, ограничительного, длительно-ограничительного СД» [Бондарко 1975: 63]. В осетинском языке значение результативности присутствует в глаголах начинательного СД, характеризованных превербом *ба-*. В этих глаголах значение начала действия и является по существу результатом, на достижение которого направлено действие. Эту группу глаголов можно выделить как **результативно-начинательный СД**.

Нет этого значения подчеркнутой результативности в осетинских начинательных глаголах, характеризованных превербом *с-*, образованных от неопределенных глаголов, обозначающих так же, как и глаголы с превербом *ба-*, так называемые «гомогенные си-

туации, не имеющие ни начальной, ни конечной фазы, отличной от срединной» [Зализняк, Шмелев 2000: 107]. Например:

(10) «Хуыцау, дауагъ бузыгъ, схъуыдатт кодта», – загъта Любка (475) // «Закудахтал, слава тебе господи», – сказала Любка (374);

(11) Туркенич Тюленины фарс куы фæци, уæд сеппæт дæр рогдæрæй сулæфыдысты... (533) // После того, как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило (478) (в осет. букв.: «все легче задышали»);

(12) Цалдæр æмыр цины хъæры фехъуысти, фæлæ съл алырдыгæй суасыдысты, сабыр, загъгæ (597) // Раздалось несколько приглушенных радостных возгласов, на них защикали (468);

(13) Уый фæстæ цавын райдыдта немъцы артиллери, æмæ адæм понтоныл скатайсты (247) // Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника (195) (в осет. букв. «заволновались, забеспокоились»);

(14) Иууылдæр скорхор кодтой, сдзольгомолгъо сты, сæмдзæгъд кодтой, кафт фенцади... (629) // Все зашумели, задвигались, захлопали, танец прервался (435).

Как и в русском языке, в осетинском языке акциональные значения могут комбинироваться. Способы действия «не отделяются друг от друга какими-то устойчивыми перегородками и не составляют звеньев единой стройной системы... Один способ действия может накладываться на другой. В ряде случаев один и тот же глагол, выступая в разных значениях, принадлежит двум разным способам действия» [Маслов 1959: 188].

Так, например, значение начинательности может в осетинском сочетаться со значением интенсивности, что возможно и в русском языке, см. [Фетискина 1973: 72; Зализняк, Шмелев 2000: 110]. Сочетанием этих акциональных смыслов отличаются глаголы с приставкой *ны-*. Например:

(15) Тося Елисеенко æфта амонджынагъ ныхъхъыллист кодта, æмæ йæм сеппæт дæр фæкастысты æмæ ныххудтысты (556) // Тося Елисеенко завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и засмеялись (436) (в осет. букв. *ныххудтысты* «громко, от всей души засмеялись»);

(16) Сæ сæрмаæ цыдæр ныззæлланг кодта сындаг, стæй уалейæ æркалди бырæттæ (92) // Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор (174) (в осет. букв. «сильно, громко зазвенело»);

(17) Фæлæ, ныр,... Матвей Шульга, чысыл-ма бахъæуа æмæ зæрдæрæдувæг фæсмонтæй ма ныхъхъæрза (441) // Но теперь... Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления (351) (в осет. букв. «громко, сильно застонал»);

(18) Ныууасыдысты фыццаг уасджытæ (378) // Запели первые петухи (301) (в осет. букв. «громко запели»);

(19) «Цæй, дæ хорзæхæй, бакæс исты!» – ныллагъстæ кодта Жорæ (123) // «Ну, ей богу, прочти что-нибудь!» – взмолился Жора (98).

Глаголы с превербом *ны-* в значении интенсивной начинательности выделены нами в **интенсивно-начинательный СД**. С точки зрения взаимоотношений акциональной семантики данного способа действия с категориальным (конкретно-процессным) значением осетинского несовершенного вида очевидна невозможность образования имперфективной пары для глаголов со значением интенсивной начинательности. Значение начинательности сопротивляется идее процессуальности, так как в глаголах начинательного СД «выражается момент возникновения действия, первый временной момент его бытия... Начинательный СД характеризуется признаком одноактности, которая не допускает представления о процессуальности» [Шелякин 2001: 71, 79], см. также [Маслов 1984: 58; Бондарко 1975: 63–65; Зализняк, Шмелев 2000: 106]. Исследователи русских способов глагольного действия отмечают, что к факторам, обуславливающим одновидовой (перфективный) характер предельных глаголов, относится также и значение под-

черкнутой интенсивности действия [Шелякин 2001: 72]. Очевидно, что видовая несоотнесенность осетинских глаголов интенсивно-начинательного способа действия объясняется теми же, что и в русском языке причинами – влиянием определенных аспектуально-акциональных факторов. Значения «начинательности» и подчеркнутой «интенсивности» выступают как «препятствия» для имперфективации.

В глаголах, характеризованных превербом *арба-*, значение начинательности дополняется значением «внезапности, неожиданности» действия: *арбазыр-зыр кæнын* 'затрястись внезапно'; *арбаниуын* 'зарыдать неожиданно'; *арбарынчын уын* 'внезапно заболеть'; *арбаймысын* 'моментально выдумать' и др.

Глаголы этой разновидности осетинского начинательного СД, выделяемые нами как глаголы **внезапно-начинательного СД**, не имеют имперфективной пары со значением процессности, поскольку кроме начинательности, «сопротивляющейся» процессуальности, еще и идея «внезапности», «неожиданности», «моментальности» начавшегося действия исключает возможность представления такого способа действия в процессе, в развертывании. Аналогичная картина и в русском языке. Ю.С. Маслов выделяет разряд глаголов «мгновенного, внезапного действия, часто неожиданного для говорящего или для лиц, о которых идет речь» как непарных глаголов совершенного вида: «здесь перед нами мгновенные, внезапные события, не могущие быть представленными как длящийся, растянутый во времени процесс, скачки, не поддающиеся процессуализации» [Маслов 1984: 57].

Как и в русском языке [Зализняк, Шмелев 2000: 118–120], не имеют имперфективных пар осетинские глаголы однократного способа действия. «Одноактность действия в широком смысле слова не допускает представления о процессуализации и является признаком, влияющим на одновидовой (перфективный) характер предельных глаголов» [Шелякин 2001: 71]. **Однократный СД** в осетинском характеризуется приставками *ны-*, *с-*, *фа-*, *ба-*. Как правило, глаголы этого СД образуются от глаголов со значением итеративности или мультипликативности, причем каждая из приставок привносит в перфективируемый глагол какое-то дополнительное значение. Например, приставка *ба-* вносит значение подчеркнутой результативности.

(20) Фæлæ йæ Иван Федорович куыддæр бауыгъта йе уæхскæй æмæ йын ног хабæрттæ радзырдта, афтæ йæ хуыссæг арбайсæфти (678) // Однако сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за плечи и передал ему свои новости (532).

Осетинский глагол не только обозначает однократный характер действия, но и подчеркивает результативность этого «акта» действия. Более выразительно эту особенность в семантике осетинских глаголов можно проиллюстрировать сравнением следующих примеров:

(21) Æмæ, чи зоны, цæмæн, Валяйы зардыл æвиппайды арбалæууыди Сережкæ, бæгъæввадæй, æмæ йын йæ зардæ бариуыгъта амондджын фæлмæн рис, æмæ фæурæдтæ йа ныхас (555) // Валя вспомнила вдруг Сережку, худенького, босого и такая счастливая нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала (436) (русскому глаголу *пронзила* соответствует осетинский глагол *бариуыгъта*, что буквально означает «сильно толкнула», т.е. выбор осетинского эквивалента обусловлен именно присутствием в семантике осетинского глагола *бариуыгъын* «сильно толкать» подчеркнутого значения результативности, присутствующего в семантике лексики *пронзила*).

Подчеркнутое значение результативности в глаголах однократного СД, характеризованного приставкой *ба-*, еще более усиливает невозможность представления обозначенных ими действий как находящихся в процессе и, тем самым, еще более обуславливает их видовую (перфективную) несоотнесенность. Глаголы с приставкой *ба-* могут

быть выделены в особую разновидность однократного СД, в группу глаголов **результативно-однократного СД** [Левитская 1983: 42].

В глаголах с приставкой *ны-* значение однократности осложняется значением интенсивности, например:

(22) «Ма сай!» – ныхъхъар кодта фыд æмæ йæ къухы тигъæй стъол ныххафт ласта (560) // «Не врать!» – взвизгнул отец и ударил ребром ладони по столу (440) (в осет. букв. *ныхъхъар кодта* «громко крикнул»; *ныххафт ласта* «ударил с силой»);

(23) «Мах та цаугæ фæкæнæм»,... – загъта Олег æмæ йæ къæхты бынай ныуулафдыди. (78) // «А мы уезжаем», – сказал Олег и глубоко вздохнул (63) (в осет. букв. русскому *глубоко* соответствует *къæхты бынай*; а форма *ныуулафдыди* дополнительно указывает благодаря приставке *ны-* на интенсивность обозначенного действия – «вздохнул глубоко»).

В русском языке тоже возможна комбинация значений интенсивности и однократности действия, см. [Фетискина 1973: 72, 84], причем значение подчеркнутой интенсивности действия относится, как мы отметили выше, к факторам, обуславливающим *однови́довой (перфективный) характер глаголов*, см. [Шелякин 2001: 72]. В осетинском языке глаголы данной разновидности однократного СД, выделенные нами в разряд **интенсивно-однократного СД** [Левитская 1983: 44–45], тоже не имеют имперфективных форм.

Приставки *с-* и *фæ-* выступают показателями однократного значения, если соединяются с глаголами, обозначающими так называемые гомогенные ситуации, не имеющие ни начальной, ни конечной фазы, отличной от срединной [Зализняк, Шмелев 2000: 107], и при этом включающие в свой семантический потенциал возможность представления действия как многоактного или одноактного, многократного или однократного. Никаких дополнительных акциональных оттенков перфективируемым глаголам они не сообщают. Например:

(24) «Æз дзы схуыпп кодтон, – тарæрфыгæй сразы Валько, – фæлаæ йæ æххæстæй нæма банызтон» (247) // «Я уже испил, – мрачно согласился Валько, – да еще не всю чашу» (195) (в осет. букв.: «хлебнул»);

(25) «Æцаг, Валя уыцы мыггаг куы ской кодта, уæд Тося, цыма ахæмы нæ зоны, уы́ау йæхи скодта» (554) // «Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого» (435);

(26) Чызг цырд фæзылди фæстæмæ æмæ зына-нæзына фестъæлфыди (141) // Она быстро обернулась и чуть вздогнула (111);

(27) «Хъус, бакæс-ма дзы исты, уарзондзинады тыххæй, нæ?» – æмæ Жора йæ цæст фæныкъуылдта майормæ (122) // «Слушай, прочти что-нибудь любовное, да?» – и Жора подмигнул майору (97).

Приставка *æрба-*, соединяясь с итеративами или мультипликативами, образует *однови́довые (перфективные) глаголы* со значением неожиданной, внезапной однократности, например: *æрбакъæрци кæнын* «неожиданно, внезапно хлопнуть, ударить»; *æрбакъуыззитт кæнын* «внезапно свистнуть, просвистеть»; *æрбарæхойын* «неожиданно уколоть, пырнуть»; *æрбасæрратт кæнын* «прыгнуть внезапно»; *æрбасæххæтт кæнын* «неожиданно облить, брызнуть водой на кого-либо» и др. Глаголы этой группы могут быть выделены в отдельный **внезапно-однократный СД**.

Как и в русском языке, акционально-аспектуальная семантика и однократности, и внезапности не допускает одновременного представления этих же действий как находящихся в процессе [Шелякин 2001: 71–72].

Большую группу *однови́довых глаголов* в современном осетинском языке составляют глаголы *о б щ е р е з у л ь т а т и в н о г о с п о с о б а д е й с т в и я*, часто характери-



зующиеся дополнительными аспектуальными признаками, как и глаголы специально-результативных СД в современном русском языке [Шелякин 2001: 75, 78].

Так приставка *a-* в соединении с так называемыми квалификативными глаголами<sup>5</sup> обозначает действия подчеркнутой результативности (иногда частичной, неполной), зачастую с дополнительным значением быстроты действия. Например, с глаголами, имеющими значение наделения объекта цветовым или световым признаком: *аморае кæнын* «покрасить в коричневый цвет, сделать коричневым»; *аурс кæнын* «побелить, сделать белым»; *абур кæнын* «покрасить в желтый цвет, сделать желтым» и т.п.; или значение получения объектом / придания объекту новой формы, вида, состояния и т.п.: *абийын* «заплести»; *абæттын* «завязать»; *адасын* «сбрить»; *агуыбыр кæнын* «сгорбиться»; *алаггъз кæнын* «разгладить»; *аздухын* «завить, скрутить»; *абæзджын кæнын* «уплотнить»; *азæронд кæнын* «состарить» и др.

Сюда же следует отнести и глаголы, действие которых совмещает значения «направленности на специальную обработку объекта и придание ему каких-либо свойств, признаков» [Шелякин 1972: 206]. Например: *алдыгъ кæнын* «подубить кожу»; *адæрзæг кæнын* «сделать жестким, шероховатым»; *азынг кæнын* «накалить»; *авдалон кæнын* «опорожнить» и др.

Причем, в семантику осетинских глаголов приставка *a-* вносит значение именно частичной результативности, близкое к значениям таких русских специально-результативных СД, как смягчительный (аттенуативный) СД, обозначающий ослабленную, неполную степень проявления результативного действия (*побелить, подкрасить, надломить* и др.), и недостаточно-нормативный СД, выражающий результат действия, не отвечающий необходимой норме (*недоварить, недолечить, недоплатить* и др.). Как отмечает М.А. Шелякин, действия такого типа «не могут быть представлены в процессе их протекания» [2001: 77]. Специально-результативный способ действия, маркированный превербом *a-*, можно выделить как **частично-результативный СД**. Особенно наглядно эта особенность семантики осетинских образований с приставкой *a-* от глаголов вышеназванных лексико-семантических разрядов проявляется в сравнении с другими приставочными образованиями от глаголов этих же групп. Сравним: русскому глаголу *ослабеть* соответствуют осетинские глаголы: *аламагъ уын*; *æрламагъ уын*; *æрбаламагъ уын*; *баламагъ уын*; *нылламагъ уын*; *сламагъ уын*; *фааламагъ уын*. Каждый из осетинских глаголов, кроме значения 'ослабеть', включает в свою семантику дополнительные акционально-аспектуальные характеристики: *аламагъ уын* «ослабеть» с подчеркиванием незначительной степени интенсивности проявления признака 'ослабеть едва заметно, чуть-чуть'; *æрламагъ уын* «ослабеть», подчеркнута неполное нарастание признака 'слабый' в количественном отношении – 'ослабеть не до конца, не совсем, не полностью'; *æрбаламагъ уын* «ослабеть внезапно, быстро, неожиданно»; *баламагъ уын* «ослабеть» с выделением значения подчеркнутой результативности действия; *нылламагъ уын* «ослабеть сильно», в значении 'обессилеть'; *сламагъ уын* «ослабеть», подчеркнута значение предельного нарастания признака 'слабый' в количественном отношении, полная исчерпанность процесса 'ослабеть полностью, до конца'; *фааламагъ уын* «ослабеть», в значении 'стать слабее в сравнении с подразумеваемым исходным состоянием'.

К глаголам вышеобозначенных лексико-семантических групп, от которых образуется общерезультативный СД, относятся также и следующие разряды глаголов: глаголы эмоционального, волевого, психологического, речевого воздействия, предпринимаемого с целью вызвать определенные признаковые свойства или состояния у одушевленно-

<sup>5</sup> Квалификативными мы вслед за М.А. Шелякиным называем глаголы со значением действий, «направленных на частичное изменение признаковых свойств их объектов или субъектов, при котором возникают или должны возникнуть одновероятные отношения между признаком и предметом: предмет / объект или субъект / ... наделяется тем признаком, который называет данное действие» [Шелякин 1972: 205–214].

го объекта: *афхæрын* «обидеть»; *агуыппæг кæнын* «ошеломить»; *ацахуыр кæнын* «подучить» и т.д. К ним примыкают глаголы со значением речевого воздействия, предпринимаемого с целью вызвать представление о признаковых свойствах (обычно неблагоприятных) одушевленного объекта, например: *ацардауын* «натравить, подговорить»; *адам кæнын* «оклеветать» и др. Или оказать влияние на его поведение, например: *аппалын* «похвалить»; *ацыбæл кæнын* «соблазнить»; *афидауын* «сговориться, помириться, просватать»; *афауын* «осудить, выразить неодобрение»; *ауынаффа кæнын* «посоветовать»; *аудын* «повлиять, позаботиться» и др. Это же значение подчеркнутой результативности отличает и так называемые деструктивные глаголы, которые не имеют видовой имперфективной пары. Это глаголы со значением «воздействия с целью разрушения, полного изменения, порчи» или со значением «прекращения существования, уничтожения, расходования объекта или субъекта (*мять, колоть, рвать, ломать, трескаться, таять, гнить* и др.)» [Шелякин 1972: 208]. В осетинском это такие глаголы, как, например: *абазар кæнын* «распродать»; *азаууат кæнын* «опустошить»; *аиппæрд кæнын* «отделить»; *акардын* «покрошить»; *айсафын* «погубить»; *айсæфын* «исчезнуть»; *айсысын* «испариться»; *адих кæнын* «отрезать» и др.

Кроме названных лексико-семантических групп глаголов можно привести еще целый ряд глаголов с подвижной границей предельности / неопределенности, при соединении с которыми (при актуализации их предельного значения!) в приставочном глаголе выражается подчеркнутое значение результативности действия. Например: *абарын* «измерить, взвесить»; *аба кæнын* «поцеловать»; *авналын* «тронуть»; *агамаел кæнын* «насторожиться»; *агуыпп кæнын* «заглохнуть»; *азмаентын* «смешать»; *айгас кæнын* «оживить, вылечить» и др.

Не имеют также имперфективной видовой пары и приставочные глаголы со значением однонаправленного движения-перемещения (например: *абырын* «уползти, отползти»; *адавын* «отнести»; *агапп кæнын* «прыгнуть»; *айсын* «убрать»; *алидзын* «убежать»; *ацауын* «уйти» и др.). Причем глаголы этой группы отличаются видовой (перфективной) непарностью даже при отсутствии такой акционально-аспектуальной семантики, которая могла бы служить объяснением причины несовмещения с идеей процессности и, тем самым, могла бы обуславливать их видовую несоотнесенность, как, например начинательность, внезапность, частичная результативность, интенсивность действия и т.д., о чем речь шла выше.

Отсутствие у перфективных глаголов движения-перемещения, образованных с помощью приставки *а-*, видовой пары с аффиксом *-цай* объясняется действием других факторов, о чем будет идти речь ниже, при рассмотрении вопроса о видовой несоотнесенности глаголов движения-перемещения с приставками *а-*, *ба-*, *ны-*.

Что касается глаголов специально-результативных способов действия, характеризованных приставкой *ба-* и приставкой *ны-*, то в их семантике присутствуют такие акционально-аспектуальные значения, вносимые этими превербами, которые не допускают представления обозначаемых действий как процессных. Так, в приставочных глаголах с *ба-* значение подчеркнутой результативности сопровождается обычно «значением основательности действия с различными оттенками, из которых наиболее характерны такие, как полнота совершения действия, или интенсивность действия, или реализация его с помощью особого усилия, полная исчерпанность действия или его необратимость» [Цаболов 1957: 343–344]. Например:

(28) Валько цы фатеры æмбæхст уыд,... уым æвиппайды немъц баджигул кодтой (427) // Так квартира, где скрывался Валько,... внезапно подверглась обыску (340) (в осет. букв. «подверглась тщательному, основательному обыску»);

(29) Бацагур æмæ ссардзынæ. Æрмæст уый у сусæг хъуыддаг æмæ кæмæ фанды ма цу (175) // Поищи и найдешь. Только это дело серьезное, ты к случайным людям не ходи (138) (в осет. букв. «поищи как следует, основательно»);

(30) «Катя, æнхъæлмæ кæсынай байстадтæ?» (100) // «Заждалась Катя?» (80) (в осет. букв. «изнемогла в ожидании, истощила всякое терпение в ожидании»);

(31) Фæлæ-ма ды афæлвар, азæй-азмæ, бонæй-бонмæ, сахаты хуызæн, милуангай гектартæ зæхх бахуым кæнын, байтауын, хор бафснайын, банай кæнын (447) // А попробуй-ка ты из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить (355) (в осет. глаголы, соответствующие русским *вспахать*, *посеять*, *убрать хлеб*, *обмолотить*, имеют дополнительное значение полноты действия, основательности, реализации его с помощью значительного усилия).

Очевидно, что оттенки подчеркнутой специальной результативности, вносимые приставкой *ба-* в семантику приставочных глаголов, образованных от предельных глаголов или от глаголов с подвижной границей ПД/НПД, при актуализации их предельного значения, не допускают представления соответствующих действий как процессных. Выделяемый в глаголах этого способа действия, обозначенного нами как **основательно-результативный СД**, акционально-аспектуальный смысл аккумулирует внимание на факте «особой результативности», т.е. на семантике, допускающей только форму совершенного вида. Эти значения близки значениям русских качественно-результативных способов действия [Шелякин 2001: 78].

Как отмечалось нами выше, самым ярким, главным акциональным значением приставочных образований с префиксом *ны-* является значение интенсивности, повышенной экспрессивности действия.

В глаголах, образованных от основ предельной семантики с помощью приставки *ны-*, обозначается полнота результата, полная исчерпанность действия, тщательность действия в сочетании со значением повышенной интенсивности и экспрессивности: *нылламарын* «выжать, отжать, выдавить (с силой)»; *ныххурх кæнын* «задушить, удавить (на смерть, с силой)»; *нынныхсын* «застрянуть (глубоко)»; *ныннамын* «утрамбовать (основательно)»; *ныссаттын* «сломать (грубо, совсем)»; *ныссæлын* «замерзнуть (очень)»; *ныххус кæнын* «иссушить (чересчур высушить)»; *ныххуылыдз уын* «промокнуть (до ниточки)»; *ныззæгæл уын* «вцепиться (крепко)»; *ныффыдхуыз уын* «похудеть (очень сильно)»; *ныззыввыттытæ кæнын* «бросить, швырнуть (с силой)»; *нытътъанг уын* «растянуться (чрезмерно)»; *ныиурд кæнын* «озарить»; *ныттыхсын* «обнять, обвить (крепко)»; *ныссуйтæ уын* «запутаться, растеряться (вконец)»; *ныддæрæн кæнын* «разгромить, разбить наголову, в пух и прах»; *ныццагъдын* «истребить, уничтожить (полностью)»; *ныххъивын* «стиснуть, сдавить, прижать (сильно)»; *ныхгæнын* «закрывать (прочно, тщательно), закупорить»; *ныддис кæнын* «очень удивиться» и др.

Эта особенность семантики приставочных образований с *ны-* позволяет обозначить данный специально-результативный способ действия как **интенсивно-результативный СД**, отличающийся одновидовым (перфективным) характером, как и соответствующие русские специально-результативные СД (см. [Шелякин 2001: 72]), именно по причине выделения в семантике глаголов этого способа действия подчеркнутой интенсивности, эмоционально-экспрессивной окрашенности действия, что и предполагает повышенную сосредоточенность внимания «на факте как таковом, на факте в его неразложимой, не поддающейся развертыванию целостности» [Маслов 1959: 202].

В отдельный одновидовой (перфективный) специально-результативный СД выделены нами глаголы с приставкой *с-*, образованные от основ предельных значений, в которых значение достигнутого результата осложняется подчеркнутым значением окончательности действия, полной его исчерпанности в пределах допустимой (применительно к данному действию) нормы. Этот способ действия обозначен нами как **нормативно-результативный СД** [Левитская 1983: 47]. Приведем для сравнения следующие примеры: *срасыг уын* «напиться, опьянеть» – *ныррасыг уын* «опьянеть сильно»; *счъизи кæнын* «запачкать» – *нычъчъизи кæнын* «запачкать сильно»; *ссыгъдæг кæнын* «очистить» – *ныссыгъдæг кæнын* «вычистить основательно, тщательно» – *асыгъдæг кæнын* «почистить слегка»; *сбарзонд кæнын* «поднять, возвысить» – *фабарзонд кæнын* «поднять выше относительного исходного состояния, положения» – *абарзонд кæнын* «поднять слегка» – *ныббарзонд кæнын* «поднять очень высоко, вознести»; *сбур уын* «пожелтеть» –

*абур уын* «пожелтеть слегка» – *ныббур уын* «пожелтеть очень сильно» – *фабур уын* «стать желтее относительно исходного состояния» и др.

С большой группой предельных глаголов со значением 'приобретать признак / надевать признаком, названный/-ым мотивирующим прилагательным', преверб *фа-* образует лексемы с общим семантическим компонентом: 'большая степень проявления признака в сравнении с его исходным проявлением, обозначенным производящим глаголом'. Например: *хус канын* «сушить» – *фахус канын* «подсушить»; *уазал канын* «остывать, мерзнуть, становиться холоднее» – *фауазал канын* «подмерзнуть, стать более холодным»; *къаддæр канын* «уменьшаться» – *факъаддæр канын* «стать меньше»; *чъизи канын* «пачкаться» – *фачъизи канын* «стать грязнее»; *сырх канын* «краснеть» – *фасырх уын* «покраснеть, стать более красным»; *даргъ канын* «удлиняться» – *федаргъ уын* «стать длиннее»; *фæлурс канын* «бледнеть» – *фæфæлурс уын* «побледнеть»; *хъæддых канын* «крепнуть» – *фæхъæддых уын* «окрепнуть, стать покрепче»; *факарз уын* «стать более серьезным»; *фауæззау уын* «стать тяжелее» и др.

Глаголы данной лексико-семантической группы близки русскому с м я г ч и т е л ь н о м у ( а т т е н у а т и в н о м у ) С Д, выражающему «ослабленную, неполную степень проявления результативного действия: *подкрасить, примять, надломить* и т.п.» [Шелякин 2001: 76]. В отличие от русских глаголов смягчительного СД осетинские глаголы не только указывают на небольшую степень проявления признака, а подчеркивают, что эта степень проявления признака небольшая именно в сравнении с исходным состоянием данного признака. Данный специально-результативный СД можно обозначить как **сравнительно-результативный СД**. Специфика акционально-аспектуальной семантики глаголов данного способа действия более наглядно проявляется в одном ряду с глаголами других специально-результативных СД: **нормативно-результативного СД (с-), интенсивно-результативного СД (ны-), основательно-результативного СД (ба-), частично-результативного СД (а-), а также с глаголами моментально-результативного СД, характеризованного превербом *æрба-***. Этот преверб, соединяясь с глаголами предельной семантики, вносит значение действия, совершившегося быстро, моментально, внезапно, неожиданно. Например: *æрбабур уын* «стать желтым быстро, внезапно»; *æрбазымаг канын* «наступить быстро (о зиме)»; *æрбамарын* «внезапно убить»; *æрбамой канын* «неожиданно выйти замуж»; *æрбафæллаын* «быстро утомиться»; *æрбафтын* «неожиданно оказаться, очутиться»; *æрбамæлын* «внезапно умереть»; *æрбамигъ канын* «быстро сгуститься (о тумане)»; *æрбасийын* «быстро замерзнуть»; *æрбамбийын* «быстро прогнить» и т.д.

Очевидна несовместимость акционально-аспектуальной семантики глаголов данного специально-результативного СД с идеей процессности: подчеркнутая неожиданность, непредвиденность, внезапность, моментальность наступления результата действия не допускает представления этих действий в течении, в развитии. Подобная картина наблюдается и в современном русском языке: глаголы с названными аспектуальными признаками являются одновидовыми, перфективными [Шелякин 2001: 72]. Важно отметить, что и в русском и в осетинском языке многие глаголы этого способа действия имеют эмоционально-стилистическую окраску: *æрбайсæфын* «улетучиться»; *æрбамой канын* «выскочить замуж»; *æрбамæлын* «скончаться внезапно»; *æрбамæгуыр канын* «прикинуться бедным, прибедниться»; *æрбалабурын* «вломиться, ворваться»; *æрбахæлаф канын* «нахлынуть(о толпе)»; *æрбахæрын* «сжить со свету, сожрать» и др. Это обстоятельство также влияет на аспектологическую характеристику действия, а точнее, усиливает смысл, обуславливающий их одновидовой перфективный характер. Как отмечалось нами выше, любая стилистически окрашенная передача действия «сосредоточивает внимание на факте как таковом, на факте в его неразложимой, не поддающейся развертыванию целостности» [Маслов 1959: 202], вот почему глаголы с выраженными эмоционально-экспрессивными признаками обладают только формами совершенного вида [Шелякин 2001: 73].

Осетинские приставочные образования с префиксом *æр-*, образованные от глаголов предельной семантики, или точнее, от глагольных основ предельных значений, близки

по значению русским глаголам а т т е н у а т и в н о г о (смягчительного) СД<sup>6</sup>, которые выражают «ослабленную, неполную степень проявления результативного действия: *припудрить, наиграть (мелодию), застирать (пятно)* и т. д.» [Шелякин 2001: 76]. Например:

(32) *Æхсæвæй, бокай – кæддæриддæр на къæктыл, æрбадын амал дæр нын нæ уыд...* (86) // И днем, и ночью – все на ногах (69) (в осет. букв. «возможности присесть даже не было»);

(33) *Хур æй æртафта, æмæ йæ дарæсай тæф уæлаæмæ цауы* (385) // Солнце пригревает его, и от одежды его поднимается пар (306) (в осет. букв. «пригрело»);

(34) *Толя Орлов æмæ Ваня фенцой кодтой Валодяйæн, Жорæ та йын йæ цыбыр хæлаф чысыл æрдæлаæмæ кодта æмæ йын йæ бинт райхæлдта* (113) // Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его трусы и разбинтовал его (90) (в осет. букв. «немного, слегка приспустил», причем это значение усиливается и наречием *чысыл* «немного»);

(35) *Гъе уыдæттæ бараны тæбæгътай иуы æрластой дæлаæмæ...* (180) // Все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу (143) (в осет. букв. «перевесили слегка, немного потянули вниз»);

(36) *Ваняйы фыд авипайды æрсасти, æмæ йæ урсзагъд цæстытæ æрмынаг сты* (563) // Отец Вани вдруг сразу сломался, и белесые глаза его потускнели (442) (в осет. букв. *æрсасти* «надломился»).

В осетинском языке глаголы с префиксом *ær-* со значением неполной степени проявления предельного действия имеют большую семантическую нагрузку, чем соответствующие им русские глаголы: они не просто указывают на неполную степень проявления действия, а содержат дополнительный смысл – подчеркивают незначительность проявления действия в количественном отношении, т.е. маркируют степень (объем) неполноты.

Наиболее наглядно эта особенность значения данной группы глаголов с приставкой *ær-* проявляется при сравнении с другими приставочными глаголами, производными от одной основы, но с помощью разных превербов. Особенно показательны примеры с глаголами, обозначающими процесс (действие) надления признаком, например: *æталынг уын* «потемнеть слегка», *æрталынг уын* «стемнеть, потемнеть» в значении, близком русскому стуситься (о сумерках), *потемнеть* с неполным нарастанием признака; *æрбаталынг уын* «потемнеть внезапно»; *баталынг* «стемнеть» с подчеркнутым результатом 'стать темным'; *фæталынг уын* «потемнеть; стать темнее в сравнении с предыдущим, исходным состоянием».

Именно вот это значение «незначительности» проявления действия, его отмеченной количественными рамками неполноты, отличающее осетинские лексемы в сравнении с русскими эквивалентами, и объясняет, почему глаголы осетинского **смягчительного** СД, характеризованного превербом *ær-*, не имеют имперфективных видовых пар с аффиксом *-цæй-*, тогда как глаголы русского а т т е н у а т и в н о г о СД, «как правило, все образуют формы НСВ» [Шелякин 2001: 77].

<sup>6</sup> Этот способ действия включен М.А. Шелякиным в группу количественно-интенсивных СД. Они «характеризуют ту или иную степень интенсивности в проявлении результативных действий, соответствующим образом отраженную на объекте или субъекте действия. Обозначение степени интенсивности, как и обозначение определенного объема, является дополнительным аспектуальным признаком, сопровождающим значение общерезультативного СД исходных глаголов» [Шелякин 2001: 76]. Количественно-интенсивные СД являются разновидностью количественно-результативных СД, представляющих собою большую группу специально-результативных СД русского глагола, включающих в себя также и качественно-результативные СД, и результативно-обстоятельственные СД [Шелякин 2001: 75].

Как известно, видовая парность распространяется на такие предельные глаголы, действия которых контролируются или наблюдаются с точки зрения целостной / нецелостной разновидности их проявления [Шелякин 2001: 71]. Если же в семантике глагола выделяется как акционально-аспектуальная доминанта идея незначительного в количественном отношении проявления действия, причем именно это значение подчеркивается как результат, то очевидна невозможность представления этого же значения в процессуальном плане, в течении, в развитии. Эти глаголы не поддаются имперфективации именно в связи с тем, что характеризуют действия не с точки зрения протекания в течение какого-либо ограниченного времени, в пределах какого-то объема или других параметров действия-процесса, а с точки зрения смыслового выделения идеи незначительного количества проявления действия, т.е. четко выделены рамки, ограничители обозначенной неполноты.

Большую группу приставочных глаголов с *æp-* составляют лексемы, в значении которых выделяется семантический элемент 'основательности, тщательности' [Багаев 1965: 287] результативного действия, или действия постепенного, основательного, иногда медленного, осторожного характера [Цаболов 1957: 342–343]. Например:

(37) Цалдæр боны дæргъы лæппутæ фауыгътой шрифты баззайæггæгтæ, фæразонæй сыджыт сызмæнтгæйæ... æмæ афтæмæй æруыгътой шрифтæй цы баззад, уый (536) // В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в земле, ребята находили остатки шрифта и выбрали все, что там было (421) (в осетинском варианте русскому глаголу *находили* соответствует форма *фауыгътой* от глагола *уидзын* «клевать, собирать, выбирать», означающая букв. «выбирали в течение какого-то времени», а русскому глаголу *выбрали* – форма *æруыгътой*, подчеркивающая основательность, тщательность действия);

(38) «Ануварс æй кæнæм, лыстæг æм æркæсдзыстæм», – загъта Анатолий (402) // «Оставить, присмотримся», – сказал Анатолий (320) (в осет. букв. «внимательно, детально до мелочей изучим, приглядимся со всех сторон»);

(39) Лисичанскы цы æфсæдтæ уыд, уыдон фæстæмæ – фæстæмæ рацыдысты æмæ ам сæхи æрфидар кодтой (150) // А наши отошли, заняли тут оборону (119) (в осет. букв. «прочно, основательно укрепились, закрепились»);

(40) Сережка æвг æрлыг кодта алмасийæ æмæ йæ рафтыдта. Уыцы куыст кæнын хъуыд быхсгæйæ (649) // Сережка выдавил стекло... и вынул его. Работа эта требовала терпения (549) (в осет. букв. «выдавил [вырезал] старательно [осторожно, тщательно]») и др.

Глаголы с такой семантикой отнесены нами к **специально-результативному СД**, который не имеет абсолютно адекватной по содержанию параллели среди русских способов действия. С одной стороны, этот способ действия может быть сближен с русскими количественно-результативными СД, в частности с **тотальным СД**, имеющим значение «исчерпывающего распространения действия на весь объект или субъект» [Шелякин 1972: 439] и выражающим крайнюю степень интенсивности действия, проявляющейся в его рассредоточенном воздействии на весь объект или субъект. Глаголы данного способа действия «являются, как правило, одновидовыми, так как он соотносится с суммарно-интегративным значением СВ. Встречаются и редкие имперфективные формы, но со значением кратности: *изранить, исчерпать, исчертить, израсходовать; вытоптать, выпачкать* и т. д.» [Шелякин 2001: 77]. С другой стороны, глаголы данного осетинского специально-результативного СД сближаются с русскими качественно-результативными СД, характеризующими специфическую качественную эффективность в осуществлении результативных действий с помощью таких адverbиальных показателей, как «хорошо», «тщательно», «старательно», «как следует» и т.д. И все же, на наш взгляд, данный осетинский способ действия ближе к **осложненно-характеризующему СД**, выделенному М.А. Шелякиным в качестве отдельного качественно-результативного СД как «указывающий на тщательность и раздельность этапов выпол-

нения действия, на качественную эффективность каждого момента: тщательно выписать (буквы), вымерить расстояние и под.» [Шелякин 2001: 78].

Семантическая двойственность осетинских глаголов данного способа действия, одновременная близость их и к глаголам тотального СД, и к глаголам осложненно-характеризующего СД позволяет нам обозначить данный способ действия как **тотально-качественный СД** [Левитская 1983: 40]. Комбинация вышеотмеченных акционально-аспектуальных характеристик в рамках глаголов одного способа действия объясняет и их одновидовой (перфективный) характер.

Значение осетинских приставочных глаголов с префиксом *ра-* близко значению глаголов русского распределительного (дистрибутивного) СД, в которых дополнительно к значению достижения результата обозначается поочередное распространение действия на ряд объектов или исходящее от ряда субъектов: *поснимать, поморить, покусать, переломать, перебить, перетаскать* и т.д. [РГ 1980: 603]. Сравним:

(41) *Æмæ загъд райтыцта, Ваняйы хо Нина цъайæ дон куы' рбахаста æмæ Фомины марды хабар куы рафæзмыдта, стæй уыдæтты фæдыл цытæ дзурынц, уый, уæд (560) // И гроза разразилась, когда сестра Нина, сходя по воду к колодцу, принесла слух о казни Фомина и то, что об этом говорят (439) (в осет. букв. «пересказала» [новость о смерти Фомина и все, что об этом / в связи с этим говорят]);*

(42) *Оля къамтæ райуæрста (346) // Оля сдала карты (275) (т.е. поочередно раздала каждому определенное количество карт) и др.*

Р.Л. Цаболов, один из первых исследователей осетинских глагольных приставок, определяет дистрибутивное значение осетинских глаголов с приставкой *ра-* следующим образом: «Глаголы с приставкой *ра-* характеризуют действие как происходящее в разных местах одновременно или в некоторой последовательности, с поочередным охватом большого количества объектов: *Равæрдтой фынгтæ æмæ нарт куывды бадынц Уырызмаджы хæдзары // Расставили столы и сидят нарты на пиру в доме Уырызмага; Рамбырд кодтой се'дзæм мæрдты æмæ тигъæй фæфале сты // Подобрали нарты своих безмолвных убитых и скрылись за уступами гор» [Цаболов 1957: 341].*

Глаголы дистрибутивного СД в современном русском языке – всегда несоотнесительные по виду, перфективные [РГ 1980: 604]. Как отмечает М.А. Шелякин, в глаголах дистрибутивно-распределительного СД, или дистрибутивно-суммарного СД, признаком, влияющим на одновидовой (перфективный) характер предельных глаголов, является «значение пантивной суммарности объективно многократного или длительного проявления действия... В глаголах данного способа действия подчеркивается значение итогового результата или итогового количества времени проявления действия, что соответствует только семантике СВ» [Шелякин 2001: 72]. Отмеченная М.А. Шелякиным особенность акционально-аспектуальной семантики русского распределительного способа глагольного действия со значением суммарного итогового результата выявляется и в глаголах осетинского распределительного СД, что, очевидно, так же, как и в русском языке, объясняет их видовую (перфективную) несоотнесительность.

Таким образом, исследование особенностей семантики осетинских способов глагольного действия показывает, что так же, как и в русском языке, на взаимодействие с категорией вида, в частности на видовую (перфективную) несоотнесительность осетинских приставочных глаголов, влияют такие, очевидно, универсальные акционально-аспектуальные признаки, как значение однократности (одноактности) действия; начинательности действия; неожиданности, непредвиденности, моментальности, внезапности наступления результата; временной ограниченности неопредельных действий; пантивной суммарности объективно многократного или длительного проявления действия; подчеркнутой интенсивности действия, его эмоционально-экспрессивной окрашенности, а также различные специальные оттенки (разновидности значения) результативности, представленные в способах действия сопоставляемых языков в разных комбинациях. Эти комбинации, по справедливому замечанию М.А. Шелякина, могут совпадать и отличаться не только набором денотативных значений, они специфичны в сигнификативном и экспрессивно-стилистическом отношении, что, несомненно, отражается на видо-

вых свойствах соответствующих глаголов [Шелякин 1972: 238]. Истоки универсальности вышеназванных акционально-аспектуальных признаков «коренятся в общих закономерностях отражения объективной действительности в человеческом сознании, т.е. в единстве мира и единстве его восприятия людьми в процессе их деятельности» [Бондарко 2001: 31]. Что касается различной степени обязательности и частотности выражения того или иного смысла при обозначении типовых ситуаций в разных языках, отражающих различную значимость отдельных категориальных смыслов для различных языковых картин мира, то эти различия можно считать проявлением своего рода языковой относительности в сфере грамматики. Категориальная видовая семантика и организация аспектуальной системы задают определенные ракурсы видения ситуации и могут накладывать ограничения на возможные способы ее представления [Якобсон 1985: 231–238; Петрухина 2001: 61]. Как подчеркивал С.Д. Кацнельсон, «содержание языковых форм представляет собой амальгаму универсальных и идиоэтнических функций» [Кацнельсон 1972: 14].

Наши наблюдения над глаголами *perfectiva tantum* в осетинском языке будут неполными, если мы в связи с вышеизложенным не рассмотрим вопрос о видовой (перфективной) несоотнесенности приставочных глаголов с префиксами *a-*, *ба-*, *ны-*, образованных от глаголов движения-перемещения.

Как отмечалось выше, в глаголах этой лексико-семантической группы (и тех групп, с глаголами которых приставки могут реализовывать пространственно-ориентационные значения), приставки не имеют акциональных значений, выполняют только функцию локальной ориентации, т.е. в кругу этих глаголов нет причин аспектуально-акционального характера, препятствующих образованию от них формы с инфиксом *-цæй-*, имеющей конкретно-процессное значение. Тем не менее, имперфективация приставочных глаголов движения-перемещения с превербами *a-*, *ба-*, *ны-* невозможна.

На наш взгляд, невозможность выражения процессуального значения формами с приставками *a-*, *ба-*, *ны-* от глаголов движения-перемещения связана с отсутствием условий для выражения признака перцептивности (наблюдаемости) в глаголах движения-перемещения с приставками *a-*, *ба-*, *ны-*, отличающихся особым соотношением сем «место наблюдения» и «место протекания действия», существенным при реализации признака перцептивности [Бондарко 1983: 133].

Как подчеркивает А.В. Бондарко, признак перцептивности является важнейшим контекстуальным и ситуативным условием реализации функции процессности в русском языке: «Процессное действие – это действие, воспринимаемое в процессе его протекания, действие наблюдаемое (или воспринимаемое на слух, осязаемое и т.д.). Признак перцептивности реализуется и конкретизируется в обозначении момента фиксации процесса, наблюдателя (воспринимающего субъекта) и места протекания воспринимаемого процесса (в определенном отношении к позиции восприятия)» [Бондарко 1980: 14].

В осетинском языке признак перцептивности реализуется в приставочных глаголах движения-перемещения (и примыкающих сюда других лексико-семантических групп) с помощью пространственно-ориентационных значений приставок, кроме глаголов с приставками *a-*, *ба-*, *ны-*. Напомним еще раз пространственно-ориентационные значения приставок:

<i>a-</i>		наблюдатель внутри
<i>ра-</i>	движение наружу	наблюдатель снаружи;
<i>ба-</i>		наблюдатель снаружи
<i>æрба-</i>	движение внутрь	наблюдатель внутри;
<i>ны-</i>		наблюдатель наверху
<i>æр-</i>	движение вниз	наблюдатель внизу;
<i>с-</i>	движение вверх	без локализации наблюдателя;
<i>фæ-</i>	движение в любом направлении	без локализации наблюдателя.



Как можно заметить, локализация наблюдателя, соответствующая превербам *a-*, *ба-*, *ны-*, не дает возможности наблюдать развитие действия в направлениях, указываемых данными превербами:

*a-* – движение наружу / наблюдатель внутри;

*ба-* – движение внутрь / наблюдатель снаружи;

*ны-* – движение вниз / наблюдатель наверху,

т.е. момент фиксации процесса, воспринимаемого наблюдателем, не может быть выражен в этих приставочных образованиях в силу их локальной семантики, а точнее, в силу несоответствия локальной ориентации наблюдателя тому пространственному направлению действия, которое обозначается данными приставками.

И напротив, в приставочных образованиях с другими превербами условия для реализации функции процессности налицо:

*ра-* – движение наружу / наблюдатель снаружи;

*æрба-* – движение внутрь / наблюдатель внутри;

*æр-* – движение вниз / наблюдатель внизу;

*с-* – движение вверх / безотносительно локализации наблюдателя;

*фæ-* – движение в любом направлении / безотносительно локализации наблюдателя.

В глаголах с этими приставками локализация наблюдателя не противоречит условиям для реализации признака перцептивности действия и, тем самым, для обозначения процессности действия.

Установление факта зависимости видовой парадигмы у определенной части осетинской приставочной глагольной лексики от конкретной комбинации локально-ориентационных значений и значений пространственной линейной направленности действия не только объясняет причины ограниченного охвата группы глаголов движения-перемещения и некоторых других лексико-семантических групп оппозицией типа *рацæуын / выйти* – *рацæйцæуын / выходить*, но и во многом помогает понять механизм становления видового противопоставления в осетинском языке.

К кавказскому периоду истории осетинского языка («первые века н.э.») [Абаев 1977: 71] в нем развивается своеобразная, свойственная многим иберийско-кавказским языкам черта: выражать с помощью превербов пространственно-ориентационные значения. Формирование этой специфической особенности в осетинском языке – закрепление конкретных пространственно-ориентационных значений за определенными превербами – имело для осетинского языка, в особенности его грамматического строя, далеко идущие последствия. Особая роль в этом плане принадлежала приставочным глаголам движения-перемещения.

Обозначение в приставочных глаголах движения-перемещения позиции наблюдающего за действием субъекта в сочетании со значением предельности, свойственным осетинским приставкам, как и приставкам других индоевропейских языков [Маслов 1984: 17, 209–224], давало возможность отражать в языковых формах перцептируемые действия как достигшие конкретного результата, предела: при отдаляющей ориентации, т.е. при локализации наблюдателя в исходной точке действия, достигнутость предела воспринималась как начинательность; при приближающей ориентации, т.е. при локализации наблюдателя в конечной точке действия, достигнутость предела воспринималась как завершенность, реальная достигнутость окончания действия. Именно в кругу глаголов приближающей ориентации (т.е. когда совпадают пространственно-ориентационная локализация наблюдающего за действием и направленность действия) формируется логико-семантическая база для выражения признака перцептивности, появляется и реализуется потребность обозначения процессуальности действия, действия *intra terminos*. Роль эту берут на себя глагольные образования с *-цæй-*, которые обозначают действие вначале, по-видимому, как процессуальное только, а затем как стремящееся к достижению предела, направленное на достигнутость внутреннего абстрактного предела действия.

Предположение о том, что возникновение категории глагольного вида в осетинском языке стало возможным с развитием категории пространственной ориентации и фор-

мирование видовых значений в осетинском началось в кругу приставочных глаголов движения-перемещения в результате взаимодействия аспектуальных (предельность) и пространственно-ориентационных значений, очень важно с историко-типологической точки зрения. Как специально подчеркивается в коллективной монографии «Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол», «необходимость выражения имперфективного значения возникла в кругу приставочных глаголов движения-перемещения, которые в позднем праславянском языке, равно как и в предписьменную эпоху развития древнерусского языка, составляли самую многочисленную группу глагольной лексики. Первоначально именно она была достаточно отчетливо дифференцирована по категориям определенности / неопределенности и предельности / неопределенности, на стыке которых и началось формирование видовых значений. Поэтому развитие категории имперфективности шло главным образом в этой сфере» [ИГРЯ 1982: 163].

Таким образом, и в русском (славянском) языке, и в осетинском (иранском) языке сходные лингвистические предпосылки явились базой для развития в обоих языках грамматической категории глагольного вида. Если в древнерусском языке «самая высокая и очевидная степень перфективации... представлена приставочными образованиями определенных глаголов движения типа 'нести'» [Ружичка 1962: 313], то, вероятно, и в древнеосетинском языке была сходная ситуация. В осетинском языке, так же, как и в русском [ИГРЯ 1982: 190–279], доминантой начального этапа развития категории глагольного вида было формальное и семантическое развитие несовершенного вида. Особый интерес для сопоставительной аспектологии представляет, на наш взгляд, и то, что если в современном русском языке «именно значения способов действия, а не какие-либо другие особенности глагольной семантики обуславливают аспектуально-грамматические свойства отдельных групп глаголов, – их видовую соотносительность / несоотносительность, неравночастотную соотносительность...» [Шелякин 2001: 70], то в современном осетинском языке, как показывает исследованный нами материал, не только значения способов действия, но и пространственно-ориентационные значения глагольных приставок обуславливают аспектуально-грамматические свойства глаголов, их взаимодействие с категорией вида, их видовую соотносительность / несоотносительность.

Таким образом, грамматическая видовая семантика выступает как «источник и хранитель языкового знания» [Бондарко 1998: 61], базируется на уходящих в глубь веков представлениях, которые выявляются с помощью концептуального и функционального анализа языковых форм, и обладает совершенно особенной значимостью для попыток пролить свет на интуитивные, когнитивные законы, формирующие особенности мышления, сознания, – как всеобщие, так и специфические для отдельной культуры [Петрухина 2001: 57].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1977 – В.И. Абаев. Значение ареальных контактов в истории языка // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению. Орджоникидзе, 1977.
- Багаев 1965 – Н.К. Багаев. Современный осетинский язык. Ч. I. Орджоникидзе, 1965.
- Бондарко 1973 – А.В. Бондарко. О некоторых аспектах функционального анализа грамматических явлений // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973.
- Бондарко 1975 – А.В. Бондарко. О видах русского глагола // Русский язык за рубежом. 1975. № 5–6.
- Бондарко 1980 – А.В. Бондарко. Об уровнях описания грамматических единиц // Функциональный анализ грамматических единиц. Л., 1980.
- Бондарко 1983 – А.В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
- Бондарко 1998 – А.В. Бондарко. О стратификации семантики // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998.

- Бондарко 2001 – *А.В. Бондарко*. Лимитативность как функционально-семантическое поле // Теория функциональной грамматики. М., 2001.
- Виноградов 1972 – *В.В. Виноградов*. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972.
- Грубор 1962 – *Дж. Грубор*. Из книги «Видовые значения» // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Зализняк, Шмелев 2000 – *А.А. Зализняк, А.Д. Шмелев*. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
- ИГРЯ 1982 – Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
- Кацнельсон 1972 – *С.Д. Кацнельсон*. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Козырева 1951 – *Т.З. Козырева*. Категория глагольного вида в современном осетинском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1951.
- Левитская 1983 – *А.А. Цалиева [А.А. Левитская]* Аспектуальность в осетинском языке, ее генетические и ареальные связи. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
- Левитская 2001 – *А.А. Левитская*. Аспектуальность в осетинском языке: генетические предпосылки, ареальные связи, типологическое сходство // ВЯ. 2004. № 1.
- Маслов 1948 – *Ю.С. Маслов*. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН СЛЯ 1948. № 6.
- Маслов 1959 – *Ю.С. Маслов*. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
- Маслов 1978 – *Ю.С. Маслов*. К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
- Маслов 1984 – *Ю.С. Маслов*. Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Петрухина 2001 – *Е.В. Петрухина*. Об универсальном и идиоэтническом компонентах языкового значения // Исследования по языкознанию. К 70-летию чл.-корр. РАН А.В. Бондарко. СПб., 2001.
- Размусен 1891 – *Л.П. Размусен*. О глагольных временах и об отношении к видам в русском, немецком и французском языках // ЖМНП. 1891. Т. 275 [цит. по: *Ю.С. Маслов*. Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1984. С. 16].
- РГ 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
- Ружичка 1962 – *Р. Ружичка*. Глагольный вид в «Повести Временных лет» // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Серенсен 1962 – *Х.К. Серенсен*. Вид и время в славянских языках // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Фетискина 1973 – *М.Д. Фетискина*. К проблеме связи способов действия и видовой соотносительности // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973.
- Цаболов 1957 – *Р.Л. Цаболов*. К истории осетинских превербов // Изв. Северо-Осетинского научно-исследовательского института. 1957. Т. XIX.
- Шанидзе 1955 – *А.Г. Шанидзе*. Грамматика грузинского языка. Ч. I. Морфология. Тбилиси, 1955.
- Шелякин 1972 – *М.А. Шелякин*. Приставочные способы глагольного действия и категория глагольного вида в современном русском языке. Дис. .... докт. филол. наук. Л., 1972.
- Шелякин 2001 – *М.А. Шелякин*. Способы действия в поле лимитативности // Теория функциональной грамматики. М., 2001.
- Якобсон 1985 – *Р.О. Якобсон*. Взгляды Боаса на грамматическое значение // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.

© 2007 г. В. В. ШАПОВАЛ

**ЦЫГАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РУССКОМ ВОРОВСКОМ АРГО?**  
(размышления над статьей акад. А.П. Баранникова 1931 г.)

В статье рассмотрен цыганский материал «Словаря жаргона преступников» С.М. Потапова 1927 г. В дополнение к 113 позициям, выявленным А.П. Баранниковым в статье «Цыганские элементы в русском воровском аргю» (1931 г.), рассмотрены дефектные записи 24 фраз и словосочетаний, вероятно, на сэрвском и влашском диалектах, 3 случая контаминации в записи цыганских и тюркских числительных, 16 цыганских слов, распознаваемых по искаженным фиксациям. Вопрос о принадлежности этого материала русскому криминальному аргю решается отрицательно.

С началом десятилетия 2005–2015 гг., объявленного в Европе десятилетием цыганской культурной интеграции, благодаря новым проектам стали доступны и лингвистические ресурсы ряда современных исследователей (Н. Борецки, Я. Матрас, Д. Хальвакс, П. Баккер, В. Элшик) [ROMLEX], которые позволяют уточнить некоторые положения, сформулированные в достаточно отдаленные от нас годы, но продолжающие владеть умами. Критическому анализу одного из таких положений посвящена настоящая статья.

Три четверти века назад в составе памятного русским арготологам седьмого выпуска сборника «Язык и литература» вышла в свет статья акад. А.П. Баранникова под названием «Цыганские элементы в русском воровском аргю» [Баранников 1931: 139–158]. Она оказала беспрецедентное влияние на последующую традицию описания и изучения вклада цыганского языка в лексику криминального аргю и ряда других социальных диалектов в СССР и отчасти за его пределами [Костов 1956: 411–425; Бондалетов 1967: 235–243; Horgbatsch 1978: 10–11; Быков 1994: 9; 2005: 19; Грачев 1997: 82–85; Шаповал, Дьячок 1997: 62–63; Елистратов 2000: 643–645; 2005: 645–646] и др. Видный индолог, исследователь цыган в СССР и один из инициаторов проекта литературного цыганского языка 1920-х–1930-х годов, акад. А.П. Баранников при отборе и анализе жаргонного материала мог опираться на собственный опыт основательного изучения по крайней мере двух цыганских диалектов: северно-русского (московского) и сэрвского (восточно-украинского), а также других диалектов Южной России и Украины (в том числе говоры цыган-влахов)<sup>1</sup>.

В его пионерской работе были идентифицированы как цыганские многие слова и отдельные фрагменты фраз, разработаны основы критики их непрофессиональной записи и опознания по ней фонетических признаков диалектов, что являлось бесспорным достижением, в сущности, полученным на лингвистической целине. Это был первый научный анализ большого списка цыганизмов, частные выводы которого во многом остаются актуальными и сегодня.

<sup>1</sup> Изучение этого разнообразного диалектного материала на первых порах не обошлось без оплошностей, например: «*me kal'óna o gat'á...*» в песне А.П. Баранниковым переведено как «Мы темной ночью...» [Баранников 1931: 141] (правильно: «Пусть чернеют ночи...» – В.Ш.). О.С. Деметер-Чарская, рассказывая недавно о визите А.П. Баранникова в театр «Ромэн» 1930-х годов, упомянула, что он стремился говорить с актерами по-цыгански, но, как ей запомнилось, его цыганская речь была далека от идеала (устное сообщение).

Вместе с тем ключевой тезис, которым открывается статья и обоснованию которого она была посвящена: «Из всех русских аргó цыганские элементы выступают в качестве довольно полновесного компонента только в воровском языке» [Баранников 1931: 139]. – нуждается в кардинальной корректировке. Дело в том, что, хотя «цыганские элементы» в статье 1931 г. были впервые выявлены и изучены профессиональным лингвистом-индологом, однако вопрос обоснования их принадлежности русскому воровскому аргó далеко не всегда был решен убедительно. В связи с этим приведем суждение В.Д. Бондалетова по сходной проблеме: «Прекрасный славист и финно-угровед, однако совершенно не знакомый с условными языками вообще и с русскими в частности, Э.А. Якубинская-Лемберг, естественно, не могла отличить ложные арготизмы от подлинных» [Бондалетов 1992: 19].

Прежде всего следует уточнить, материал каких источников был проанализирован. Автор статьи их называет: это три словаря [Трахтенберг 1908; Попов 1912; Потапов 1927] и «4. Картотека по русским аргó Б.А. Ларина» [Баранников 1931: 145].

Третий словарь уникален как по обилию ошибок, так и по наличию массы цыганских слов и фраз. Это отметил и сам А.П. Баранников, сформулировав программу критики этого источника, лишь отчасти приведенную им в статье: «Прежде чем приступить к анализу цыганских элементов в русских аргó, необходимо отметить, что определение цыганских элементов во многих случаях затрудняется по следующим причинам: 1) неправильная запись либо недостаточно внимательная корректура при печатании; 2) подчинение цыганских слов законам русской фонетики, чего не наблюдается обычно в цыганской речи, несмотря на двуязычность цыган и прекрасное знание большинством из них русского языка, притом это подчинение в аргó проводится несистематически; провести границу между изменениями первой и второй группы во многих случаях весьма затруднительно, 3) неопределенность указываемых значений и 4) своеобразная этимологизация, видимо, допущенная собирателями» [Баранников 1931: 145–146].

Перечисление типов ошибок А.П. Баранников заключает следующим выводом: «Названными недостатками<sup>2</sup> особенно часто страдает третье из названных собраний, наиболее богатое цыганскими элементами» [Баранников 1931: 146]. Этот цыганский материал действительно почти отсутствует в первых двух словарях. В них в качестве немногих цыганизмов можно отметить только:

а) «Булда – педерастия» [Потапов 1927: 20], ранее «арестантское»: «Бульдá. Педерастия. <...>» [Трахтенберг 1908: 11], также: [Попов 1912: 21; Потапов 1923: 8, цит. по: СРВС 1983, II: 167] и др. Цыганская этимология довольно широко известна: от составного глагола *de-buje* 'coiter', ср. прич. ж. р. *bule-dini* 'prostituée' [Becker-Но 1993: 62, на *bol*], *mэ дав буэ* 'futuram' [Добровольский 1908: 48, 59], цыг. (северно-русс.) *бул м.* 'зад' + *дэ-* 'давать' [Баранников, Сергиевский 1938: 18, 43]. Также рассматривается как цыганизм в румынском: «The simple meaning is still expressed in Romanian *te bulesc*. It is used towards women in a sexual context and towards men in a fight to mean «I'll beat you up». One person even mentioned *abule* «to fuck» in one word». – «Первичное значение все еще проявляется в румынском глаголе *te bulesc*. Он употребляется по отношению к женщине в сексуальных контекстах, а по отношению к мужчине в драке вместо «Я тебя побью». Один информант упоминал даже глаг. *abule*, означающий попросту «to fuck»» [Leschber 1997: 157].

<sup>2</sup> С.М. Потапов не считал эти ошибки недостатками своего словаря: «Следует, однако, отметить, что по сравнению со словарем культурных языков «блатная музыка» имеет некоторые особенности, которые по неведению могут быть приняты за недостатки издания. Дело в том, что преступный мир пишет слова так, как их произносит и как умеет их воспроизвести на письме в зависимости от степени грамотности. Поэтому в чисто практических интересах было бы нецелесообразно установить филологическим путем их истинные корни, приставки или окончания, и их пришлось поместить в таком виде, в каком они непосредственно были почерпнуты из жизни» [Потапов 1927: 4-5].

А.П. Баранников не заметил это заимствование из цыганского, а оно несет следы основательной адаптации, первичное [л']-мягкое, позднее замененное на [л]-твердое, похоже, указывает на посредство какого-то европейского источника и, вероятно, усвоение в русском языке уже адаптированного слова.

б) «**Ракло**, – босякъ, юж<ное>» [Попов 1912: 73]. Цыганская этимология, предполагающая перенос 'нецыганский парень' > 'бродяга, вор', солидно обоснована: [Баранников 1931: 139, 154; Добродомов 1996: 136–137; Тиханов 1895: 20–21] и др.

с) Возможно, «**Хавать**, – ѣсть» [Попов 1912: 90]. Кстати, не опознанное С.М. Потаповым в 1923 г.: «**Хватать** – есть» [Потапов 1923: 61, цит. по: СРВС 1983, II: 220]. Ср. также ошибочное «**Хазать** – обедать» наряду с правильным «**Хавать** – есть» во втором издании словаря [Потапов 1927: 176, 175]. О цыганском источнике см. [Баранников 1931: 150–151, 156].

Методом исключения можно определить, что лишь на основе картотеки по русским аргю Б.А. Ларина<sup>3</sup> в статье А.П. Баранникова анализируются всего три позиции:

а) «г а м о 'хомут'» < цыг. «hamó 'хомут' (из румынск.)» [Баранников 1931: 156]. В некоторых цыганских диалектах представлено румынское *ham* 'хомут', однако, вопреки записи А.П. Баранникова, всюду с безударным окончанием -о, как и в других заимствованных в цыганский существительных м. р., напр.: северно-русское **гáмо** [<мн. ч.> гáмы] м хомут [Баранников, Сергиевский 1938: 33] / **ghámo** n t horse collar [хомут], кэлдэрарское **hámo** n t хомут, ловарское **hámo** n t harness [сбруя]<sup>4</sup>.

б) «д з е т 'берегись'» < цыг. «dzet 'масло'» [Баранников 1931: 157]. Думается, «д з е т 'берегись'» – от *зетить*, *зэтить* 'смотреть' [Мокшенок, Никитина 2000: 224, 228]. Кроме того, цыганское (северно-русское) *дзэт* значит 'растительное масло' [Баранников, Сергиевский 1938: 36, 56; Manush 1997: 53]. Между тем как \*масло 'сигнал опасности', не фиксируемое в русских жаргонных словарях, сопоставимо скорее с немецким жаргонным *Butter* 'надсмотрщик, надзиратель' < 'сливочное масло' [Ларин 1931: 127; Wolf 1956: 67–68, № 801].

в) «д а р а ш л я 'иди подальше'» < цыг. (сэрвское) «*darano sl'a* или *daran sl'a* 'стало страшно, испугался'» [Баранников 1931: 153]. А.П. Баранников и сам весьма сдержанно оценивал эту свою этимологическую версию, допускающую элизию ударного слога [пó]: «Необходимость допустить неправильность записи и неточность значения, что, правда, случается весьма часто в третьем из названных пособий, внушает значительные сомнения в возможности подобного понимания» [Баранников 1931: 153]. Из этого же комментария как будто следует, что выражение обнаружено в словаре С.М. Потапова 1927 г. («в третьем из названных пособий»), что неверно. Представляется более убедительным прочтение записи «д а р а ш л я 'иди подальше'» не на основе диалекта сэрвов, как это сделано А.П. Баранниковым, а на основе влашского (напр., кэлдэрарского): **дур ашиляя!** / **dur ašil'án!** 'отстал! (ты)', т.е. 'отстань', букв.: 'далеко отстал (ты)!'. Эта гипотеза требует менее радикальных фонетических допущений, а именно: восприятие слабоударного [y] как [ъ] (графически *a*) и безударного [и] как [ʔ], а также утрата или неразличение конечного носового [н], как в *наштино* (см. ниже № 13).

Существенно, что обильный цыганский лексический материал словаря 1927 г. незадолго до этого не был известен и самому С.М. Потапову. В его словаре 1923 г. новым, если это цыганизм, является только: «**Мента** – задний ход» [Потапов 1923: 31, цит. по: СРВС 1983, II: 190]. Позже написание было, вероятно, уточнено: «**Менжа** – задний ход» [Потапов 1927: 91], однако толкование осталось неизменным. Поэтому вряд ли оправда-

<sup>3</sup> По поводу этих картотек у В.В. Колесова встречается попутное замечание: «По разным причинам эта работа <изучение социолингвистики города> была прервана, картотеки рассыпаны или разграблены» [Колесов 1991: 3]. Вряд ли сегодня можно восстановить состояние этой картотеки аргю на 1931 г.

<sup>4</sup> Цыганские слова в латинской транслитерации, если нет иных отсылок, взяты из базы лексикографических данных сайта ROMLEX [<http://romani.uni-graz.at/romlex>]. При них пометы «латышское», «словацкое» и т. п. означают соответствующий цыганский диалект.

на анатомическая переформулировка толкования А.П. Баранниковым, внесенная с неоговоренной правкой: «менжа 'задний проход'» < цыг. «manja 'vulva'» [Баранников 1931: 155]. Думается, 'задний ход' здесь означает 'отступление, проявление страха, малодушия'. Прямой перенос 'vulva' > 'испуг' вполне вероятен. Ср. современное жаргонное *менжа* 'страх, испуг' [Мокиенко, Никитина 2000: 345], от цыг. *mindž n f female genitals, vulva* (мн. ч. *mindžá*) [Manush 1997: 87]<sup>5</sup>.

На этом мало впечатляющем фоне цыганские слова и фразы, выявленные А.П. Баранниковым в словаре Потапова 1927 г., представляются весьма значительным по объему дополнением. Приведем их списком с необходимыми комментариями и сознательным сохранением всех авторских сигналов сомнения, которых довольно много. (Номер страницы по статье А.П. Баранникова дан в ломаных скобках: <146>; в случае разночтений с источником в круглых скобках приведена запись М.С. Потапова; звездочкой отмечены те позиции, которые были взяты в список цыганизмов из статьи Баранникова Олексой Горбачем (заслуживают внимание и необъясненные им пропуски) [Horbatsch 1978: 10–11]: <sup>1</sup>) а вы ло 'довольно' – *avéla* 'будет' <147>\*; <sup>2</sup>) а к то – цыг. *októ* (из греч.) 'восемь' <147, 148>\*; <sup>3</sup>) а к то ды ша 'восемьдесят' («**Актодыша** – 80» [Потапов 1927: 7]) – цыг. *oxtó deša* 'восемьдесят' <148>\*; <sup>4</sup>) б а л а в а с, б а л а б а в <sic! Потапов не дает. Горбач правдоподобно поправил: *балабаз* [Horbatsch 1978: 10]>, б а л а л а с 'сало'; б а л я с и н а 'колбаса' – *baľó* 'свинья, боров', *baľavás* 'сало' <156>\*; <sup>5</sup>) б а р н о 'хорошо', при: п а р н я к («**Парняга, парняк** – 25 рубл.» [Потапов 1927: 112]) – *rapó* 'белый' <147>\*; <sup>6</sup>) б а р о (р а й - б а р о 'агент угрозыска') – *baró* 'большой', *raј baró* 'большой барин, большой начальник' <157>; <sup>7</sup>) б е т а 'барышня' – инд. *beti* 'девочка', в наличных цыганских говорах не известно, но могло быть случайно не зарегистрировано <154>\*; <sup>8</sup>) б и ш т о - п а н ч 'двадцать пять' («**Биштопайч** – 25» [Потапов 1927: 12]) – цыг. *bištupánc* 'двадцать пять' <148>\*; <sup>9</sup>) в а н а (он, она, [Потапов 1927: 23] – в южноцыганском диалекте *voj*, 'она', *voné* 'они' <147, 149>\*; <sup>10</sup>) в ы д ж и н у, в выражении п ы с о м а н в ы д ж и н у 'доказан' («**Пысоман выджину** – доказан» [Потапов 1927: 133]), восходит к глаголу *vijínés* 'вызвать, узнать' <152>; <sup>11</sup>) г а м о 'хомут' <у Потапова нет> – *hamó* 'хомут' (из румынск.) <156>\*; <sup>12</sup>) г о р о н и («**Горуни** – корова» [Потапов 1927: 38]) – *gugun'í* 'корова' <147, 155>\*; <sup>13</sup>) г р а (г р и), г р а й, г р а с 'лошадь' – *gra, graј, gras* 'лошадь, конь' <155>\*; <sup>14</sup>) г р а с н и 'кобыла' – *grasn'í* 'кобыла' <155>\*; <sup>15</sup>) г у н о 'мешок' – *gonó* 'мешок' <147>\*; <sup>16</sup>) д а д о л ы н е м – пони, вместо д а п о л и н е, *poľiné* 'поняли' происходит из северноцыганского диалекта (Горбач включает в жаргон исправление Баранникова: «*полыне* поняли» [Horbatsch 1978: 11]) <150>\*; <sup>17</sup>) д а й м а н 'дай мне' («**Дай ман понырдат** – дай покурить» [Потапов 1927: 41]) – цыг. *de man(di)* 'дай мне' <150>\*; <sup>18</sup>) д а р а ш л я 'иди подальше' <у Потапова нет>: при допущении цыганского происхождения... можно видеть *daranó sl'a* или *daran sl'a* 'стало страшно, испугался' <153>\*; <sup>19</sup>) д а т 'отец' – *dat* 'отец' <154>\*; <sup>20</sup>) д е й 'мать' – *dej* 'мать' <154>\*; <sup>21</sup>) д е к а т ь 'дать', 'давать' и д и к н и 'дай' – *te dés* 'дать, давать' <150>\*; <sup>22</sup>) д е ш 'десять' – *deš* 'десять' <148>\*; <sup>23</sup>) д е ш о п а н ч у 'пятнадцать' («**Деш-опачу** – четырнадцать» [Потапов 1927: 44]) – *dešupánc* 'пятнадцать' <148>\*; <sup>24</sup>) д е ш - д у й 'двенадцать' – *dešudúј* 'двенадцать' <148>\*; <sup>25</sup>) д е ш е и е к 'одиннадцать' («**Дешейек** – одиннадцать» [Потапов 1927: 44]; «*дешенек* 11» [Horbatsch 1978: 10]) – цыг. *dešuyék* 'одиннадцать' <148>\*; <sup>26</sup>) д е ш - т р ы н 'тринадцать' – *dešutrín* 'тринадцать' <148>\*; <sup>27</sup>) д ж ю к а л 'собака' – *jukéľ, jukľó* 'собака' <147, 155>\*; <sup>28</sup>) д з е т 'берегись' <у Потапова нет>, з е т и т ь 'смотреть зорко, озираться, умамливать' <'умамливать' у Потапова нет> – *dzet* 'масло' <растительное. –

<sup>5</sup> Ср. также две соотносительные словарные статьи у В.И. Даля: «**ОМАНЖА?** об. ирк. боязливый, пугливый человекъ; см. *оминзра*»; «**ОМИНЗРА?** об. вост.-сиб. боязливый, страшливый, трусливый человекъ». То же сл<о>в<о> писано *оманжа* (см. выше); что-нибудь да не такъ» [Даль, 1882, II: 694, 695]. Ранее то же с ударением на *о*–: **ОМАНЖА** [Даль, 1865, II: 1250], которое было снято или утрачено. Нельзя исключить, что от цыг. формы мн. ч. *mindžá* с препозитивным артиклем *o* или повелительным наклонением *ha* 'ешь', ср.: «**Ха** <*mindž!*> 'loti rupjš izteiciens/utterly vulgar expression'» [Manush 1997: 87].

*В.Ш.* <157>\*; <sup>29)</sup> долыно 'плохой' («Долы-но – плохой» [Потапов 1927: 46]) – diřinó 'глупый' <147, 157>\*; <sup>30)</sup> до х а т ь 'убить' – te doxás 'доесть, погубить' <151>\*; <sup>31)</sup> д р а - б е р и т ь 'играть в карты' («Даберить – играть в карты» [Потапов 1927: 41]; Горбач включает в жаргон исправление Баранникова [Horbatsch 1978: 10]) – te draba kirés 'ворожить, гадать на картах' <152>\*; <sup>32)</sup> д у е к , д у й 'два рубля' – duj 'два' <148, 149>\*; <sup>33)</sup> д ы к х е н п о м а н 'смотри на меня' (Дыкхен пошан – «смотрит» [Потапов 1927: 47]) – diřxén pe maп 'смотрите' или 'смотрят на меня' <150, 152>\*; <sup>34)</sup> ж е 'условный пароль воров' – te jas 'иди' <147, 152>; <sup>35)</sup> з а к р а с т е н (возможно, опечатка) – za grastén 'за лошадей' <147>; <sup>36)</sup> з а м а р ч и т ь 'схоронить' – te zamarés 'забить' <151>\*; <sup>37)</sup> з а х а м н и т ь , з а х а м н и ч а т ь 'задержать, взять и не отдать', з а х а м и т ь 'зажигать, зажуливать' («Захамить, захамничать – задержать; взять и не отдать» [Потапов 1927: 56]) – te xas 'есть, кушать' с русским префиксом <151>\*; <sup>38)</sup> и н я 'девять рублей' – цыг. (из греч.). уеп'á, уип'á 'девять' <148, 149>\*; <sup>39)</sup> н е к а л и м к а 'черный хлеб', несомненно, вместо н а к а л и н ь к а , что значит 'на черненького' (хлеба); к а л и н ь к о (на к а л и н к а 'черный хлеб') – kařó, kařin'kó 'черный, черненький' <146, 157>\*; <sup>40)</sup> к а м о 'идите', видимо, к а т е 'ко мне' <150>\*; <sup>41)</sup> к а р а , к а р у ш а 'мужской половой орган'; х о р ь 'мужской половой орган' – kar, ker 'penis' <155>\*; <sup>42)</sup> к о м ы л 'украл' – видимо, к т e k a t e s 'хотеть, любить' <153>\*; <sup>43)</sup> л а в а , л а в ь е 'деньги' – řóvé 'деньги' <156>\*; <sup>44)</sup> л а р ы н а н ы 'нет денег' («Лары-на-ны – нет денег» [Потапов 1927: 81]) <146>; <sup>45)</sup> л а ч , л а ч е / о 'хорошо' – řařó 'хороший, хорошо' <157>\*; <sup>46)</sup> л о в а к 'лошадь, извозчик'; л о в а ш н и к 'конокрад'; л о в ( и ) у х а 'товарная лавка' – некоторое сомнение вызывает признание цыганского происхождения от řóvé 'деньги' <157>\*; <sup>47)</sup> л я р в а 'проститутка' – řářva 'проститутка' <154>; <sup>48)</sup> м а н д р а / о 'хлеб' – mandró 'хлеб' <156>\*; <sup>49)</sup> м а р а т ь 'убивать' – te marés 'бить, убивать' <151>\*; <sup>50)</sup> м е н ж а 'задний проход' ('задний ход' [Потапов 1927: 91]) – manjá 'vulva' <147>\*; <sup>51)</sup> м и н ж а 'женские половые органы' – manjá 'vulva' <147, 155>\*; <sup>52)</sup> м и ш т о 'хорошо' – m'iřtó 'хорошо' <157>\*; <sup>53)</sup> м о р а 'цыган' – móře 'друг, цыган' или, точнее, 'мой' <154>\*; <sup>54)</sup> м о р а т ь 'убивать' и др. – te marés 'бить' <147>\*; <sup>55)</sup> м о р д о – mardó 'рубель' <147, 156>; <sup>56)</sup> о т р у ж и н д ы – goméndir, goménde 'от цыган' / 'у цыган' <146>; <sup>57)</sup> п а н ч 'пять' (в бишту панч 'двадцать пять') – цыг. paпč 'пять' («Бишгопайч – 25» [Потапов 1927: 12]) <148>\*; <sup>58)</sup> п а р - н я к (д в а п а р н я к а '50 руб.') – paпó 'белый, два парняка значит 'две беленьких' <157>\*; <sup>59)</sup> п о д л а ч и т ь 'подметать <sic!>' («Подлачить – подметить» [Потапов 1927: 121]), возможно, от řařó 'хороший, хорошо' <152>\*; <sup>60)</sup> п о м а р а т ь 'убить, украсть' – te romařés 'побить' <151>\*; <sup>61)</sup> п х е н ь 'сестра, брат' – рхеп 'сестра' <154>\*; <sup>62)</sup> п ы х в о р а 'на базар' («Пыхвара – базар» [Потапов 1927: 133]) – ре хвóго 'на базар' <147>\*; <sup>63)</sup> р а й 'притон разврата, милиция' – řař (восходящее к древнеинд. řařa), 'барин, начальник, милиционер, начальник тюрьмы' (р а й в смысле 'притон разврата', очевидно, заимствовано из русского языка, и оба значения объединены вследствие одинакового звучания русского и цыганского слова) <154>\*; <sup>64)</sup> р а й - б а р о 'агент угрозыска' – řař bařó 'большой начальник, большой барин' <154>\*; <sup>65)</sup> р а к л о 'вор' – řakřó 'парень, русский' <154>; <sup>66)</sup> р а с п х а н д а , в выражении в с а р а с п х а н д а 'дознание <sic!>' («Всараснахенда – сознание» [Потапов 1927: 32]), означает 'рассказал' (в с а р а с п х а н д а 'все рассказал'), от те рхепés 'говорить, сказывать' <152>\*; <sup>67)</sup> р а с ч е н д ы 'расписка' – řořčindři 'расписка' <152>\*; <sup>68)</sup> р о д и т ь 'раскрывать дело', по-видимому, восходит к цыганскому те řodés 'искать, находить' <152>\*; <sup>69)</sup> р о к л о 'вор' – řakřó 'парень, мальчик' <147>; <sup>70)</sup> р у н н и 'женщина' – řomп'í 'женщина, цыганка' <147, 154>\*; <sup>71)</sup> с г а - м а т ь 'арестовать' – возможно, к те хас 'есть, кушать', в котором на месте х является g, в южном произношении h <151>\*; <sup>72)</sup> с и н 'есть' (в выражении э к с и н ) представляет неизменяемую форму настоящего времени вспомогательного глагола řin, ři 'есть' <152>; <sup>73)</sup> с м а р а т ь 'стащить\*, украсть, убить' – te smarés 'сбить' <151>; <sup>74)</sup> с у н а к у н и 'золото' («Санакуни – золото» [Потапов 1927: 139]) – řumпáк 'золото', řumпáкuпó 'золотой' <156>\*; <sup>75)</sup> т р ы н 'три' (в д е ш - т р ы н 'тринадцать') – řin 'три' <148>\*; <sup>76)</sup> т ы г а р и 'лошадь' – řagáři (из тур.) 'царь' <147>\*; <sup>77)</sup> т ы р а 'загородить', т ы р и т ь 'воровать', 'красть', т ы р и т ь 'отвлекать внимание жертвы', т ы р и т ь 'толкать, красть, подзадо-



ривать', тыриться, протыриться 'лезть, пробираться', затыривать 'начинать', затырять 'спрятать', тыр, тыц 'сигнал помощнику, который дает карманщик, когда схватил бумажник пальцами', после чего первый начинает тырить, тыренное 'краденые вещи' – по-видимому, восходят к цыганскому глаголу *te terés* 'держат, имеют, брать, ждать' и т.д.,<sup>78)</sup> тырка 'воровство', тырбань 'предмет добычи', тырбанка 'дележ добычи', тырбаж 'краденые вещи' и др. – *teribé* 'выстоянное, полученное', от *te terés* 'держат, имеют, брать, ждать' <153>\*;<sup>79)</sup> ухер 'дом' («Укер – дом» [Потапов 1927: 169]) – *okher* 'дом', где *o* – член муж. рода, вошедший в цыг. язык из греческого <156>\*;<sup>80)</sup> ухрять, ухривать 'спасаться, скрываться' и прихрять 'приехать' – от глаголов *urx'igés* 'уходить, уйти', *pr'irx'igés* 'приходить, прийти', которые, впрочем, мало употребительны <вообще этот глагол обозначает пешее хождение по способу, а не по направлению. – В.Ш.> <151>;<sup>81)</sup> хавва 'рот'; хавало 'лицо'; хавалка, хавка 'пища, кушанье'; хавва 'взятка' («Хала – взятка» [Потапов 1927: 176]) – *te ha* 'кушать, есть'. Хала ... легко объясняется как форма от прич. пр. вр. *haľb* 'соединенный' <читать 'съеденный'. – В.Ш.> <156>\*;<sup>82)</sup> хавало 'рот' – *te ha* 'есть, кушать' <155>\*;<sup>83)</sup> хавать, хамать 'есть, кушать', несомненно, восходят к цыганскому глаголу *te xás* 'есть, кушать' <150>;<sup>84)</sup> хавир 'посторонний человек' – возможно, от *av'ig, aver, vav'ig, hav'ig* 'другой, второй' <149>\*;<sup>85)</sup> ханвдыре 'церковь'; несомненно, вместо хандыри (вольная этимологизация), от *khand'ir'í* 'церковь' <146, 165>\*;<sup>86)</sup> хандырить 'ходить' – от слова *khandir'í* 'церковь' и буквально означает 'ходить по церквям', а не просто 'ходить' <153>\*;<sup>87)</sup> хилять 'идти, уходить', возможно, восходит к глаголу *te rx'igés* 'ходить, бродить, бегать' <151>\*;<sup>88)</sup> хирить 'пользоваться для педерасти, иметь половое сношение, обирать, просить' («Харить – пользоваться для педерасти» [Трахтенберг 1908: 63]; а также: 'иметь половое сношение; обирать; просить' [Потапов 1927: 177]), возможно, от *haġ* 'дыра, дырка' <153>\*;<sup>89)</sup> хорь (кара, каруша) 'мужской половой орган' – *kaġ, keġ* 'penis' <147>\*;<sup>90)</sup> хорь 'женщина'; хорек 'женщина, намеченная для полового удовлетворения' – *haġ* 'дыра, дырка' <155>\*;<sup>91)</sup> хрять 'бежать' (по Крестовскому и другим, 'идти'), по-видимому, восходит к цыганскому *te rx'igés* 'ходить, бродить, бегать' <151>\*;<sup>92)</sup> чардо и др. – *ĉordb* 'краденый' <147>;<sup>93)</sup> чардовать 'красть', чердованный 'ворованный' восходят к цыганскому причастию прошедшего времени *ĉordb* 'украденный' и к глаголу *te ĉogés* 'красть, воровать' <147, 151>\*;<sup>94)</sup> чинава 'зарезать' – форма 1-го лица ед. числа наст. вр. от глагола *te ĉinés* 'резать, писать', *ĉináva* означает 'режу, зарежу' <152>\*;<sup>95)</sup> чирик со значением '25 рублей' – *ĉirikľb* 'птица, воробей', получило значение 'четверть' и 'двадцать пять' под влиянием иранского *ĉigek* 'четверть' <149>;<sup>96)</sup> чувиха 'проститутка' – *ĉavb* 'мальчик', следовательно чувиха означает 'мальчишка девочка' (в смысле 'проститутка') <154>\*;<sup>97)</sup> чукич 'кнут' – *ĉukn'í* 'кнут' <156>\*;<sup>98)</sup> чунарь 'деревенский милиционер' – *ĉukn'í* 'кнут', *ĉuknág'í* 'палач', *ĉirnog'í* 'палочка'. Цыганская этимология с точки зрения аргументации достаточно удовлетворительно объясняет только второе значение. <156>\*;<sup>99)</sup> шеро 'голова' – *šegb* 'голова' <155>\*;<sup>100)</sup> шибшала 'уличный карманный воришка' – из *š* и *il* под ударением *ša* ('тише, молчи') + цыганское *ršala* 'братья, братцы' <155>;<sup>101)</sup> шкар (шкар лево 'левый брючный карман'; шкар право 'правый брючный карман'); шкер, шкеры 'брюки' – можно предполагать цыганское происхождение от *šukár, šukír* 'красивый, прекрасный'; карман или брюки могли быть так названы потому, что из брючного кармана легко выкрасть <157–158>\*;<sup>102)</sup> шкирла 'сожигательница воров' – можно предполагать цыганское происхождение от *šukár* 'красивый, прекрасный, красавец' <157–158>\*;<sup>103)</sup> шов 'шесть' – *šoc* 'шесть' <148>\*;<sup>104)</sup> штар 'четыре рубля' – *štar* 'четыре' <148, 149>\*;<sup>105)</sup> шурье 'краденые вещи' – возможно, к *te ĉogés* 'красть, воровать' <147, 151>\*;<sup>106)</sup> шухир, шухор 'попались; момент, когда поймавшийся вор сумел вырваться из рук поймавших его' – пример неопределенности и неясности значений, от *šukár, šukír* 'красивый, прекрасный' (нигде прямо не сказано, что от *šukár, šukír* 'красивый, прекрасный', но сам факт рассмотрения слова указывает, видимо, на это. – В.Ш.) <146>;<sup>107)</sup> эйя 'девять', опечатка, ср. и ня '9 рублей' и эня дыша '70' («Энядыша – 90» [Потапов 1927: 194]) <146, 148>;<sup>108)</sup> эк,

э к с и н 'довольно' – цыганское у е к 'один, одна, одно' или 'одно и то же' <148>\*;<sup>109)</sup> э к к а л о '1 руб.' – у е к 'один' <147, 148>\*; <sup>110)</sup> э н я 'девять' <148>\*; <sup>111)</sup> э н я д ы - ш а («Энядыша – 90» [Потапов 1927: 194]) – у е н 'á d e š a '90' <147, 148>\*; <sup>112)</sup> э ф т о 'семь' – цыг. (из греч.) у e f t á 'семь' <148>\*; <sup>113)</sup> э ф т о д ы ш а 'семьдесят' [«Эфтодыша – 70», Потапов 1927: 194] – цыг. у e f t á d e š a 'семьдесят' <148>\*.

Таким образом, свыше ста новых позиций словаря 1927 г., опознанных в качестве цыганских элементов А.П. Баранниковым, впервые и одновременно появились именно в этом источнике. Этот прирост цыганизмов в одном словаре в десятки раз превышает все, что можно было обнаружить во всех вышедших ранее 1927 г. жаргонных словарях русского языка. К этому следует добавить, что в действительности цыганский слой в этом словаре оказывается еще более значительным, поскольку А.П. Баранниковым не был проанализирован цыганский материал двоякого рода. Во-первых, более или менее полные фразы и словосочетания в непрофессиональной записи на слух были предположительно опознаны А.П. Баранниковым как цыганские, но не анализировались по причине некачественной записи и потому что, с его точки зрения, «трудно считать их постоянными компонентами аргю» [Баранников 1931: 158]. Во-вторых, некоторые новые для жаргонных словарей слова и выражения в этом источнике вообще не были распознаны А.П. Баранниковым как цыганские: а) контаминированные (в записи) числительные; б) отдельные слова, существенно искаженные в записи. Их анализ также позволяет увеличить цыганский материал, представленный в источнике 1927 г.

## I

### ЦЫГАНСКИЕ ФРАЗЫ И СЛОВСОЧЕТАНИЯ В НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА СЛУХ

Вывод А.П. Баранникова о том, что эти фразы не принадлежат к русскому аргю [Баранников 1931: 158], трудно оспорить, впрочем, как и принять его решение игнорировать эту часть материала. Ведь в источнике и та часть материала, которая «исковеркана», обладает определенной информативной ценностью. Кроме того, пока не проведен анализ, делать вывод о том, что именно в источнике является перспективным, а что нет, преждевременно.

В словаре 1927 г. описано около 3700 позиций. На этом фоне 24 цыганские фразы и словосочетания не являются значительным материалом, однако в словаре такого рода они появились в первый и (большая их часть) в последний раз. А.П. Баранников чаще фрагментарно анализирует и объясняет 10 из них, пренебрегая остальными. Получается, что единственным основанием для заключения о наличии в в о р о в с к о м аргю тех или иных лексических элементов обнаруженной в источнике 1927 г. цыганской фразы является следующий весьма спорный критерий: смог ли сходу профессионал-индолог понять ее единственную непрофессиональную запись, выполненную на слух человеком, не владевшим цыганским языком. С этим трудно согласиться. Рассмотрим внимательно весь этот материал.

1) Первая цыганская фраза: «**Батенни грас жен** – приемщик краденых лошадей» [Потапов 1927: 12] – содержит сегмент *грас*, отождествленный А.П. Баранниковым с существительным м. р. 'лошадь' [Баранников 1931: 147, 155], однако целиком фраза осталась не разобранной. «Нигде пока не квалифицировано как цыганизм словосочетание *батенни грас жен* 'приемщик краденых лошадей' [Потапов 1927: 12], отмеченное среди многих сомнительных по степени освоенности цыганских вкраплений в словаре криминального аргю 1927 года» [Шаповал, Дьячок 1997: 62–63]. На его месте довольно надежно прочитывается цыганское (кэлдэрарское или шире влашское) \*битиндэ грастэн 'продавшие / продали (они / вы) лошадей', ср. [Баранников, Сергиевский 1938: 16, 32; Деметер 1990: 37, 54]. Чтение восстанавливается, исходя из визуального смешения *a* – *u* в **батенни** и *ж* – *т* в **жен**, фонетического неразличения записавшим предударных [’э] и [’и] (а также порой и ударных [э] и [ы], [’э] и [’и]), ассимиляции группы [н’д’] в [н’н’] в про-

изношении информанта. Понятно, что включать это словосочетание в аргосский конокрадов на основании одной сомнительной фиксации и «восстанавливать» три удара *батённи грáс жён* без предварительного этимологического анализа довольно рискованно, ср. [Грачев 1997: 14; 118]. Толкование «приемщик краденых лошадей» приходится признать вполне неточным.

В том же источнике есть фраза, как будто продолжающая ту же тему: «**Крастен чугунов кхунано жабак** – лошадь, купленная с правильными документами» [Потапов 1927: 75]. См. ниже (№ 10). Если эти фразы связаны, то не исключено чтение \**ба тиндэ грастён* «уже купили (они / вы) лошадей».

2) Следующая фраза, скорее всего, должна рассматриваться вместе с двумя другими: «**Бут гадженапо** – много народа на рынке» [Потапов 1927: 21] + «**Пыхвара** – базар» [Потапов 1927: 133] + «**Савостьика** – много людей» [Потапов 1927: 138]. Реконструкция: \**бут гадженыпó пэ хв°ára* «много мужичья на рынке» / *савó стíко* «вот столько!». Вычленяются цыганские слова: *бут* – много, *гадженыпó* – собирательное от *гаджé* «нецыган, русский, мужик, крестьянин», *пэ, прэ* – на, *фóро* м. «город, базар» (с украинской заменой [ф] группой [хв] и, возможно, с восходящим дифтонгом типа румынского [оá] под ударением), *савó* – какой / каково, а также *стíко* – укр. *стíльки* «столько» в разговорном произношении. Очевидно, обмен репликами зафиксирован на рынке. А.П. Баранниковым одна из этих записей приведена с неоговоренными исправлениями в толковании и написании: «пы хвора «на базар» < цыг. «ре хвóго «на базар»» [Баранников 1931: 147]. Однако неточное толкование у С.М. Потапова («**Пыхвара** – базар» [Потапов 1927: 133]) позволяет восстановить метод работы с полевыми записями цыганских разговоров при распределении материала по словарным статьям жаргонного словаря. Видимо, такого же рода неточность в «нарезке» привела также к появлению словарной статьи «**Пхень** – брат, сестра» [Потапов 1927: 132], возникшей из записи типа цыг. \**п(х)рал, пхень* – брат, сестра. В этом случае А.П. Баранников также не оговорил свое исправление порядка толкований: «*п х е н ь* «сестра, брат» < цыг. «рхеп «сестра»» [Баранников 1931: 154].

3) «**Всараснахенда** – сознание» [Потапов 1927: 32]. Цыг. «в с а р а с п х а н д а «все рассказал»» [Баранников 1931: 152], или «рассказала». Отражение придыхательного [пх] в виде дополнительного слога весьма необычно. Можно рискнуть прочесть и так: \**всáрэс нá хиндя* «ompiно поп сасавит», где *всá<во>рэс* «вовсе, совсем» (от цыг. сэrvского «*всáворо* [<ж. р.> всáвори] = *сарó* весь» [Баранников, Сергиевский 1938: 22]), *на* «не», *хиндя* – перфект 3 л. ед. ч. от *хнэл* «сасо», ср.: латышское *xñel v itr* defecate, shit, словацкое *xinel v itr* shit (vulg.). Не имелось ли в виду (с учетом такого прочтения) мужественное «непризнание вины», выраженное фигурально посредством метафоры «дефекация» > «страх»? Ср. также: «**Не потруйся** – «сознавайся»» [Потапов 1927: 108], не рассматриваемое А.П. Баранниковым, но которое можно сравнить с цыг. северно-русским «**путравэс тэ** [путрадём] распороть» [Баранников, Сергиевский 1938: 110], *putravêla v tr* unstitch, rip open; ср.: латышское *putravel v tr* open by tearing or breaking smth., e.g. a sack; урсарское *putrel v tr* rip up; кэлдэрарское, ловарское *putrel v tr* 1. open 2. untie. Корень *путр-* значит «развязывать» и пр. В таком случае возникает еще раз повод исправить толкование «сознавайся» с точностью до наоборот: **не потруйся** «не признавайся».

4) «**Дадолынет** – пони» [Потапов 1927: 41]. А.П. Баранников дал такой критический комментарий: «В третьем из названных пособий мы находим выражение *да долынем* <sic!> – пони. Тут, видимо, ошибка и в слове аргосском и в передаче русского значения. Совершенно очевидно, что понятие *пони* совершенно чуждо интересам аргосского. Выражение аргосское, по-видимому, обозначает «да, поняли, да, понимаем», чему соответствует цыганское *da, ро́йне* [точнее: «они или вы поняли». – В.Ш.], таким образом *да долынем* стоит вместо *да полине*» [Баранников 1931: 150]. Или, учитывая возможный макаронизм реплик, вместо \**да дылынэ, понял?* «эти дураки, понял?», ср.: «**Долы-но** – плохой» [Потапов 1927: 46] (с выделением дефисом якобы русского противительного союза *но?*), цыг. (северно-русск.) *дылынó* «плохой; дурной; глупый». Конечное *-т* неясно.

5) «**Дай ман понырдать** – дай покурить» [Потапов 1927: 41]. Комментарий А.П. Баранникова: «Косвенные формы этого местоимения <мэ 'я'> мы имеем в фразах: *дай*

ман 'дай мне', цыг. *de man(di)*, и дыкхен поман 'смотри на меня'. В цыганском языке фраза *díkhén re man* означает 'смотрите' или 'смотрят на меня'» [Баранников 1931: 150]. Оставленное без внимания **побырдать** можно прочесть как \*побырдать, от цыг. северно-русс. **побырда́ла** 'покурит' / *poʃirdêla v tr/itr* 1. smoke.

6) «Джуга мартхаш тыни – выпить самогонки» [Потапов 1927: 44], \*чху<sup>м</sup> уамір<sup>а</sup> тх<sup>з</sup> аштыні 'ставь «гомыру» и остатнюю' / укр. 'став «гоміру» й остáнню', где цыг. *чху(в)* (с твердым [чх]) 'ставь, клади'; русск. жаргонное *гамара, гамура, гамыра* – 'крепкое спиртное' [Потапов 1927: 35], *тх* вариант союза *тхэ* 'и' перед гласным следующего слова; \*ашчыні / ачхыні – форма ж. р. ед. ч. *ačh-in-i / ačh-il-i* причастия от глагола *ačh* 'оставаться'. Приходится признать, что для человека, который, судя по сегментации текста, цыганским не владел, фонетически запись весьма точна.

7) «Донет курды – баран» [Потапов 1927: 46]. Восстанавливается гадательно чтение \*до / дро нáк<sup>х</sup> курды 'в нос трахнутая'.

8) Дыкхен пошан – «смотрит» [Потапов 1927: 47]. Комментарий (с неоговоренными исправлениями): «<...> дыкхен поман 'смотри <sic!> на меня'. В цыганском языке фраза *díkhén re man* означает 'смотрите' или 'смотрят на меня'» [Баранников 1931: 150].

9) А.П. Баранников идентифицировал первую часть записи: «Закрастен паркун – арестован за кражу лошадей» [Потапов 1927: 53]. Ей в соответствие он ставит предложно-падежное сочетание на «смешанном» русско-цыганском языке: «*za grastén* 'за лошадей'» [Баранников 1931: 147]. С учетом смещения д – з (ср.: «Визный ~ хороший» [Потапов 1927: 28] <видный?>) возможно и прочтение цыг. \*да грастэн 'этих лошадей'. Второе графическое слово **паркун** остается неясным.

10) Тот же сегмент «крастен» (косвенная основа мн. ч., равная вин. п. мн. ч. одушевленного существительного) обнаруживается в другой фразе: «Крастен чугу́н кхунано жабак – лошадь, купленная с правильными документами» [Потапов 1927: 75]. Недавно М.А. Грачев не вполне точно процитировал последнюю запись в качестве примера выражения конокрадов, в котором встречаются цыганские корни: «*крас́тен чугу́н кхуна́мо жабáк* – лошадь, купленная с настоящими (не фальшивыми) документами» [Грачев 2005: 128]. Однако именно по поводу таких «исковерканных» фраз А.П. Баранников заключил, что «трудно считать их постоянными компонентами аргос» [Баранников 1931: 158]. Помимо вышерассмотренного «крастен» здесь можно с некоторой долей вероятности усмотреть и другие цыганские слова: «чугун» – цыг. (кэлд.) *чячю[й]и* <*чячю[н]и* > 'правильная' (согласуется по роду с *патри́н* 'документ', см. № 35), от *чячюно́* 'истинный, настоящий, правильный' [Баранников, Сергиевский 1938: 148; Деметер 1990: 171]; «кхунано» – *кхуророб?* (м. р.) 'жеребенок, жеребчик' [Баранников, Сергиевский 1938: 66]. Эти предположения основаны на вероятном смещении в записи букв: г – ч, н – и, н – р. Качество записи не позволяет прочесть фразу, но на фоне массы других цыганских новелл в дефектных фиксациях этих совпадений достаточно для предположения о том, что и № 10 отражает цыганскую речь.

11) А.П. Баранников отметил: «Подобным же образом о т р у ж и н д ы в выражении *лак мищано отружинды* 'воровать от своей шайки цыган' ошибочно вместо *отруменды* или *отрумендыр*, так как цыганская форма 'от цыган' или 'у цыган' будет звучать соответственно *гомéндір, гомéнде*» [Баранников 1931: 146], ср.: «Лак мищано отружинды – воровать от своей шайки цыган» [Потапов 1927: 80]. И в этом случае не представляется очевидной идея о смешении русского и цыганского языков. Фразу целиком можно прочесть и чисто по-цыгански: \*лав мищипо о ромэндыр 'беру добро <у> цыган'. При этом предполагается, что «Лак» соответствует цыганскому *лав* 'беру'; «мищано» – \*мищыпó / миштыпó 'добро' (ср. выше существительное с тем же суффиксом -ыно: *гадженапо*, № 2), от цыг. *миштыб* 'хорошо'; «от» соответствует артиклю *о*; «ружинды», как и отмечал А.П. Баранников, соответствует цыганской форме отложительного падежа множественного числа от *ром* 'цыган' – *ромэндыр*. Не следует отрывать от этой фразы и объяснение записи «Мещеню – брюки» [Потапов 1927: 92]. Можно предположить, что «невыразимые», название которых имело немало эвфемизмов, в данном случае были названы по-цыгански словом 'добро, имущество', что было записано как

\*мещипо (фонетически [≈мишчыпó]), а затем переписано с ошибками прочтения, вызванными переразложением элементов между буквами и их визуальным смещением: *ипо – еню*.

12) «Лары-на-ны – нет денег» [Потапов 1927: 81], «Выражение л а р ы н а н ы ‘нет денег’, видимо, вместо ‘ловы на ны’. Фраза ‘нет денег’ по-цыгански звучит *lové pa pé*» [Баранников 1931: 146], точнее: \*ловоры наны, ловорэ нанэ ‘денежек нет’, фонетически со стяжением предударных гласных, разделенных только [в]: [л̄ъ:ры̄], как *балава-соро* ‘сальцо’ [бал̄ъ:сор̄б], где [ъ:] – долгий гласный, прерывистостью похожий на русский [ъ:] в з[ъ:]днб.

13) «Настшино – дамские часы» [Потапов 1927: 101]. В качестве гипотезы можно предложить следующее объяснение: в данном случае отражена запись цыг. (севернорусск.) \*на джинбм ‘не знаю’. Можно предположить, что информант не знал, где дамские часы или как их назвать, что и отразилось в реплике *на джинбм*.

Конечный носовой (нередко слабо артикулируемый в ряде цыганских диалектов) в записи **Настшино** никак не отражен средствами русской графики. Кстати, как и в записи английского *come on* ‘давай, вперед’ в том же источнике: «**Камо** – “идите”» [Потапов 1927: 63]. Английская версия представляется нам более приемлемой, нежели объяснение А.П. Баранникова: «В выражении *камо* ‘идите’, мы, видимо, имеем цыганскую фразу *ка те* ‘ко мне’, которая употребляется как призыв: ‘ко мне – идите’» [Баранников 1931: 150]. Однако ‘идите’ – это не только «‘ко мне – идите’», но и ‘от меня’, ‘со мной’, ‘без меня’ и т.д.<sup>6</sup> Что касается смешения *д – ст*, то оно больше в источнике не представлено. Хотя в принципе смешение рукописного *д* с прямой мачтой, уходящей вниз, и графической группы *ст* (со скорописным *т*, представлявшим собой прямую мачту, уходящую вниз) в почерках того времени вероятно. Чтение написанного без перечеркивания ж как глухого *ш* после выбора чтения *ст* также могло показаться очевидным. Однако, даже если признать возможность чтения \*на джинбм за записью **Настшино**, включать его в качестве освоенного цыганизма в лексикон русского арго нет оснований.

14) «Одец бездуй – восемь рублей» [Потапов 1927: 106]. Предположительное чтение \*бнец без дуй / дуй ‘десять без двух (рублей)’, где первое слово – «**Онец** – 10 рубл<ей>» [Потапов 1927: 107] (тюркское *он* + русск. уменьшительный суффикс *-ёц*), *без* – русский предлог, *дуй* – цыг. ‘два’ в форме русского родительного падежа существительных мужского рода. Странно, что мимо внимания акад. А.П. Баранникова, отметившего *доек* ‘два’<sup>7</sup> [Баранников 1931: 148, 149] (цыг. *дуй* ‘два’ + русск. уменьшительный суффикс *-ёк* [’бк]), прошел такой сигнал морфологической адаптации цыганского числительного *дуй* ‘два’ в русской речи как форма родительного падежа *дуй*. Это словосочетание – прекрасный образчик той смеси языков, на которой изъяснялись конные барышники. Структура словосочетания, грамматически оформленного по-русски, соответствует цыганскому *бидуэнгиро дэи* ‘восемь’, букв: ‘без двух десять’, точнее: ‘\*бездвушный десяток’.

15) «Отваить коннит вежанет – за нами следят [Потапов 1927: 108], может быть: \*отвали, *дыкхэна прэ ман[д]э* ‘отвали, смотрят на меня’. Фраза искажена по причине фонетического неразличения звонкого [д] и глухого [т] (ср. выше **красен**, № 9, 10), визуального смещения *ь – ы*, *т – п*, *в – р* и отражения произношения группы [нд] как [нн] (ср. выше [н’д’] и [н’н’]: **Батени**, № 1). Опять неясное конечное *-т*, как в № 4.

<sup>6</sup> Западноевропейский материал в этом словаре порой отражен весьма спорно, напр.: «**Монтеза** – мать» [Потапов 1927: 130] – это скопированная с графическим переразложением *o + z > a* запись \*мон трезог, отразившая франц. *mon trésor* ‘моё сокровище’ и передающая оглушение конечного [г] как *z* [γ/h].

<sup>7</sup> Чтение первого слова исходной записи «**Доек**, *дуй* – два рубля» [Потапов 1927: 47] через стадию \*доек (\*доек) как *дуби* является известной по крайней мере с 1990 г. визуальной ошибкой [Баранников 1990: 10; ТСУЖ 1991: 51; Мокиенко, Никитина 2000: 170; Елистратов 2000: 643; 2005: 645].

Может быть, на какой-то стадии материал подвергся графической русификации? Например, цыг. *охтб* 'восемь' > **акто** [Баранников 1931: 147–148], ср. укр. *а хто* 'а кто'. «Х а н в д ы р е, несомненно, вместо х а н д ы р и, так как по-цыгански понятие 'церковь' выражается словом *kxand'ir'í* в южноцыганском диалекте и *kxang'ir'í* – в северноцыганском диалекте (московском, ленинградском и т.д.)» [Баранников 1931: 146]. Точнее не *-ды-*, а *-ди-* (*-гы-* в *-ды-* не переходит): на месте *kxand'ir'í* было услышано укр. *хан в дірі*, а не русск. *в дыре*. Тогда, может, и эти *-т* являются наивным средством русификации южнорусского (и разговорного укр.) *не* [н'э] > *нет*: **дадолынет** и **вежанет**?

16) «**Простая секедана бакру** – идут арестовывать» [Потапов 1927: 130]. Ср. цыг. (сэrvское): \**Праста́йна / праста́йна!* С[с]кэдэна! Ба́кро! 'Бежим! Забирают! Козёл!', где *праста́йна* < *праста́га* 'бежим'; *скэдэна* – 3 л. мн. ч. 'собирают' (возможно, зафиксированное с эмфатическим удлинением начального [с]: \**сскэдэна*); *ба́кро* – вокатив от «**бакрб** м [бакрэ] баран, (*Мар<иуполь>*) козел» [Баранников, Сергиевский 1938: 102, 126, 11]. Эта фраза уникальна по точности фонетической фиксации, однако её толкование никуда не годится. Это еще раз доказывает, что записывавший обладал хорошим слухом, но не всегда мог обращаться за разъяснениями к носителям языка.

17) «**Пучколана отбелить** – ударить в грудь» [Потапов 1927: 132]. Возможно, с учетом произношения *о[д]белить*, на месте русифицированной записи было цыг.: \**по* <sup>9</sup>*колына́* *воу даб дэла* – укр. 'в груди він стусана дасть' / русск. 'в грудь он ударит', где *по / про* 'на' – безударное [пу]; [п] – возможный носовой («гундосый») призвук перед инициальным заднеязычным; *колына́* – мн. ч. от *колын* 'грудь', цыг. *kolín n t chest, breast*; *воу* 'он'; составной глагол *даб дэла* 'бить', *del dab v phr beat*.

18) «**Пысоман выджину** – доказан» [Потапов 1927: 133]; «**Форма в ы д ж и н у**, являющаяся в выражении *пы сом ан вы д ж и н у* 'доказан', восходит к глаголу *vijínés* 'вызвать, узнать'. Приведенное в третьем собрании выражение должно звучать *pe so man vijín'á*, и означает в цыганском языке не 'доказан', а 'по чему (на основании чего) он меня вызнал, узнал'» [Баранников 1931: 152]. Скорее калька с украинского: *По чому* (букв. 'на чому') *мене визнано?* = *Пе со ман выджин[дл]о?*

19) «**Пыхвара** – базар» [Потапов 1927: 133]. См. выше № 2.

20) «**Резорава рессор** – задержан» [Потапов 1927: 135], с учетом вольностей графики: \**Ме дорáв арéс[с]о*, цыг. \**мэ дарáв аресто / мэ дарáв вáрэсо*, цыг. 'я боюсь ареста? / я боюсь чего-то?'. Близкое к визуальному смешению прописных рукописных *М – Р* смешение начальных *М – Ж*, думается, можно заподозрить в записи: «**Женоше** – кольцо» [Потапов 1927: 49] < \**Реноме*?

21) «**Рунни лубно** – женщина, проститутка, цыганка» [Потапов 1927: 137]; «*р у н н и* 'женщина'» < «*гопн'í* 'женщина, цыганка'» [Баранников 1931: 147, 154]. Вторая часть фразы не объяснена, хотя *лубно* – это вокатив от *лубны́* 'проститутка'. Слово опущено и в «Русско-цыганском словаре» 1938 г. Фраза в целом представляет собой грубое обращение к жене.

22) «**Савостыка** – много людей» [Потапов 1927: 138]. См. выше № 2.

23) «**Уэкнуру** – милиционер» [Потапов 1927: 170]. Возможно, содержит заимствованное из русского цыг. *кнуро* 'кнур' (например: \**воу эк кнуро* 'он <один / некий> кнур') или \**тэкнуру*, *тэкнорб* 'маленький'.

24) «**Уэрбайу** – ардом<sup>8</sup>» [Потапов 1927: 170], цыг. *о кхэр барб* – 'большой дом' / 'тюрьма' [Шаповал, Дьячок 1997: 63]. А.П. Баранников приводил в числе синонимов со значением 'тюрьма' в цыганском языке «*ваго khét*» [Баранников 1931: 143], однако эту специфически искаженную запись не опознал. Это попытка фиксации цыганского слова с отражением укающей редукции: [у кхэр бару́], а не запись лексического элемента русского арго, сколько-нибудь фонетически адаптированного. Характерно, что придыхательному [kh] не найдено подходящего аналога, то есть звук не идентифицирован; со-

<sup>8</sup> Советизм *ардом* 'тюрьма' – сокращение от *арестный дом*, ср. искаженное: «**Нардом** – арестное помещение» [Потапов 1927: 100], вне жаргона *нардом* (народный дом) – 'клуб'.

норный [p] записан как й, что является, по всей вероятности, результатом смещения букв p и й при копировании записи (при смешении звуков [p] и [й] мы бы имели в этом источнике \*уэрбаю). Вряд ли эта запись сказала бы больше русскому жигану, чем индологу, так что включать ее в число русских арготизмов не следует.

Выборочный подход к материалу помешал А.П. Баранникову заметить, что трудно читаемые цыганские фразы находятся в непосредственной связи с легко читаемыми отдельными словами, описанными в том же источнике. Сплошной анализ фраз позволил увидеть, как на основе их рабочих записей путем не всегда квалифицированной их «нарезки» создавались словарные описания отдельных цыганских слов, входивших затем в алфавитный порядок словаря. Как «постоянными компонентами арго» не являются эти фразы, так и цыганские слова, которые были извлечены из них. Большая часть цыганского материала в словаре 1927 г. не имеет отношения к жаргону русского языка.

## II

### ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА СЛУХ

#### А) Контаминированные (в записи) числительные

А.П. Баранников делает вывод: «Таким образом в воровском арго мы находим все цыганские числительные до десяти, большую часть числительных от десяти до двадцати и некоторые числительные, означающие десятки» [Баранников 1931: 148]. При обосновании этого вывода А.П. Баранников аналитически выделяет сегменты, которые в словаре 1927 г. самостоятельно не представлены: «т р ы н 'три' (в деш - т р ы н 'тринадцать'), цыг. *tiñ* 'три'», «п а н ч 'пять' (в б и ш т у п а н ч двадцать пять)', цыг. *pañ* 'пять'» [Баранников 1931: 148]. Показательная ошибка «Деш-опачу – четырнадцать» [Потапов 1927: 44], вызванная, вероятно, скачком взгляда при переписывании с \*дэшупандж 'пятнадцать' на \*дэшуптар 'четырнадцать', исправляется автором статьи без оговорок: «деш о п а н ч у 'пятнадцать'» [Баранников 1931: 148]. Есть основания усомниться в том, что подобные аналитические операции были по силам носителям арго, не владеющим цыганским языком, если они оказались не по силам составителю словаря 1927 г. Заведомо более проблематично признание регулярного использования таких незафиксированных где бы то и когда бы то ни было конструктов в речи носителей р у с с к о г о а р г о.

Еще три цыганских числительных отражены в составе не замеченных А.П. Баранниковым контаминированных тюркско-цыганских записей:

25) «Бешпан – 5» [Потапов 1927: 13], повторено в ряде словарей: «БЕШ-ПАН, -а, м. Угол. Пять. ТСУЖ, 19» [Мокиенко, Никитина 2000: 60], а также в искаженном виде: «Беш-паш (башк<ирское>) – пять» [ТСУЖ 1991: 19]; «БЕШ-ПАШ (башк. устар.) – пять рублей» [Дубягина, Смирнов 2001: 35], «БЕ-ПАШ – пять» [Бронников 1990: 2]. Вероятно, это графическая контаминация тюркского и цыганского числительных. Ср. в речи конных барышников: «Бешъ – 5 руб<лей>» [Патканов 1900: 148]; в словарях уголовного жаргона: «Беж, беш – пять рублей» [Потапов 1927: 13; ТСУЖ 1991: 19; Дубягина, Смирнов 2001: 35] и др. А также цыг. (северно-русс.) *пандж* [панч] 'пять' [Баранников, Сергиевский 1938: 88].

О функционировании подобных гибридов в речи завсегдатаев конных рынков сведений нет. П.С. Патканов писал: «Для курьеза приведем употребительнейшие из выражений и денежный счет конных барышников, представляющие смесь цыганского с русским и татарским» [Патканов 1900: 148]. Однако образчиков таких гибридных числительных не приводит, хотя речь ведет именно о смеси языков. Видимо, в словаре 1927 г. были зафиксированы реплики информанта, приводившего ряды числительных (названий денежных сумм) на трех языках: татарском, цыганском, русском. Однако записавший не всегда сегментировал татарский и цыганский материал. И словарь 1927 г. отразил три случая (скорее всего графической, то есть не используемой в речи) контаминации тюркских и цыганских числительных.

Для объяснения того, как и почему в записи \*(беш)панч могло исчезнуть конечное -ч, представляется более продуктивным обратиться не к фонетике, а к графике. Материалы словаря 1927 г. частично переписывались со старой орфографии на новую. При этом не всегда удалось совладать с конечными ерами. Так возникло по ошибке слово *бруй* 'случайно попавший в тюрьму' [Потапов 1927: 19], из прежнего *брусъ* 'первый раз, случайно попавший в тюрьму' [Попов 1912: 18]; *гумь* 'извозчик' [Потапов 1927: 19], из *гужъ* 'то же' и др. В связи с этим предполагается, что и \*бешпанч было прочитано как *бешпанъ*, вследствие чего конечная буква -ч, принятая за букву \*-ъ, была отброшена по правилам новой орфографии.

26) Второй пример контаминации числительных также содержит тюркское слово в первой позиции, а цыганское – во второй: «**Ан-деш** – пятнадцать рублей» [Потапов 1927: 8], тюрк. *он* '10' (ср.: тат. *ун* 'десять' [РТС 1991: 129], кирг. *он* 'десять' [КРС 1965: 568]) + цыг. *деш* '10'. В толковании «пятнадцать рублей» на месте ожидаемого 'десять', возможно, нет ошибки: «С 1886 г. вновь стали чеканиться империял [10 р., червонец] и полуимпериял [5 р.], на которых помещается портрет императора. Во время реформы, осуществленной министром финансов С.Ю. Витте в 1897 г., как переходная ступень между монетой старого и нового веса, были выпущены империял и полуимпериял старого веса, но с ценностью в 15 и 7 1/2 рублей, а позже снова чеканились монеты в 10 и 5 рублей, составляющие уже 2/3 и 1/3 империяла» [Спасский 1970: 216]. Так что старый червонец с номиналом 10 рублей после 1897 г. был уже равен 15 новым золотым рублям. Однако после реформ такого рода в речи нередко сохраняется консервативный счет по-старому. Барышники, видимо, считали на старые полновесные червонцы, а лексикограф – на новые.

Если же принять возможность визуального смешения *б* – *д* в *ан-деш*, то восстанавливается исходное чтение \*ан-беш (ср.: «**Онец-беж** – 15 рубл.» [Потапов 1927: 107]). Это не тождественно версии Н.К. Дмитриева, который усматривал в этой записи результат редкостной фонетической ассимиляции: «ан-деш – 15 р. (П<отапов>). Та же форма, что обе предыдущие <т.е. тюркское *он-беж* '15'>, но только здесь этимологическое *б* ассимилируется с *п* (прогрессивная ассимиляция)» [Дмитриев 1931: 168]. Впрочем, кроме спорадического произношения *кросс[ф]орд* в русском языке таких случаев не припоминается.

27) Третий пример контаминации содержит цыганское слово в первой позиции и не имеет сегментирования: «**Шелкапчук** – 100» [Потапов 1927: 187], т. е. \*шел[-]капчук, цыг. *шел* '100' + тюрк. *капчук*, *капшук* 'мешок, кошель, фигурально – 100 рублей'. Ср. в речи конных барышников: «**Капчигъ** – 100 руб<лей>» [Патканов 1900: 148], «**Капчук** – сторублевый кредитный билет», а также с ошибками: «**Кайгук** – 100 руб<лей>» [Потапов 1927: 65, 63], «**Кайгун** – сто рублей» [ТСУЖ 1991: 80].

Форма представления числительных в записи такова, что единичный характер самих записей не вызывает сомнений. Они не дают оснований считать лексическими единицами арго не только выведенные аналитическим путем \*пан, \*шел, но и сами гибридные фиксации *ан-деш*, *беш*<->*пан*<ч>, *шел*<->*капчук*, поскольку представляют собой слитную или дефисную запись на слух двух синонимов, употреблявшихся в одной позиции: *либо он*, *либо деш* и т.д.

«Отсутствие остальных числительных до ста объясняется, возможно, только неполнотой записей» [Баранников 1931: 148]. Однако при этом возникает вопрос, можно ли считать устойчивым лексическим элементом арго числовой ряд с пропусками, который вообще-то затруднительно использовать при счете. Заметим, что довольно распространенные записи числительных условных языков ремесленников и торговцев обычно воспроизводят полные, заученные ряды десятков, сотен и составных числительных.

#### Б) Отдельные слова, существенно искаженные в записи

28) «**Гугво** – сахар» [Потапов 1927: 40], ср. цыг. (сэрвское) *гугло* «1. сладкий. 2. м сахар...» [Баранников, Сергиевский 1938: 32]; цыг. (северно-русс.) *гудло* «1. сладкий, вкусный... 2. м сладкое; чай, сахар...» [Баранников, Сергиевский 1938: 32–33; Шаповал,



Дьячок 1997: 62]. Смещение *л – н* в записи «Гугно» могло быть вызвано слуховой ошибкой, спровоцированной ассоциациями с русским *гугнуть*. Ср., однако, и вариативность грамматических форм в цыг. *мангнэ = манглэ* '(они / вы) попросили', где также наблюдается нечеткое противопоставление групп согласных [пн] и [пл].

29) «Джи – идти» [Потапов 1927: 44], ср. цыг. (северно-русс.) *джа* 'иди' [Шаповал, Дьячок 1997: 63], более точное соответствие – цыг. (сэрвское) *джа* 'иди, идешь'. В (цыганско-украинском) диалекте сэрвов представлено твердое [дж] и форма 2 л. ед. ч. *джа* (< \**джан* < *джас*) обобщена в качестве единственной формы инфинитива балканского типа: *тэ джа* – букв.: 'да идешь', ср. [Баранников, Сергиевский 1938: 35]. Запись «Джи» вместо \**джа* возникла по ошибке при копировании, ср. аналогичное визуальное смешение *а – и*, представленное в записи другого цыганизма в том же словаре: «Гри – лошадь» [Потапов 1927: 39], чтение которого А.П. Баранников закономерно восстановил в виде «г р а (г р и)» и сопоставил с цыг. (сэрвским) *гра* (м. р.) 'лошадь, конь' [Баранников 1931: 155; Баранников, Сергиевский 1938: 32], из \**граh* < *грас* < *граст*.

30) «Коло – рубль» [Потапов 1927: 71], ср. цыг. *калб* 'черный' (возможно, переосмысление в цыганском русского арготизма *колесо* 'рубль') [Шаповал, Дьячок 1997: 62]. Думается, эту запись нельзя отрывать от «Эккало – 1 руб.» [Потапов 1927: 194]. Последнее А.П. Баранниковым трактуется как (незафиксированное) субстантивированное прилагательное \**ekh-al-o* '\*единый, целый' от числительного *ekh* 'один': «Что касается э к к а л о '1 руб.', то здесь э к к а л о есть точный перевод русского 'целковый': от цыганского эк (уек [читать йэк/уек. – В.Ш.]) 'один' образовано производное имя при помощи цыганского же суффикса *ʃo, aʃo*» [Баранников 1931: 148]. Вероятнее чтение: \**эк калб* 'один рубль', букв.: 'один черный'.

31) «Кофа – деньги» [Потапов 1927: 74], ср. цыг. (северно-русс.) *кофо* (м. р.) 'барыш' [Баранников, Сергиевский 1938: 63], а также: «*Кобфу* – барыш, прибыль, процент (м. р.)» [Патканов 1900: 170], цыг. (латышск.) *kófõs* [=кофус] 'profit, gain [доход, прибыль]', ср. нем.: *Kauf m.* 'покупка, купля / buying purchase; bargain, deal [покупка, договор, сделка]' [Manush 1997: 73].

32) «Манижаско – револьвер» [Потапов 1927: 87], вероятно, следует читать \**маримаско* 'то, что служит для драки', ср.: *маримаско, маримахко*, 'боевой', посессив от цыг. (влашск.) *маримбс м.* 'драка, битва', от *мар-* 'бей' [Шаповал, Дьячок 1997: 63], а также (ошибочно отнесенное к ж. р.) цыг. (сэрвское) «*марима\* ж = марибэ м* война; бой» [Баранников, Сергиевский 1938: 71]; *марды* 'наган' – причастие ж. р. от того же глагола [Язык 2006: 91, № 1662]. Ср. ниже (№ 37): *Сартари*, где также вероятно визуальное смешение букв *н – р*. Наличие (предполагаемого нами в *Манижаско*) смешения букв *ж – м* при записи цыганских слов в словаре 1927 г. отмечает и А.П. Баранников в записи «*лак мищано отружинды*» [Баранников 1931: 146] (см. № 11).

33) «Мещеню – брюки» [Потапов 1927: 92], см. № 11.

34) «Письмари – вши» [Потапов 1927: 118], не исключено, что от цыг. (северно-русс.) *пушуморй* уменьш. к «*пушум ж* блоха» [Баранников, Сергиевский 1938: 110], но еще ближе фонетически цыг. (кэлд.) *pišom n f flea, pišoto ři / пишоморры* (ж. ед.) 'блошка' [Шаповал, Дьячок 1997: 63].

35) «Потрым – конская карточка» [Потапов 1927: 127], ср. цыг. *патри́н* (ж. р.) 'лист, документ' [Шаповал, Дьячок 1997: 63; Баранников, Сергиевский 1938: 89]. Влияние укр. *потримати* 'поддержать' могло сказаться как в речи информанта, так и на восприятии сказанного записывавшим.

36) «Раво – мука, рожь» [Потапов 1927: 133], возможно, цыг. (сэрвское) «*варб\* м* мука» [Баранников, Сергиевский 1938: 20], с графической или слуховой метатезой, хотя не исключено, что было неверно расслышано цыганское (влашское) с горловым [рр], например: цыг. (кэлд.) *аґо n t flour*, «*аррб м* мука» [Демертер 1990: 29].

37) «Сартари – сундук» [Потапов 1927: 139], ср. цыг. (северно-русс.) «*сынтари м* сундук» и «*сэлтари*» 'то же' [Баранников, Сергиевский 1938: 131; Шаповал, Дьячок 1997: 63], впервые: «СундукЪ Сынтари» [Зуев 1787: 180]. А.Ф. Потт имел для описания этого слова только свидетельство из записок В. Зуева и сближал с *сундук*, что сомнительно:

«*Syntari* Kasten <'ящик, ларь'> I.69.103. Szuj. <Зуев> – Ngr. σεντούκι, R. сундúkЪ, stammt aus d. Arab. صندوق f. und m. A box, a trunk» <новогр. σεντούκι, русск. сундúkЪ, выводится из арабск. [sandûk] ж. и м. 'ящик, сундук' > [Pott 184, II: 239].

38) «**Тунарико** – темно» [Потапов 1927: 167]. Ср.: кэлдэрарское, ловарское *tuñáriko* *adj m dark; n m darkness*, от румынского *tuneric* 'темный'.

39) «**Хапанье** – кровь» [Потапов 1927: 177], вероятно, представляет собой попытку записать звучание цыг. (сэрвского) *h'o panú* [\*h'o пан'í] 'вода' [Баранников, Сергиевский 1938: 88] с артиклем м. р. *o*. (Ср. «**Укер** – дом» [Потапов 1927: 169], где артикль *o* [y] также написан слитно. А.П. Баранников дает с неоговоренным исправлением: «у к х е р 'дом'» – «о кхег 'дом', где *o* – член муж. рода» [Баранников 1931: 156].) Начальный [h-] в таких позициях возможен в диалекте сэрвов, как и в украинском, на фоне которого он реализуется, ср., например: укр. [h]óчи 'глаза' в эмфатическом произношении. Конечное **-нье** либо отображает необычную полумягкость [н], расслышанную как [н'й], либо появилось по ошибке при копировании на месте исходного **-ны**.

Толкование 'кровь' вместо исходного 'вода' – ситуативное, ср. укр. «людська кров не водиця» и т.п. Вряд ли запись *хапанье* 'кровь' отражала регулярное словоупотребление в локальном южнорусском или украинском жаргоне 1920-х гг., если она, по всей вероятности, не отражает ни точного звучания, ни точного значения исходного цыганского слова.

40) «**Уиру** – сапоги» [Потапов 1927: 169], с известной долей условности, по причине неточности как формального, так и семантического соответствия, можно сравнить с цыг. (кэлд.) *rip'fo* *n m foot, leg*, *пунрр'о* *m* 'нога, ступня'. Неточности говорят сами за себя: видимо, записавший не слишком ясно представлял, о чем идет речь, и ориентировался на поясняющие жесты.

41) «**Як** – спички» [Потапов 1927: 196], ср. цыг. (северно-русск.) *яг* (ж. р.) 'огонь' [Баранников, Сергиевский 1938: 151; Шаповал, Дьячок 1997: 63], цыг. (кэлд.) *йаг / уаг* (ж. р.) 'огонь' [Демертер 1990: 76]. Оглушение финальных звонких шумных характерно для северно-русского и ряда других диалектов цыганского языка в России [Вентцель 1964: 36]. Семантический перенос аналогичен отмеченному в арго: «**Огонь** – спички» [Потапов 1927: 106].

Все эти слова представлены в той или иной степени в искаженном виде, поэтому, вероятно, и не были распознаны А.П. Баранниковым. Думается, к этим записям можно применить критерий А.П. Баранникова, сформулированный им по отношению к близкому материалу: «трудно считать их постоянными компонентами арго» на основе единичной и притом весьма сомнительной фиксации.

И в заключение списка рассмотрим два возможных примера переразложения, вызванного, думается, стремлением интерпретировать звучащую цыганскую речь на базе русского языка.

42) «**Ракзура** – жеребец» [Потапов 1927: 134]. Не исключено, что из цыг. (сэрвского) \*[g]pa[h] зура[л'о] 'конь сильный', которое было понято и сегментировано как «ра[γ]з'ура – вó!» Выделена и отброшена расслышанная на месте конечного ударного *-ло* якобы русская частица *во*, видимо, как в *буравин* частица *-то* [Шаповал, Дьячок 1997: 63]. Пример смещения [в] и [л] в цыганских словах в том же источнике: «**Балавас** – свинья, свинина» (стоит не по алфавиту, возм. было \*балэвас); «**Баллалас** – сало» [Потапов 1927: 10] (также стоит не по алфавиту, на месте *балалас*), ср. цыг. «*baľavás* 'сало'» [Баранников 1931: 156].

43) «**Буравин** – вино» [Потапов 1927: 21], ср. цыг. (северно-русск.) *бравинта* *ж.* 'водка' [Баранников, Сергиевский 1938: 17; Шаповал, Дьячок 1997: 62], а также: «*Бравинто* – водка (ж. р.)» [Патканов 1900: 161], от нем. *Branntwein* *n.* 'водка' [Manush 1997: 35]. В записи, опубликованной С.М. Потаповым в 1927 г., слово *бравинта* представлено без последнего слога, который, очевидно, был воспринят как русская постпозитивная частица *-то* и отброшен (ср. выше: *ракзура*). Видимо, на записи сказалось сближение по созвучию с *бурый* или *буравить*, что и вызвало появление вставного [у] в

исходной инициальной группе согласных [бр]. Иным путем, независимо от цыганского, немецкое *Branntwein* 'водка' было заимствовано в виде *бравáнда* 'пиво' в аргю, а затем ошибочно включено в некоторые русские областные словари [Бондалетов 1987: 20, 29].

Наличие двух взаимно подкрепляемых примеров отождествления ударных конечных слогов цыганских слов с русскими частицами *во* и *-то* указывает на то, что записывавший не просто фиксировал звучащую речь, но и пытался ее осмыслить, пусть и своеобразно. Ср. также *долы-но*, где можно заподозрить попытку выделения русского союза *но*, и *лары-на-ны*, где можно усмотреть попытку понимания цыг. *на-ны* 'нет' как '(начинается) на (букву) *ны* (эн)', то есть 'нет'.

А.П. Баранников заключил: «Элементы, вошедшие в аргю, принадлежат двум разным цыганским диалектам, северному – великорусскому и южному – украинскому» [Баранников 1931: 158]. Значительное присутствие в источнике 1927 г. слов и фраз сэрвского диалекта цыганского языка не может не вызвать ряд вопросов. Выше мы отметили, что в словаре 1923 г. С.М. Потапов не отметил ни одного слова, которое можно было бы идентифицировать с этим диалектом. Это тем более странно, что его длительная и успешная карьера криминалиста до 1922 г. была связана с Киевом. Естественно было бы ожидать, что хотя бы некоторые заимствования из украинского (сэрвского) цыганского диалекта в местный уголовный жаргон могли бы быть им зафиксированы во время пребывания на Украине, однако это не так (единственное слово *раклó* – не арготизм, а регионализм). Не отметил их (за исключением *бульда* и, вероятно, *хавать*) и пристав В.М. Попов, также служивший в Киеве [Попов 1912]. Хотя цыгане-сэрвы, давно перешедшие к оседлости, легко делились сокровищами своего «бедного, звучного» диалекта с любопытными. Видимо, это и позволило одномоментно и без труда включить все эти сокровища в словарь жаргона в середине 1920-х годов.

М.В. Сергиевский и А.П. Баранников в своем «Цыганско-русском словаре» 1938 г. и других работах по цыганскому языку исходили из того, что при научном описании диалектов и создании литературного языка цыган в СССР достаточно учесть различие между северными (великорусскими) и южными (украинскими) цыганскими диалектами. Так А.П. Баранников писал в очерке «Об особенностях диалектов южных (украинских) цыган»: «Мои наблюдения последних 10–15 лет выявили факт, давно известный самим цыганам, но неизвестный науке цыгановедения, а именно, факт значительных различий между северными и южными цыганскими диалектами» [Баранников, Сергиевский 1938: 181]. Исходя из этой бинарной диалектологической схемы, был описан и лексический материал в словаре, что было шагом вперед для науки того времени, но привело к известному упрощению при описании наличного материала. Не были еще изучены другие многочисленные диалектные группы цыганского языка в России и СССР (см., напр. [Вентцель, Черенков 1976]).

В частности, в отвалах «исковерканных» записей цыганских фраз в словаре 1927 г. можно также вычленил лексический материал диалекта влашской группы (скорее кэл-дэрарского), что и было предпринято выше со всеми предосторожностями, диктуемыми особенностями материала: \*дур ашиля́н! 'отстань!'; \*лишомо́рры 'блошка'; \*варро́ 'мука́'; туня́рико 'темно'; \*<п>унрро́ м 'нога, ступня'; \*битинде́ грасте́н 'продавшие / продали лошадей'. Ни одно из этих слов не было воспроизведено точно в словаре 1927 г., все они реконструируются на основе критики записей. В одних случаях расхождение между записью (*туяарико*) и звучанием (*туня́рико*) незначительно, но в большинстве случаев оно почти критично для распознавания слова. Понятно, что это было предпринято нами не для того, чтобы пополнить список русских арготизмов словами цыганского происхождения. Этот анализ был призван показать, что в статье А.П. Баранникова 1931 г. выводы сделаны на основе разбора лишь более «прозрачной» части цыганских записей. Если же не игнорировать и «призрачную» их часть, то нельзя не признать, что «цыганские элементы» словаря русского жаргона 1927 г. в массе своей к собственно русскому жаргону отношения не имеют.

Одним из важных показателей освоенности заимствованного слова является его морфологическая адаптация. Дополнительные аргументы в пользу вывода о иноязычных вкраплениях дает отсутствие морфологической адаптации существительных женского рода, оканчивающихся на *-ы, -и*: «**Горуни** – корова» [Потапов 1927: 38], чтение А.П. Баранникова: «горони» < цыг. «*guruṇ'í* 'корова'»; «*г р а с н и* 'кобыла'» < цыг. «*grasn'í* 'кобыла'»; «рунни» < цыг. «*roṇn'í* 'женщина, цыганка'» [Баранников 1931: 147, 155]; «**Санакуни** – золото» [Потапов 1927: 139], «*с у н а к у н и* 'золото'» [Баранников 1931: 155], точнее – 'золотая'.

Подобные цыганские слова, будучи заимствованы в славянский язык, обычно адаптируются морфологически, например, используются в форме цыг. косвенного падежа с окончаниями *-а, -я*. Ср.: «Цыгански думи от женски род, завършващи на гласна или съгласна, добиват окончания *-а* или *-я*. Например: *бория, дая, кабния, минджа, пеня*» <Цыганские слова женского рода, оканчивающиеся на гласную или согласную, получают окончания *-а* или *-я*. Например: *бория* < *бори* 'невеста', *дая* < *дай* 'мать', *кабния* < *кхабны* 'беременная', *минджа* < *миндж* 'vulva', *пеня* < *пхэн* 'сестра'» [Костов 1956: 423]. Отмеченное с некоторым сомнением в 1899 г. П.Н. Тихановым у черниговских нищих «*гряя?* – лошадь» [Тиханов 1899: 97] (ж. р.) восходит, видимо, к цыг. северно-русскому «*грай м* [<мн. ч.> *гряя*] конь, лошадь» [Баранников, Сергиевский 1938: 32]. В недавно опубликованном В.Д. Бондалетовым «Словаре офенского языка» В.И. Даля 1854 г. находим «*Чъхяя – дѣвушка*» [Бондалетов 2004: 340], кстати, не отмеченное В.И. Далем в соотнесительном «Русско-офенском словаре» 1855 г. на *Дѣвка, Дѣвушка, Дѣвченка* [Бондалетов 2004: 370]. Наличие в этом случае подчеркнуто ясно обозначенного мягкого придыхательного [ç'h] создает серьезные проблемы для локализации заимствования: во всяком случае это не цыганское северно-русское «*чяй ж* [<мн. ч.> *чяя*] дочь, девушка-цыганка» [Баранников, Сергиевский 1938: 148], где нет особой фонемы [çh], и не сэрвское, где [чх] – твердое. Кроме того, это цыганское слово относится только к девушкам-цыганкам, в противоположность представительницам других этносов. Вместе с тем даже в единичных фиксациях *гряя* и *чъхяя* налицо морфологическая адаптация существительных женского рода.

Ряд глаголов, представленных в русском грамматическом оформлении: *дохать* 'убить', *драберить* 'играть в карты' (с не оговоренным исправлением: «**Даберить** – играть в карты» [Потапов 1927: 41]), *марать* 'убивать', *чардовать* 'красть' [Баранников 1931: 151–152], \**потырдать* 'покурить' – был услышан, вероятно, от тех же двуязычных цыган, от которых записаны фразы. За исключением *хавать* 'есть, кушать' они так и остались известными лишь по этой локальной фиксации.

Внимательный анализ каждого случая включения в словарь 1927 г. искаженного цыганского слова или фразы, не распознанных А.П. Баранниковым, приводит к выводу о том, что эти записи отражают результаты наблюдений над цыганской речью человека, не владевшего цыганским языком. Этот слой цыганского материала еще раз подтверждает вывод о том, что достаточно случайные единичные непрофессиональные записи слов и фраз на цыганских диалектах включены в словарь русского жаргона 1927 г. без достаточных оснований. Статистическая оценка как исходного списка А.П. Баранникова, так и уточненного списка, с точки зрения оценки влияния цыганского языка на лексику русского аргю, в принципе не может быть релевантна. Однако выявление новых слов, ранее не распознанных в источнике, помогает не только уточнить цыганские диалекты, материал которых был введен в словарь 1927 г., но также и найти дополнительные аргументы в пользу того, что в словаре 1927 г. подавляющую часть цыганского материала составляют записи слов, извлеченных из цыганской, а не арготической русской речи. Исследователями и ранее отмечалась опасность фиксации в качестве якобы арготизмов «чисто цыганских элементов, а не ассимилированных заимствований» («*di rugi elementi zingarici, anziché di prestiti assimilate*») [Cortelazzo 1975: 32].

Это особенно ясно в свете того, что за три четверти века статус подавляющего большинства этих уникальных цыганских записей в жаргонной лексикографии не изменился. Они остаются гапаксами, представленными только в словаре 1927 г. Лишь некото-

рые из них были повторены в словарях, вышедших в свет после стереотипного переиздания словаря С.М. Потапова 1927 г. [Потапов 1990], под явным его влиянием. Современные российские цыгановеды, для которых цыганский язык является родным, также оценивают аргументы и выводы этой статьи А.П. Баранникова весьма скептически, полагая, что «число подтасовок слишком велико для научного труда» [Демертер, Бессонов, Кутенков 2000: 149, 314].

Вместе с тем и ряд этимологических решений А.П. Баранникова нуждается в уточнениях с учетом выявленных выше особенностей источника 1927 г., что также объективно сокращает список выявленных «цыганских элементов».

«В арго дается местоимение 3-го лица: в а и а ‘он, она’; в южноцыганском диалекте ‘она’ звучит *voj*, ‘он’ *voç* и ‘они’ *vope*. Видимо, на основе этих цыганских форм местоимения развилась форма арго» [Баранников 1931: 147, 149–150]. Запись «**Вана** – он, она» [Потапов 1927: 23], думается, возникла, как и рассмотренное выше *лхень* ‘брат, сестра’ (см. № 2), в результате некорректной «нарезки» украинского «\**він*, вона – он, она», записанного акающим человеком.

«Форма **к о м ы л** ‘украл’, видимо, восходит к цыганскому глаголу *te kamés* ‘хотеть, любить’. Цыганская форма *kaméi* означает собственно ‘любит, хочет’» [Баранников 1931: 153]. Остается необоснованным разноречие в грамматических значениях времени. Вместе с тем у С.М. Потапова «**Комыл** – украл» [Потапов 1927: 71] (\**помыл*) и «**Киславка** – бритва» [Потапов 1927: 67] (\**писаловка*) надежно соотносятся с «**Помыгть** – взять у спящего; украсть почти на глазах» [Потапов 1927: 124] и «**Писалка** – лезвие бритвы, бритва, нож карманника» [Потапов 1927: 117].

«Глагол **р о д и т ь** ‘раскрывать дело’, звучащий совершенно по-русски и семантически допускающий возможность русской этимологизации, по-видимому, восходит к цыганскому *te godés* ‘искать, находить’» [Баранников 1931: 152]. Вообще цыганский глагол *rodél* означает только ‘искать’ (процесс), ‘найти’ же (результат) будет *латхэл*, *аракхэл*. Думается, вероятность русской этимологии этого глагола из арго следователей заведомо выше цыганской.

По поводу слова «**Чувиха** – проститутка» [Потапов 1927: 184] А.П. Баранников замечает: «*çavó* ‘мальчик’, следовательно *чувиха* означает ‘мальчишка девочка’ (в смысле ‘проститутка’)» [Баранников 1931: 154]. Эта версия семантически слабо обоснована. Сегодня и предполагавшееся прежде нами «выведение рус<ского> аргот<ического> *чувак* из цыг. *чяво*» [Дьячок, Шаповал 1988: 52–53] представляется сомнительным также по причине семантических трудностей переноса наименования с ‘цыганского парня’ на просто ‘парня’. Нейтрализация этой важной с точки зрения цыганского мировосприятия понятийно-оценочной оппозиции маловероятна. Е.С. Отин трактует слово *чувак* как заимствование из болгарского [Отин 2006: 326–327].

Альтернативные этимологические версии заметно сокращают список арготических цыганизмов как раз в той части, которая документирована нередко и источниками до 1927 г. Рассмотрим предварительно лишь некоторые из них, чтобы только показать объем проблемы, поскольку этимологии нецыганских слов, объявленных цыганскими, заслуживают индивидуального и подробного исследования. Например: «**б е т а** ‘барышня’» < «инд. *beṭī* ‘девочка’, в наличных цыганских говорах не известно, но могло быть случайно не зарегистрировано» [Баранников 1931: 154]. Однако исконный церебральный [t] дал бы в цыганском сонорный (вibrant), будь даже это слово и зафиксировано. Ср., например, соответствие *bāṭ* (м.) ‘жернов’ в хинди и цыг. (северно-русского) с переднеязычным [p] *бар* (м.), цыг. (кэлдэрарского) с заднеязычным [ʃ] *барр/баř* (м.) ‘камень’ [Manush 1997: 29; Valtonen 1972: 24]; либо с [л]: цыг. (северно-русское) *джюкэл* (м.) ‘пёс’ – снскр. *jukuta* (м.) ‘пёс’ [Manush 1997: 55] и др. Вместе с тем в русских условных языках имеется указательное местоимение с «маскирующим» начальным б-, например: «**Бётотъ** (гал<ичское>) – этотъ» [Бондалетов 2004: 244]. Правдоподобно, что форма женского рода могла быть переосмыслена как наименование барышни, отраженное С.М. Потаповым.

«Формы *де к а т ь* 'дать', 'давать' и *д и к н и* 'дай' восходят к цыганскому глаголу *te déś*, который обозначает 'дать, давать'» [Баранников 1931: 150]. Но не учтены, например, варианты *дзикать*, *дзекать*, *дэчить*, *дякать* в условных языках русских нищих и ремесленников [Романов 1901: 28; Бондалетов 1987: 76], польское арготическое *dziaczuć* 'dawać' и др. [Estreicher 1903: 90, 21, 79; 73, 92], которые трудно возвести к цыг. корню *de-* 'дай'.

«Образования от глагола *te xas* с русским префиксом имеем в формах *з а х а м н и т ь*, *з а х а м н и ч а т ь* 'задержать, взять и не отдать', *з а х а м и т ь* 'зажиливать, зажуливать'. В цыганском языке этим глаголам соответствует *te захás* 'заесть, зажилить'» [Баранников 1931: 151]. Однако «*Захамничать*, – взять и не отдать, ар<е>с<тантское>» [Попов 1912: 37], 'то же' без пометы *арс.* [Потапов 1923: 19, цит. по: СРВС 1983, II: 179]; «*Захамить, захамничать* – задержать; взять и не отдать» [Потапов 1927: 56] более надежно интерпретируются как производные от *хам*.

Якобы цыганизм *лярва* 'проститутка' [Баранников 1931: 154] Б.А. Лариным рассматривался как латинизм [Ларин 1931: 120]. Это решение косвенно усиливается наличием этого слова в словарях, практически свободных от цыганского материала: «*Лярва*. См. *бедка*.» [Такъ по «*музыкѣ*» московскихъ тюремъ называется всякая торгующая собою женщина. Въ западныхъ тюрьмахъ зовется она также «*курвою*» и «*лярвою*» <...>]» [Трахтенберг 1908: 36, 6]; 'то же' с пометами «*арс. зап.*» (арестантское, западное) [Попов 1912: 50].

«Кроме этих несомненных заимствований из цыганского языка, возможно, что цыганскому языку обязан арго и существованием слова *х а в и р*, для которого дается значение 'посторонний человек'. В цыганском языке имеется порядковое числительное *av'ig, aver, vav'ig, hav'ig*, имеющее значение 'другой, второй'» [Баранников 1931: 148]. Однако в том же сборнике это слово и не изолировано, а в составе гнезда отнесено к гебраизмам (*רַבִּי* 'друг') [Фридман 1931: 137].

«Глагол *х а н д ы р и т ь* 'ходить' есть образование от слова *kxandir'í* 'церковь' и буквально означает 'ходить по церквам', а не просто 'ходить'» [Баранников 1931: 153]. Эта версия не учитывает иные созвучные глаголу *ходить* варианты со вставным *-н-*, представленные в условных языках: *хандáть*, *хáндать*, *ханжить*, *хантáть*, *хáньжить* 'ходить' и др., см. [Бондалетов 1967: 237–238].

«*Шурье* – краденые вещи» [Потапов 1927: 193]. Возведение к цыг. «глаголу *te čogés* 'красть, воровать'» [Баранников 1931: 147] фонетически неприемлемо, поскольку в этом корне представлен инициальный [č], который никогда не переходит в [š], в отличие от придыхательного [čh] во влашских диалектах. В то же время слово *шур* 'вор' (<*шу-* + <*во*>*p?*) и значительное гнездо производных давно и широко известно в русских условных языках [Бондалетов 1967: 239].

Вопрос о степени укоренности и употребительности рассмотренных цыганских слов в русском жаргоне А.П. Баранниковым не ставился. Представленные почти исключительно в «Словаре жаргона преступников» 1927 г. [Потапов 1927], а порой и реконструированные по дефектным записям самим автором статьи лексические «цыганские элементы» в количестве более ста единиц были зачислены в состав воровского арго фактически списком. Это не может не вызывать сомнения и вопросы, на часть из которых была сделана попытка найти ответы в настоящей статье. Среди них не было и не могло быть вопроса о количестве реальных заимствований из цыганского языка в русский, в том числе в территориальные и социальные диалекты последнего. Ответ на него может быть получен только после предварительной критики и оценки всех накопленных материалов, которые хронологически относятся и к периоду до 1931 года и к последующему времени. Выше же была рассмотрена только наиболее основательная с лингвистической точки зрения попытка анализа заимствований из цыганского языка в русский язык (на материале криминального арго). Примененные при этом методы анализа не дают оснований согласиться с основным выводом автора: большая часть «цыганских элементов», рассмотренных в статье 1931 г., оказывается иноязычными вкраплениями без следов адаптации к русскому языку.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранников 1931 – *А.П. Баранников*. Цыганские элементы в русском воровском аргю // Язык и литература. Т. VII. Л., 1931 [<http://www.philology.ru/liloro/roman.htm>].
- Баранников, Сергиевский 1938 – *А.П. Баранников, М.В. Сергиевский*. Цыганско-русский словарь / Сост. А.П. Баранников, М.В. Сергиевский. М., 1938.
- Бондалетов 1967 – *В.Д. Бондалетов*. Цыганизмы в составе русских условных языков // Язык и общество. Саратов, 1967.
- Бондалетов 1987 – *В.Д. Бондалетов*. Арготизмы в словарях русского языка. Рязань, 1987.
- Бондалетов 1992 – *В.Д. Бондалетов*. Финно-угорские заимствования в русских аргю. Самара, 1992.
- Бондалетов 2004 – *В.Д. Бондалетов*. В.И. Даль и тайные языки в России. М., 2004.
- Бронников 1990 – *А.Г. Бронников*. 10000 слов: Словарь уголовного жаргона [Пермь, 1990].
- Быков 1994 – *В.Б. Быков*. Русская феня. Смоленск, 1994.
- Быков 2005 – *В.Б. Быков*. Историко-этимологические разыскания Поливанова Е.Д. по русскому субстандарту // Седьмые Поливановские чтения: Сб. статей по материалам докладов и сообщений конференции. Ч. I. Социоллингвистика. Лексика и фразеология. Лексикография. Проблемы методики. Смоленск, 2005.
- Вентцель 1964 – *Т.В. Вентцель*. Цыганский язык. М., 1964.
- Вентцель, Черенков 1976 – *Т.В. Вентцель, Л.Н. Черенков*. Диалекты цыганского языка // Индоевропейские языки. Т. 1. М., 1976.
- Грачев 1997 – *М.А. Грачев*. Русское аргю: Монография. Нижний Новгород, 1997.
- Грачев 2005 – *М.А. Грачев*. От Ваньки Каина до мафии. Прошлое и настоящее уголовного жаргона. СПб., 2005.
- Даль<sub>1</sub> 1863–1866 – *В.И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 1–4. М., 1863–1866.
- Даль<sub>2</sub> 1880–1882 – *В.И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. СПб.; М., 1880–1882.
- Деметер, Бессонов, Кутенков 2000 – *Н.Г. Деметер, Н.В. Бессонов, В.Н. Кутенков*. История цыган – новый взгляд. Воронеж, 2000.
- Деметер 1990 – *Р.С. Деметер, П.С. Деметер*. Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект). 5300 слов / Под ред. Л.Н. Черенкова. М., 1990.
- Дмитриев 1931 – *Н.К. Дмитриев*. Турецкие элементы в русских аргю // Язык и литература. Т. VII. Л., 1931.
- Добровольский 1908 – *В.Н. Добровольский*. Киселевские цыгане. Вып. 1. Цыганские тексты. СПб., 1908.
- Добродомов 1996 – *И.Г. Добродомов*. К проблемам русской исторической лексикологии нового времени в трудах В.В. Виноградова // Русистика сегодня. № 3/96. М., 1996.
- Дубягина, Смирнов 2001 – *О.П. Дубягина, Г.Ф. Смирнов*. Современный русский жаргон уголовного мира. Словарь-справочник. М., 2001.
- Дьячок, Шаповал 1988 – *М.Т. Дьячок, В.В. Шаповал*. Русские арготические этимологии // Русская лексика в историческом развитии. Новосибирск, 1988.
- Елистратов 2000 – *В.С. Елистратов*. Словарь русского аргю. М., 2000.
- Елистратов 2005 – *В.С. Елистратов*. Толковый словарь русского сленга. М., 2005.
- Зуев 1787 – *В.Ф. Зуев*. Путешественные записки Василья Зуева от С.[-]Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. СПб., 1787.
- Колесов 1991 – *В.В. Колесов*. Язык города. М., 1991.
- Костов 1956 – *К. Костов*. Цыгански думи в българските тайни говори // Известия на Института за български език. Кн. IV. София, 1956.
- КРС 1965 – Киргизско-русский словарь: Ок. 40000 сл. / Сост. проф. К.К. Юдахин. М., 1965.
- Ларин 1931 – *Б.А. Ларин*. Западноевропейские элементы русского воровского аргю // Язык и литература. Т. VII. Л., 1931 [<http://www.philology.ru/linguistics2/larin-31.htm>].
- Мокиенко, Никитина 2000 – *В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина*. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
- Отин 2006 – *Е.С. Отин*. «Все менты – мои кенты...» (Как образуются жаргонные слова и выражения). М., 2006.
- Патканов 1900 – *П.С. Патканов*. Цыганский язык. Грамматика и руководство к практическому изучению речи современных русских цыган / Сост. П. Истомин (Патканов). М., 1900.
- Попов 1912 – *В.М. Попов*. Словарь воровского и арестантского языка. Киев, 1912.

- Потапов 1923 – С.М. Потапов. Блатная музыка. Словарь жаргона преступников. М., 1923 // Собрание русских воровских словарей. Т. 2. New York, 1983.
- Потапов 1927 – С.М. Потапов. Словарь жаргона преступников (блатная музыка). М., 1927.
- Потапов 1990 – С.М. Потапов. Словарь жаргона преступников (блатная музыка). М., 1990.
- Романов 1901 – Е.Р. Романов. Катрушницкий лемезень: условный язык Дрибинских шаповалов // ОРЯС. LXXI. № 3. 1901.
- РТС 1991 – Русско-татарский словарь: Ок. 47 000 сл. / Под ред. Ф.А. Ганиева. 3-е изд., испр. М., 1991.
- Спасский 1970 – И.Г. Спасский. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. 4-е изд. Л., 1970.
- СРВС 1983 – Собрание русских воровских словарей: В 4-х т. / Сост. Влад. Козловский. New York, 1983.
- Тиханов 1895 – П.Н. Тиханов. Брянские старцы. Тайный язык нищих. Брянск, 1895.
- Тиханов 1899 – П.Н. Тиханов. Черниговские старцы // Труды Черниговской ученой архивной комиссии. Вып. 2. Чернигов, 1899 / 1900.
- Трахтенберг 1908 – В.Ф. Трахтенберг. Блатная музыка («жаргон» тюрьмы). СПб., 1908.
- ТСУЖ 1991 – Толковый словарь уголовных жаргонов. М., 1991.
- Фридман 1931 – М.М. Фридман. Еврейские элементы «блатной музыки» // Язык и литература. Т. VII. Л., 1931 [<http://www.philology.ru/linguistics2/fridman-31.htm>].
- Шаповал, Дьячок 1997 – В.В. Шаповал, М.Т. Дьячок. О цыганизмах в русских арготических словарях первой трети XX века // Русское слово. Тезисы межвузовской конференции. Орехово-Зуево, 1997.
- Язык 2006 – Язык цыганский весь в загадках: Народные афоризмы русских цыган из архива И.М. Андрониковой / Сост., подгот. текстов, вступит. ст. и справочный аппарат С.В. Кучепатовой. СПб., 2006.
- Becker-No 1993 – A. Becker-No. Les princes du jargon. Un facteur négligé aux origines de l'argot des classes dangereuses. Éd. augmentée. Paris, [1993].
- Cortelazzo 1975 – M. Cortelazzo. Voci zingare nei gerghi padane // Linguistica. T. XV. In memoriam Šfamko Škerlj oblata. Ljubljana, 1975.
- Estreicher 1903 – K. Estreicher. Szwargot więzienny. Kraków, 1903.
- Horbatsch 1978 – O. Horbatsch. Russische Gaunerschprache. Frankfurt-am-Main, 1978.
- Leschber 1997 – C. Leschber. Romani lexical items in colloquial Rumanian // Y. Matras (ed.). Romani in contact. The history, structure and sociology of a language. Amsterdam, 1997.
- Manush 1997 – L. Manush. Romany-Latvian-English etymological dictionary. Riga, 1997.
- Pott 1845 – A.F. Pott. Die Zigeuner in Europa und Asien. Bd. I–II. Halle, 1845.
- ROMLEX – Romani lexicon // [Электронный ресурс:] <http://romani.uni-graz.at/romlex>
- Valtonen 1972 – P. Valtonen. Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1972.
- Wolf 1956 – S.A. Wolf. Wörterbuch des Rotwelsch. Deutsche Gaunerschprache. Mannheim, 1956.



**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**РЕЦЕНЗИИ**

**Языки мира. Балтийские языки.** М.: Academia, 2006. 221 с. + 4 карты

Выход данного тома продолжающегося энциклопедического издания «Языки мира» можно без малейших скидок назвать важным событием в российской науке. Несмотря на то, что отечественная школа баллистики, представленная такими именами, как М.Н. Петерсон, В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов, Т.В. Булыгина, В.А. Дыбо, Ю.В. Откупщиков, Т.М. Судник, А.Е. Аникин и др., по праву считается одной из ведущих в мире, до сих пор на русском языке не существовало книги, в которой балтийской группе языков и отдельным ее представителям давалась бы если не исчерпывающая, то по крайней мере полная и единообразно представленная лингвистическая характеристика. Рецензируемое издание заполняет данную лакуну, причем на весьма высоком и современном научном уровне.

Рецензируемый том – один из наиболее удачных в серии «Языки мира», что связано во многом с малочисленностью балтийских языков, которая избавила авторов и редакторов от необходимости ограничивать объем и, следовательно, содержание статей. Большая свобода, которой могли воспользоваться авторы тома, как представляется рецензенту, непосредственно сказалась как на собственно научном качестве статей, так и на таком немаловажном аспекте, как связность и удобочитаемость текста.

Авторский коллектив тома включает следующих ученых: В.Н. Топоров («Балтийские языки», «Прусский язык»), Т.В. Булыгина («Литовский язык»), О.В. Синёва («Литовский язык»), В.Э. Сталтмане («Латышский язык»), А.Б. Брейдак («Латгальский язык»). Карты, как и в других томах серии, выполнены Ю.Б. Коряковым. В редколлегию тома, помимо участников группы «Языки мира» (А.А. Кибрик, Н.В. Рогова, Ю.Б. Коряков), вошли также В.Н. Топоров, М.В. Завьялова и А.В. Андронов.

К сожалению, три из пяти авторов тома – Т.В. Булыгина, В.Н. Топоров и А.Б. Брейдак – скончались до выхода книги в свет. Более того, Т.В. Булыгина и А.Б. Брейдак не успели закончить свои статьи; статья «Литовский язык» была завершена О.В. Синёвой, а статья «Латгальский язык» была подвергнута серьезной редакции А.В. Андроновым и Л. Лейкумой. С этим, в частности, связаны отдельные неровности рецензируемой книги, и ее читатель должен отдавать себе отчет в том, в каких сложных обстоятельствах она готовилась к публикации.

Книгу открывает статья В.Н. Топорова «Балтийские языки» (с. 10–50), по-видимому, наиболее подробная и объемная статья такого рода во всех томах серии. В ней не только дана основная лингвистическая характеристика балтийских языков в целом, но и подробно рассмотрены история изучения балтийских языков (с. 11–14), проблема статуса балтийской группы языков в индоевропейской семье и вопрос о балтославянском языковом единстве (с. 14–21). Основную часть статьи (с. 21–34) занимает подробное описание мертвых балтийских языков – галиндского, ятвяжского, куршского, земгальского и селийского, данные о которых на русском языке были до того представлены лишь в ряде разрозненных публикаций (см. также книгу [Дини 2002]). Лингвистическая характеристика балтийских языков (с. 36–42) также является исключительно подробной и включает информацию о фонетике, морфологии, словообразовании, синтаксисе, лексике, поданную как с диахронической, так и с синхронной точек зрения.

Особо хочется отметить подробный разбор В.Н. Топоровым взглядов на проблему балтийско-славянских языковых отношений (с. 18–21), которые в свете исследований последних десятилетий [покойный ученый внес

значительный вклад в эти исследования как эмпирический (ср. цикл работ В.Н. Топорова о балтийской гидронимии), так и теоретический] предстают во многом по-новому. В.Н. Топоров отстаивает в качестве наиболее продуктивной и объяснительной ту точку зрения, что «славянские языки представляют собой более позднее развитие периферийных балтийских диалектов, находившихся в южной части первоначального балтийского ... ареала» (с. 19–20), тем самым отвергая взгляд на балтийские и славянские языки как на две равноправные ветви в рамках более крупного объединения. Такой подход позволяет объяснить значительное число фактов, в частности, различную степень близости между славянскими языками, с одной стороны, и разными балтийскими языками, с другой (так, по ряду критериев основное членение «балтославянского» языкового единства приходится проводить по линии «литовский + латышский» vs. «пруссский + славянские», при том, что, с другой стороны, статус прусского как именно балтийского, а не славянского языка невозможно подвергнуть сомнению). Данная трактовка, при всей ее «неортодоксальности», представляется рецензенту если и не полностью убедительной, то в высшей степени интересной и продуктивной, и я выражаю свое удовлетворение тем, что она, наконец, стала доступна не только специалистам по балтийской исторической лингвистике, но и более широкому кругу читателей.

Статья завершается библиографией по балтийским языкам (с. 42–50), имеющей самостоятельную научную ценность. В нее входят: список основных периодических изданий по балтистике (включая закончившиеся и новейшие), список общих работ по балтийскому языкознанию и список работ по каждому из рассмотренных в статье мертвых балтийских языков. Каждый из этих списков является практически полным; рецензенту удалось найти в нем лишь два существенных пробела – не упоминается двухтомный сборник [Dahl, Kortjevskaja-Tamm 2001], в котором балтийским языкам уделено значительное внимание, и новая книга по исторической морфологии глагола [Schmalstieg 2000]. Также было бы полезно указать в библиографии английский перевод избранных трудов Я. Сафаревича [Safarewicz 1974].

Остальные статьи тома посвящены отдельным балтийским языкам – мертвому прусскому и живым литовскому, латышскому и латгальскому. Выделение латгальского в качестве полноправного языка наравне с имеющими государственный статус литовским и латышским несколько про-

блематично, поскольку данный идиом рядом авторов рассматривается в качестве диалекта латышского языка. Причины, по которым было принято решение посвятить латгальскому идиому отдельную статью, связаны, согласно редколлегии тома (Предисловие, с. 9), в основном с «наличием латгальской литературной традиции». В свете этого остается несколько непонятным, почему для описания латгальского языка была избрана сокращенная схема описания; если бы информация о нем была подана в том же объеме, что и для других балтийских языков, читатель мог бы получить более полное представление, в частности, об отличиях латгальского идиома от собственно латышского.

Вообще, приходится констатировать, что принятая в серии «Языки мира» схема описания, ориентированная в первую очередь на литературные языки и дающая сведения о диалектах в первую очередь *sub specie* их отличий от нормативного языка, не лишена трудно устранимых недостатков. Общеизвестно, что трактовка того или иного идиома как «языка» или «диалекта» во многих случаях (если не вообще в большинстве случаев) связана не с собственно лингвистическими особенностями, а с факторами, лежащими в лучшем случае в социолингвистической плоскости, а в худшем – в сфере политики. Полное описание той или иной группы языков с неизбежностью сталкивается с существованием идиомов, социолингвистический или политический статус которых противоречит их собственно лингвистической значимости. В частности, для балтийских языков, возможно, большее значение имело бы отдельное рассмотрение не латгальского идиома, а жемайтского (в данном томе трактуемого как диалект литовского языка; справедливости ради стоит отметить, что спорный характер этого вопроса также отмечен редколлекцией в Предисловии).

Статьи сборника построены по единой схеме, общей для всех томов данного издания. Каждая статья, помимо собственно лингвистической характеристики, содержит основную социолингвистическую и лингвогеографическую информацию о языке, сведения о его письменности и этапах его истории. В статьях последовательно дается информация о фонологии, просодии, фонотактике, структуре слога, морфонологии, частях речи и грамматических категориях, основных грамматических классах лексики, морфологической парадигматике, структуре словоформы, словообразовании, синтаксисе простого и сложного предложения, лексике (в частности, о за-

имствованиях), а также основные сведения о диалектах.

Статья В.Н. Топорова «Прусский язык» (с. 50–93) является, по-видимому, наиболее полным на данный момент монографическим описанием прусского языка, изданным по-русски. В начальном разделе статьи излагаются сведения о пруссах и прусском языке, представленные в ранних источниках, в частности, перевод двух главок из «Хроники земли Прусской» немецкого хрониста Петра из Дусбурга (начало XIV в.), рассматривается этимология этнонима «прусы», подробно освещается вопрос о позиции прусского языка по отношению к другим балтийским языкам и об ареале его распространения, равно как и о его социолингвистическом статусе. Затем дается детальный обзор прусских памятников (с. 56–58). Лингвистическая характеристика прусского языка (существовавшего в двух диалектных вариантах: помезанском и самбийском) включает в себя подробное рассмотрение фонологии (в частности, приводятся разные возможности реконструкции вокализма каждого из диалектов и «общепрусской» системы гласных) и просодии (в той мере, в какой она может быть восстановлена на основании письменных памятников) (с. 59–66), морфологии, системы грамматических категорий, частей речи (с. 66–83), синтаксиса (с. 83–84), лексики (с. 84–86). Следует особо отметить подробный раздел, посвященный морфологической парадигматике (с. 71–81), где приводятся как общие схемы склонения и спряжения, так и образцы словоизменения конкретных лексем. Библиография к данной статье (с. 87–93), опять же, является практически исчерпывающей и включает в том числе и ряд новейших работ.

Статья Т.В. Бульгиной и О.В. Синёвой «Литовский язык» (с. 93–155) является наиболее объемной и подробной в данном томе. При этом сведения об истории языка, его социолингвистических особенностях и первых письменных памятниках скорее представлены в конспективном виде (с. 94–96), основное же внимание уделено собственно лингвистической информации. Здесь следует отметить: детальное описание обладающих рядом нетривиальных особенностей фонетики, просодии и фонотактики (с. 97–102); описание употреблений падежей (с. 109–112), включая отсутствующие в современном литературном языке вторичные локативные образования; описание сложной системы нефинитных глагольных форм (с. 127–130); обзор идеофонов, образующих в литовском языке типологически нетривиальный подкласс лексики (с. 132–133); подробное описание диалектов (с. 147–

152). Библиография к данной статье весьма обширна, хотя и содержит ряд пробелов (так, в ней отсутствуют основные источники по литовской аспектологии – классическая книга [Dambriūnas 1960] и недавняя грамматика [Mathiassen 1996]).

Остановлюсь отдельно на разделе, посвященном проблеме вида (с. 115) – одной из самых дискуссионных в литовском языкознании (см., например [Вимер 2001]). Следует признать безусловно верным указание авторов, что перевод литовских терминов *eigos veikslas* и *įvykio veikslas* как соответственно «несовершенный» и «совершенный» вид «следует признать вводящим в заблуждение»; авторы предлагают буквальный и существенно более точно отражающий суть указанных категорий перевод этих терминов: «процессуальный вид» и «событийный вид», соответственно. Рецензенту представляется также очень важным эксплицитное (и в каком-то смысле смелое, хотя и, опять-таки, по моему мнению, безусловно верное) утверждение авторов, что в литовском языке «вид как грамматическая категория славянского типа отсутствует».

Статья В.Э. Сталтмане «Латышский язык» (с. 155–193) почти на треть короче, чем статья, посвященная литовскому языку, и, соответственно, менее подробна. Данное обстоятельство не может не огорчать, в первую очередь потому, что доступных на русском языке описаний латышского языка до самого последнего времени практически не было. Следует особо отметить следующие удачные разделы данной статьи: описание фонотактики и структуры слога (с. 160–163), парадигматики (с. 179–185) и диалектов (с. 189–192). В целом данная статья, разумеется, дает всю основную информацию о латышском языке, но большая подробность и детализированность была бы вполне уместна. Библиография к данной статье (с. 192–193) довольно представительна; в нее, однако, не включены грамматика [Mathiassen 1997], статья [Balode, Holvoet 2001b] (при том, что работа [Balode, Holvoet 2001a], посвященная литовскому языку, в библиографии к соответствующей статье фигурирует) и типологический сборник [Nau 2001].

Статья А.Б. Брейдака (под редакцией А.В. Андропова и Л. Лейкумы) «Латгальский язык» (с. 193–213) является, фактически, первым современным описанием данного идиома на русском языке. Выше уже было отмечено как то, что статус латгальского языка не является очевидным, так и то, что этот идиом, в принципе, стоило бы в рамках данного издания описать более подробно. В статье весьма детально (иногда, быть может, излишне детально, ср. полный список членов орфогра-

фической комиссии на с. 197) рассматриваются социолингвистические, исторические и нормализаторские вопросы (с. 193–197), в частности, перечисляются основные памятники старолатгальской литературы. Лингвистическая характеристика латгальского языка (с. 197–209), по мнению рецензента, могла бы быть, во-первых, более детализированной, и, во-вторых, более равномерно распределенной: сведения о фонетике занимают почти половину этого раздела (с. 197–203), при том, что в статье вообще отсутствуют образцы парадигм и упоминания о таких важных аспектах грамматики, как выражение видовых значений или особенности употребления аналитических глагольных форм. Информация о говорах латгальского языка (с. 209–211) интересна, хотя отчасти и фрагментарна. Библиография (с. 211–213) весьма обширна.

Приложения содержат список сокращений, список названий языков и диалектов, типовые схемы статей серии «Языки мира», а также следующие карты балтийских языков: (1) Археологические культуры III–IV в. н. э. и балтийские гидронимы (форзац), (2) Балтийские племена и языки в X в., (3) Балтийские племена и языки в XIII в., (4) Латышский и латгальский языки и их диалекты, (5) Литовский язык с диалектами. Карты (2) и (3) содержат курьезную опечатку: Рижский залив почему-то назван в них Гданьским.

Перейду к более частным критическим замечаниям. При том, что в общем том написан на чрезвычайно высоком уровне (как с точки зрения чисто научной, так и с позиции «качества текста», что, в принципе, не менее важно), можно отметить определенную неравномерность в степени подробности и детализированности описания разных балтийских языков, что, разумеется, (но, по мнению рецензента, лишь отчасти) связано с указанными выше обстоятельствами издания тома. Также несколько смущает то, что некоторые типологически нетривиальные черты, общие для всех языков этой группы, упоминаются лишь в одной из статей (например, возвратные отглагольные имена описаны лишь в статье «Латышский язык», а лексические дублеты, различающиеся глухостью/звонкостью начального согласного, – только в статье «Латгальский язык»).

Утверждение, содержащееся в Предисловии (с. 9) о «близости синтаксиса балтийских языков к славянским», не может быть признано верным. Сходства в синтаксическом устройстве балтийских и славянских языков носят лишь наиболее общий характер; напротив, между двумя группами языков наблюдаются фундаментальные различия на всех

уровнях синтаксиса – от порядка слов до употребления конструкций с нефинитными глагольными формами.

В статье «Балтийские языки» в качестве признаков архаичности балтийских языков наравне со структурой именных категорий приводится и система глагола (с. 15), что не представляется полностью корректным. Структура глагольных категорий в балтийских языках, особенно в современном литовском, является в существенной степени инновационной, что может быть прослежено даже на материале имеющихся письменных памятников. На с. 17 следовало бы привести примеры «топонимических соответствий между балтийским и балканским... ареалами», а на с. 29 не хватает примера «сдвоенного рефлексива». «Отсутствие следов придыхательных» согласных в балтийском (с. 36) не является полным: противопоставление индоевропейских простых звонких и придыхательных отразилось на долготе/краткости предшествующего гласного по так называемому закону Винтера (см. [Dybo 2002]). Там же следовало бы пояснить, что имеется в виду под «расширенным» вариантом падежной системы (сохранение почти всех падежей, унаследованных от индоевропейского праязыка или же появление локативных падежей?) и охарактеризовать особенности системы дейктических местоимений.

В статье «Прусский язык» непонятна формулировка (с. 71) «сочетания предлога *sen* с творительным падежом... далеки от падежности»; возведение прусских именных основ на *-ē-* (там же) к индоевропейскому состоянию некорректно, поскольку данный тип основ в балтийском возник из древних образований на *\*-ijā-*, о чем сам автор пишет на с. 36.

В статье «Литовский язык» вызывает недоумение пассаж (с. 95), в котором упоминается литовская графика конца XV в., – ведь первые тексты на литовском языке датируются серединой XVI в.! Трактовка на с. 97 категории эвиденциальности («пересказывательности») как «семантической», а не грамматической вызывает сомнение (ср. [Gronemeier 1997]). Описание фонетической реализации слоговых интонаций на разных типах слогов (с. 102) следовало бы снабдить фонетической транскрипцией. Смешение собственно апофонических чередований с полуавтоматическим удлинением ударных гласных */a/*, */e/* на с. 104 представляется некорректным не только содержательно, но и с точки зрения традиции описания этих явлений в литуанистике; трактовка апофонических изменений гласных на с. 105 как чисто «вспомогательного морфологического средства», сопутствующего аффик-

саци, также является слишком упрощенной: авторы сами приводят примеры лексем, противопоставленных лишь ступенью корневого вокализма (ср. *sverti* 'весить' vs. *svirti* 'свить'). Представляются недопустимыми такие формулировки (к сожалению, присутствующие не только в данном томе серии), как «падежные значения выражаются при помощи падежных форм, предлогов... также послелогов» (с. 109). Трактровка дополнений в косвенных падежах в качестве прямых объектов (с. 110) кажется некорректной и противоречащей данному авторами ниже (с. 112) определению переходности. Несмотря на то, что пассивные причастия в литовском языке обладают весьма широкими сочетаемостными возможностями, называть их немаркированными членами залоговой оппозиции, по моему, все же нельзя. Понятие «позиция синтаксической ударности/безударности» (с. 121) не проясняется. На с. 122 не упомянут глагольный префикс с модальным значением *te-* – единственный литовский префикс, способный предшествовать показателю отрицания. На с. 123 в двух соседних предложениях сначала сообщается, что степени сравнения образуются лишь от качественных прилагательных, а затем говорится, что они имеются и у ряда относительных прилагательных. Склонение «родовых местоимений», обладающее в литовском языке рядом нетривиальных особенностей, фактически не описано (краткого упоминания на с. 138 явно недостаточно). В том же разделе вообще отсутствует описание склонения местоимений 2-го лица.

В статье «Латышский язык», по моему, следовало бы, вопреки традиции, во всех разделах пометать словоформы слоговыми интонациями, как это было сделано в статье «Литовский язык», а самим этим интонациям (с. 159) дать фонетическое, а не только «импрессионистическое» («длительная», «прерывистая», «нисходящая») описание. Классификация чередований гласных (с. 164) на унаследованные от индоевропейского праязыка и на собственно латышские существенно неполна, т.к. в ней не упомянут обширный пласт чередований, возникших на общепалтийской почве и не имеющих прямых соответствий в других индоевропейских языках. Типы спряжения и склонения не следует трактовать в качестве морфологических категорий имени и глагола (с. 165). Непонятно, почему на с. 175 о возвратном «постфиксе» *-s* говорится во множественном числе. Также представляется некорректным говорить о «грамматическом» «видовом» значении приставки *pa-* (с. 185), равно как и о том, что «флексия женского рода *-a* избыточна» после словообразовательно-

го суффикса *-īb-* (там же). Неясно, в каком точном смысле «порядок слов в вопросительном предложении такой же, как в повествовательном» (с. 187); синтаксису сложного предложения следовало бы уделить несколько больше места, в частности, привести примеры различных типов сложных предложений. При описании отличий верхнелатышских диалектов от нижнелатышских (с. 191) одной нижнелатышской фонеме нередко ставится в соответствие целый ряд верхнелатышских звуков; следовало бы пояснить, каким образом могут быть распределены эти соответствия.

В статье «Латгальский язык», так же, как и в статье «Латышский язык», следовало бы описать фонетическую реализацию слоговых интонаций. Ничего, кроме сожаления, не может вызвать отсутствие в статье даже самых основных парадигм имени и глагола. Рецензент не убежден, что наречия *ite* 'здесь' и *kai* 'как' на синхронном уровне являются морфологически производными от каких-либо местоимений.

Карты также содержат ряд неточностей<sup>1</sup>; так, например, обозначенная на карте 1 археологическая культура «западно-балтийских курганов» на самом деле занимала меньшую территорию; там же неверно указано время миграции готов – вместо середины III в. н.э. указан II в. н.э.

Несмотря на чрезвычайно высокий уровень редакторской работы, в томе имеется довольно большое количество опечаток и подобных им огрехов. Упомяну лишь некоторые из них. При перечислении зарубежных балтистов на с. 14 исландский ученый Ёрундюр Хильмарссон обозначен как «Ё. Хильмарссон», что недопустимо, поскольку у исландцев нет фамилий и их имена и отчества принято писать полностью; там же имя японского специалиста Тосикадзу Иноуэ приведено с грубыми нарушениями принятых в России правил транслитерации японских слов, допустимыми, быть может, в рекламе японских товаров, но не в академическом издании. На с. 27 вместо «митрополия» должно быть написано «метрополия». В библиографии к статье «Балтийские языки» отсутствует упоминаемая в тексте статьи работа Лескина (1876), а работа Smoczyński 1989 почему-то указана после работы Smoczyński 2002. На с. 59 не закончена фраза, начинающаяся со слов «подобные германизмы объясняются...», на с. 73 перед парадигмой основ на *-ē-* в список лексем нет слова *druwi* 'дверь'. На с. 94 в списке

<sup>1</sup> Рецензент благодарит В.И. Кулакова за указание на эти неточности.

стран, в которых проживают литовцы, два раза фигурирует Польша. На с. 104 междометие *kuldinkšt* 'плюх' ошибочно записано как *kuldinškšt* с невозможным для литовского языка сочетанием согласных. На с. 116 формы сослагательного наклонения приведены с ошибками: вместо *tylė-tu-me*, *tylė-tu-te* должно быть *tylė-tu-(mė)-me*, *tylė-tumė-te*. На с. 118 ошибочно указано, что суффиксы прошедшего многократного времени *-dav-* и будущего времени *-s-* распределены между личными и причастными формами. На с. 130 форма инструменталиса *senatvė* ошибочно квалифицирована как аккумулятивная. В таблице залоговых форм повелительного и косвенного наклонений (с. 141) вместо «изъявительное» и «сослагательное» необходимо читать, соответственно, «повелительное» и «косвенное». На с. 165 перепутан род у словосочетаний *vecas ābeles* 'старые яблони' (ж. р.), *veci bērzi* 'старые берёзы' (м. р.). В таблице склонения существительных на с. 179 следует отделить дефисом окончание *-s* в форме *sirds*.

Также практически во всех статьях в ряде случаев примеры языковых форм не выделены курсивом или полужирным шрифтом, иногда отсутствуют фонетические или фонологические кавычки, ударение на словоформах нередко либо стоит неправильно, либо вовсе отсутствует.

При всех высказанных выше содержательных замечаниях и обнаруженных технических недочетах мне хочется повторить, что издание «Балтийские языки» является, на мой взгляд, одним из лучших томов серии «Языки мира» и вносит исключительно ценный вклад как в собственно балтистику, так и в общее языкознание, делая для него доступным очень важный и во многих отношениях типологически нетривиальный материал балтийских языков. В заключение хочется выразить надежду, что группа «Языки мира» и издательство «Academia» изыщут возможность в разумные сроки подготовить исправленное переиздание этой в высшей степени актуальной и нужной книги.

П.М. Аркадьев

- Вимер 2001 – Б. Вимер. Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов // ВЯ. 2001. № 2.
- Дини 2002 – П.У. Дини. Балтийские языки. М., 2002.
- Balode, Holvoet 2001a – L. Balode, A. Holvoet. The Lithuanian language and its dialects // Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm (eds.). The Circum-Baltic languages. V. I. Amsterdam; Philadelphia, 2001.
- Balode, Holvoet 2001b – L. Balode, A. Holvoet. The Latvian language and its dialects // Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm (eds.). The Circum-Baltic languages. V. I. Amsterdam; Philadelphia, 2001.
- Dahl, Koptjevskaja-Tamm 2001 – Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm (eds.). The Circum-Baltic languages. Typology and contact. Vols. I–II. Amsterdam; Philadelphia, 2001.
- Dambriūnas 1960 – L. Dambriūnas. Lietuvių kalbos veiksmožodžių aspektai. Boston, 1960.
- Dybo 2002 – V.A. Dybo. Balto-Slavic accentology and Winter's law // Studia Linguarum. № 3. М., 2002.
- Gronemeyer 1997 – C. Gronemeyer. Evidentiality in Lithuanian // Working papers, Lund University, Dept. of Linguistics. V. 43. 1997.
- Mathiassen 1996 – T. Mathiassen. A short grammar of Lithuanian. Columbus (OH), 1996.
- Mathiassen 1997 – T. Mathiassen. A short grammar of Latvian. Columbus (OH), 1997.
- Nau 2001 – N. Nau (ed.). Typological approaches to Latvian // Sprachtypologie und Universalienforschung. V. 54. № 3. 2001.
- Safarewicz 1974 – J. Safarewicz. Linguistic studies. Paris; The Hague, 1974.
- Schmalstieg 2000 – W.R. Schmalstieg. The historical morphology of the Baltic verb. Washington, 2000. (Journal of Indo-European studies. Monograph 37).

**Integrum: точные методы и гуманитарные науки** / Ред.-сост. Г. Никипорец-Такигава. Вступ. сл. Вяч.Вс. Иванов. Предисл. А.Я. Шайкевич. М.: «Летний сад», 2006. 430 с.

Рецензируемый сборник воплощает замысел авторов проекта – объединить «под одной обложкой» исследования, сделанные при по-

мощи «Интегрума» – «службы баз данных, которая состоит из крупнейшей электронной коллекции русскоязычных документов и ин-

формационно-поисковой системы для их обработки» (с. 6). Сборник появился в результате объединения усилий международного коллектива авторов, представивших статьи на разных языках. Все статьи написаны с помощью Интегрума в течение четырех лет, прошедших с того момента, когда Интегрум впервые начал использоваться в исследованиях гуманитариев. Авторы проекта стремились подобрать работы для сборника таким образом, чтобы «нарисовать объективную картину современного приложения “Интегрума” к научной мысли» (с. 13) с учетом темы, заявленной в названии сборника. Несомненно, авторам проекта удалось решить поставленную задачу. В немалой степени этому способствовала удачная организация материала сборника, который состоит из нескольких органично связанных друг с другом частей. Каждый такой раздел рассматривает определенный круг проблем и предлагает определенные типы их решений, составляющих часть общего авторского замысла всей книги.

Так, в в о д н а я часть содержит три статьи, в которых подробно объясняется история создания и совершенствования информационно-поисковой системы «Артефакт», лежащей в основе Интегрума, описывается сама система, правила ее использования и типы собственно лингвистических и, шире, гуманитарных задач, которые могут быть решены с ее помощью. В статье Ф. Романенко, Л. Гершензона «ИНС “Интегрум”». История создания, описание, использование» излагаются основные принципы работы профессиональных ИПС, каковой является и Артефакт, отличие их от интернет-поисковых машин, что позволяет читателю определить (прогнозировать) статус решаемых в Интегруме задач. Далее описываются модели поиска информации для решения конкретных лингвистических задач, алгоритмы, включающие дополнительные критерии отбора информации и выбора источников, а также представления результатов поиска. Из описания мы, в частности, узнаем, что Интегрум располагает принципиально новыми инструментами для исследования, в частности – частотным словарем и сервисом «Сравнительная и относительная упоминаемость», существенно расширяющими возможности количественных методик в лингвистических исследованиях. В статье А. Мустайоки «The Integrum database as a powerful tool in research on contemporary Russian» не только дается обзор исследований, проведенных отделением славистики и балканистики Хельсинкского университета на основе баз данных Интегрума, но и проводится сравнение Интегрума с другими электронными русскоязычными ресурсами, в ходе которого среди прочего выясняется, что Интегрум отли-

чает высокое качество представленного материала именно в лингвистическом аспекте.

В п е р в о й ч а с т и сборника собраны статьи, которые, с нашей точки зрения, заслуживают особого внимания не только как хорошие иллюстрации возможностей Интегрума, но и как содержательно значимые исследования. Так Г. Никипорец-Такигава в статье «Вторичные заимствования в русском языке XXI века» поднимает интересную и актуальную проблему, которая в применении к отдельным лексемам вряд ли может быть разрешена с большой достоверностью выводов на основе ручной обработки самых современных текстов. Речь идет о факторах, которые влияют на появление, закрепление и актуализацию в русском языке положительно-оценочных слов *агрессивный, амбиции, шок / шокировать*» (с. 104). При этом автор считает появление этих слов результатом вторичного заимствования из английского языка, а закрепление и быструю актуализацию – результатом воздействия электронных СМИ, которые обеспечивают им тиражирование и продвижение по своим каналам, а также результатом «переосмысления концептов, культурных ценностей и стандартов поведения». Зачастую эти слова уже связываются с чем-то хорошим, расширяют свою сочетаемость (что также можно увидеть в приводимом анализе), но при этом точное позитивное значение каждого такого слова не определяется. Из числа таких употреблений автор выделяет, в частности, следующие: *Цели должны быть агрессивными – это в интересах и общества, и бизнеса; Будь агрессивен!* и др. (с. 105). Думается, что к приведенному автором в статье списку слов можно добавить и слово *карьер*, ставшее своеобразной приметой нашего времени. Видимо, смысл отмеченных в статье употреблений с семантической точки зрения – явление того же порядка, что и исследованная Дж. Хьюзом на историческом английском материале в его известной книге «Words in time» морализация значений, с учетом расширительного толкования данного термина [Hughes 1989: 36]. Появление отмеченных автором статьи позитивных значений действительно служит сигналом вторжения новых ценностных доминант, однако ничего, впрочем, не говорящим о готовности принять эти изменения со стороны разных слоев общества. Применение количественных методов значительно повышает точность и достоверность описания столь трудно объективируемых когнитивных сущностей, а также дает инструмент верификации самого факта их существования даже на относительно малых временных величинах, доступных восприятию современников (величинах, которые измеряются бук-

вально годами). Дж. Хьюзу пришлось проделать колоссальную по своим масштабам и трудоемкости работу по сбору эмпирического материала, чтобы выявить аналогичные (по форме) семантические тенденции, отражающие исторические изменения в ценностной ориентации западноевропейского мира. Неслучайно он предпослал своей книге эпиграф-посвящение «To all workers at the alveary».

В статье А. Смолянского «Тринадцать примеров» автор предлагает наглядные образцы и рекомендует их «рассматривать как рабочие опыты в тех типах исследований, которые казались наиболее продуктивными в 2002–2005 годах» (с. 107), когда разрабатывались и внедрялись новые функции Интегрума, рассчитанные на профессиональных пользователей и закладывались возможности квантитативно-эвристического анализа текстов. Приводимые в статье примеры носят междисциплинарный характер и в основном относятся к такому классу задач, которые просто не могли рассматриваться раньше (в условиях ручной обработки). Статья А. Смолянского особенно наглядно демонстрирует алгоритмы поиска и обработки информации, поскольку каждый пример сопровождается «указанием на применяемый в нем инструмент “Интегрума”, область поиска (корпус текстов, на котором проводилось исследование), временной интервал и вид поискового запроса» (с. 107), тем самым демонстрируется возможность верификации приводимых в статье результатов. Обращает на себя внимание корректность постановки задач, соответствующая возможностям самого используемого материала. Например: «Оценка динамики частотности предложного и беспредложного управления в выражениях “Благоволишь кому-либо/к кому-либо”. Проверка гипотезы, что постепенно предпочтение отдается беспредложному управлению в соответствии с общей тенденцией экономии языковых средств» (с. 125) или «Оценить упоминаемость в СМИ России трех литературных героев (Манилов, Обломов, Хлестаков) и соответствующих типов поведения» (с. 141). Инструменты Интегрума позволяют решать аналогичные по квантитативной эвристичности задачи разного масштаба. Например, от «Определить динамику упоминания в СМИ России слова “цугундер” до и после его упоминания Владимиром Путиным» (с. 127) до «Определить динамику частотности блатной лексики в печатных СМИ России» (с. 133) или «Оценка динамики упоминания в СМИ России антирусских и антиросийских контекстов» (с. 160), а также «Сравнить динамику оценок качества товаров из Германии и Китая в СМИ России» (с. 162). Корректными представляются и выводы авто-

ра, который не склонен переоценивать значимость полученных количественных данных и осторожен в истолковании экстралингвистических явлений, суть которых не измеряется количеством словесного шума при их упоминании. К примеру, «число упоминаний высокого качества немецких товаров остается почти неизменным на протяжении 10 лет. Число упоминаний низкого качества китайских товаров уменьшилось за 10 лет на треть, хотя, по-видимому, переход китайского количества в немецкое качество еще не совершился» (с. 163).

В ином ключе выполнено исследование Я. Фрухтмана «Correlating linguistic and extralinguistic developments». Автор использует тот же инструментарий, что и А. Смолянский, но ставит перед собой качественно иные задачи, пытаясь доказать, что статистические корреляции процессов лингвистического и экстралингвистического характера возможны и имеют эвристический смысл. Несомненно, есть некоторые локальные сферы, где такого рода статистические корреляции имеют смысл, что и продемонстрировал автор статьи весьма наглядно с применением инструментария Интегрума (влияние экономического роста и цен на нефть на частотность слова *кризис* и упоминаний темы «кризиса» в российских СМИ). Однако думается, что было бы преувеличением распространять такой подход на широкий спектр вопросов, открывающий «совершенно новое поле для исследования корреляций языковых и экстралингвистических изменений» (с. 192).

Во-первых, частотные показатели употребления отдельных слов далеко не всегда анализируют о собственно языковых изменениях (тем более об изменениях в сознании носителей языка)<sup>1</sup>, хотя, несомненно, должны учиты-

<sup>1</sup> Так, например, на бытовом уровне, в стихии моего собственного индивидуального сознания слово *нация* ассоциируется с усвоенными мною в детстве как ругательные словами *наци*, *нацист*, а потому несущими в себе негативный оценочный заряд, в отличие от слова *народ*. Поэтому на бытовом уровне количество повторений слова *нация* в СМИ явно не отражает содержание образов моего индивидуального сознания, но служит сигналом внимания общества к волнующим его сегодня темам. Если такие же ассоциации будут отмечены у большого числа россиян, то выводы напрашиваются сами собой. Таким образом, для более глубоких наблюдений по поводу лингвистических и экстралингвистических явлений потребуется более гибкая методика (даже и в рамках Интегрума: см. упоминавшуюся выше статью Г. Никипорец-Такигава).



ваться (и автор прекрасно это аргументирует). Даже концептуальную плотность (насыщенность текста определенным концептуальным содержанием) в исследуемых текстах вряд ли можно будет достоверно вскрыть с опорой на простую повторяемость, частотность использования одного слова, для ее выявления потребуются анализ ассоциатов (и их номинаций), «работающих» на тот же самый образ (концепт).

Во-вторых, в экстралингвистическом смысле гораздо более значимым было бы смещение акцента с чисто статистических факторов, связанных с «кризисной» лексикой, на содержание образов сознания кризисного типа. Только содержание сознания даст эвристически более значимые результаты. Для этого потребуются иные инструменты и иные приемы, такие, как анализ с психолингвистических и лингвокультурологических позиций. Это позволит понять, стоит ли что-нибудь реальное, социально, культурно и психологически значимое (кроме «шума в прессе», вбрасывания тем в целях ценового манипулирования) за бурным возрастанием частотности упоминания каких-то «кризисных» лексем. Но это потребует как минимум ассоциативного метода. Наверное, обращение к Интегруму для решения задач такого уровня побудит к поиску механизмов совершенствования самого инструментария Интегрума. Хотелось бы особо отметить статью Я. Фрухтмана как прекрасную, наглядную для начинающего пользователя иллюстрацию возможностей системы Интегрум в процедуре отбора и формирования корпусов для конкретного исследования.

Вторая часть сборника особенно богата собственно лингвистическими работами, которые нацелены на выявление содержания языковых изменений и изменений концептосферы лингвокультурного пространства носителей русского языка и культуры.

Статья А. Мустайоки и О. Пуссинен «Почему народу много, или новые наблюдения над употреблением второго родительного падежа в современном русском языке», пожалуй, является наиболее убедительным аргументом в пользу значимости точных количественных методов для лингвистики, когда они используются по прямому своему назначению. Статья посвящена исследованию вариативности окончания в родительном падеже у имен существительных мужского рода единственного числа в русском языке. «Наши наблюдения основываются на материале электронной базы данных “Интегрум” ([www.integrum.ru](http://www.integrum.ru)), охватывающей более 350 миллионов документов на русском языке, в том числе тексты художественной литературы, публицистику и газетно-журнальные статьи последних 15 лет из России и зару-

бежья. Об объеме системы “Интегрум” с точки зрения нашего вопроса можно получить представление, приведя только одну цифру: в материале встречается больше 12000 раз словосочетание *много народа/народу*» (с. 221). Возможности Интегрума не только существенно повышают валидность полученных данных, но и позволяют авторам увидеть объемную модель исследуемого объекта, что может в принципе послужить основой для суждений об изменениях в грамматической подсистеме языка и их сопряженности с лексико-семантическими и иными факторами в процессе их актуализации в речевой практике. Это происходит потому, что авторы не ограничиваются простыми подборками частотных показателей, а творчески используют инструментарий Интегрума для расширения интерпретационного поля своих возможностей. В результате им удается выявить зависимость частотных показателей вариантов грамматической формы от различных очевидных и менее очевидных факторов, трудноулавливаемых наблюдателем или вообще ему недоступных при ручной обработке материала. Здесь и стилистические, и структурные факторы, и факторы лексической наполняемости конструкций, о чем свидетельствуют тонкие семантические наблюдения исследователей. Выводы авторов позволяют существенно скорректировать сложившиеся до того представления о характере вариативности данной падежной формы в русском языке. «Объемное», статистически грамотное изучение объекта позволило авторам выйти на новые задачи и наметить возможные линии дальнейших исследований, в том числе и с применением Интегрума (с. 261). Сегодня вполне очевидно, что изучение частотных показателей вариативности языковых форм – главный вспомогательный инструмент в сложной процедуре нормирования языка для стремящегося уйти от умозрительных построений к учету реального состояния дел исследователя-практика.

В статье Е. Протасовой «Какого вкуса обида?» изучается вербализация эмоции ‘обида’ с опорой на текстовые возможности Интегрума. В итоге автору удается построить словесный образ этой эмоции, дополнив его количественными показателями, которые помогают прояснить функционально-семантические особенности каждой лексемы из лексического гнезда «обидных» слов. Данная статья, а также две другие статьи из второй части сборника дают хорошую иллюстрацию к возможностям применения инструментария и текстового ресурса Интегрума в исследовании ментального пространства культуры, поскольку содержат при-

меры верифицируемого, а потому удачного описания некоторых фрагментов категоризации разных видов опыта носителей языка, отраженного как в интертекстуальном пространстве (Г. Денисова. «Элементарно, Ватсон!» К вопросу о частотности употребления фильминимов в современном лингвокультурном пространстве»), так и в отдельных словоупотреблениях (Л. Саакян, О. Северская. «Нет, этого мы еще не озвучивали...»). В последнем случае электронные возможности позволяют буквально понаблюдать за процессом размывания нормы.

В третьей части сборника содержатся статьи, иллюстрирующие возможности привлечения Интегрума для гуманитарных исследований нелингвистического характера. Привлекает внимание полемическая статья М. Урнова «Россия в XXI веке: вопросы без ответов (взгляд либерала)». Невозможно и опасно игнорировать результаты проведенного «либерального» анализа состояния России, однако выводы, которые некоторые наши либералы сделали для себя на практике, а главное, тактика последовавших реальных действий уже дали результаты, которые должны стать новым материалом для нового осмысления и критического анализа<sup>2</sup>. Нет никакого сомнения в том, что Россия сегодня, как, впрочем, и во все периоды своего существования на карте мира, «жизненно нуждается в стратегических союзниках» (с. 338). Однако складывается впечатление, что некоторые либеральные действия в недавнем прошлом сопровождалось таким неумным потворством интересам «союзников», что в итоге удалось найти скорее хозяина, чем союзника. Там, где либералы будут продолжать действовать такими же методами, перенося оценки «западных экспертов» на себя, все их самые благие начинания ждет неминуемый крах, ибо унижение своего народа и себя самих не может «создать гражданского общества, поправить трудовую этику, пробудить личную инициативу и пополнить конку-

<sup>2</sup> Статья М. Урнова, в частности, самим фактом своего существования свидетельствует о том, что в отличие от стихии 90-х годов, наличие таких систем, как Интегрум, в сегодняшней нашей жизни позволяет активному пользователю самостоятельно найти актуальную для него информацию гуманитарного плана, вместо того чтобы слепо доверять безответственным «статистическим» данным от случайно попавших на экран телевизора лиц. По-видимому, создание таких систем становится шагом к информационной защите так называемого «гражданского общества».

рентоспособный трудовой ресурс». Никакие модели «патриотизма» по американскому образцу не помогут при таком подходе к делу.

Однако уйдем от жестко оценочного дискурса и остановимся на некоторых аспектах выявленных М. Урновым проблем, имеющих, с нашей точки зрения, прямое отношение и к Интегруму, и к любым другим средствам структурирования и поддержания информационного пространства русского мира, включая и лингвистическое пространство. Речь пойдет о проблеме, которую М. Урнов обозначил как «состояние человеческого ресурса России» и «кризис качества трудовых ресурсов». Русские люди, люди русского мира, прожившие почти век в закрытом государстве, оказались, образно говоря, «вброшенными» в море жестокого, чрезвычайно расточительного, жестко конкурентного рынка без каких-либо «плавсредств и навыков плавания». Если исходить не из ущербности и некомпетентности своего «ресурса», а из понимания того, что мы имеем дело с закономерным итогом длительной информационной изолированности и объективной невозможности быстрого информационного насыщения, то придется признать, что Россия с ее «трудовым ресурсом» оказалась в состоянии информационного неравенства как по количеству, так и по качеству информации, включая и сами носители информации и возможности ее передачи и обмена (прежде всего внутри своего собственного сообщества). Информационное неравенство (разность потенциалов) зачастую настолько велико, что нормальная конкуренция (даже в смысле соревновательности) теряет всякий смысл. Подключение коммерческого механизма в этих условиях приводит не к конкуренции ради стимула точек роста, а к агрессивному подавлению точек роста (в особенности в отдаленных от столиц регионах) при наличии заведомо невыполнимых для них правил игры. Этому в значительной степени способствовало разрушение старых механизмов информационного обмена, передачи и усвоения информации, а там, где они восстановлены, их теперь нужно заново осваивать, освоение же новых источников информации весьма проблематично при наличии информационного стресса у наших гуманитариев (о чем, в частности, свидетельствуют участвовавшие исследования психологов, приводящих тревожную статистику по синдрому «эмоционального выгорания» у работников в научно-образовательных коллективах), см. [Андронникова 2006; Соколова 2006; Мельников 2006].

Превышение порога восприятия информации никак не способствует повышению качества научной и научно-образовательной деятельности. Поэтому, вероятно, нужно эффек-

тивнее организовывать свое русскоязычное информационно-образовательное пространство с учетом реального состояния дел, а не «идеальных» моделей, воплощенных в создававшем их европейском и американском мирах. Такая постановка проблемы требует не информационной всеядности и культивирования своей ущербности перед лицом более умного и продвинутого «союзника» (слаб тот, кто убедил себя в своей слабости), а проверки информационного потока своими собственными интересами, его оптимизации, фильтрации, отсекающего лишнего, создания встречных информационных потоков со стороны русского мира и их защиты. Надо помочь своему народу энергетически справиться с этой проблемой. По-отечески подойти к ее разрешению. Именно поэтому появление таких проектов, как «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ) и «Интегрум» можно отнести к числу подлинно приоритетных национальных проектов. Правда, необходимость платить за пользование Интегрумом сильно снижает его реальные возможности именно для россиянина. Между тем, нельзя не согласиться с Н.Р. Добрушиной, Е.А. Гришиной и В.А. Плунигом, которые усматривают серьезные перспективы развития и применения Национального корпуса русского языка в научно-образовательном пространстве России [Добрушина 2005; Гришина, Плуниг 2005]. То же самое можно сказать и об Интегруме, при условии его доступности для основной массы русских студентов, преподавателей и научных работников.

Как НКРЯ, так и Интегрум могут послужить хорошей базой для информационной работы в системе образования. Если серьезно подойти к этой проблеме, то нельзя игнорировать тот факт, что наше научно-образовательное сообщество в силу упоминавшихся выше причин в информационном плане очень неоднородно. Невозможно получить быстрые инновационные решения и «открытия для науки» в системе гуманитарного образования, пока основная масса активно познающих людей не накопит критическую массу «открытий для себя». Поэтому очень важно наладить каналы прохождения информации между разными слоями специалистов, создать несколько ступеней работы с информацией в научной и околонаучной среде с участием специалистов разных категорий. Здесь, как ни в какой другой сфере, очень важен именно либеральный (в смысле демократичный), не жесткий подход, основанный не на внутренней конкуренции (когда запускается агрессия, амбиции, подогреваемые неумным коммерческим интересом в ущерб предметно-содержательной стороне дела), а на

взаимодополнительности (комплиментарности) и взаимоусилении друг друга. При огромной экономической и мировоззренческой раздробленности, которая наблюдается в сегодняшней России, такой подход представляется нам самым оптимальным.

Создание корпусов, ИПС, их развитие и разработка требует огромных усилий целых коллективов, а продвижение этих систем в массы, апробация и эффективное применение требует не менее существенных, если не больших коллективных усилий. Поэтому трудно не согласиться с автором статьи «“Интегрум” и Национальный корпус русского языка в лингвистических исследованиях» В.А. Плунигом, когда он выдвигает на первый план задачу обсуждения вопроса о том, «какие корпуса нужны лингвистам и какие новые задачи следует ставить и решать с их помощью» (с. 76). Вероятно, имеет смысл подумать об информационно-справочных системах, своего рода базы баз предметного характера, предназначенных специально для использования в системе высшего образования. Это могли бы быть базы, содержащие подробные сведения о существующих (уже созданных) и создающихся электронных информационных ресурсах по означенному направлению, структурированные и системно организованные с учетом категории пользователя, предметной области, снабженные навигационными средствами для выполнения учебно-тренировочных задач и примерами их выполнения (аналогично тем алгоритмам, которые расписаны в статьях рецензируемого сборника), возможно создание тематических баз по актуальным темам лингвистических исследований. Неоценимую помощь для лингвистики, работающей с иностранными языками, а также для вузов, в которых реализуются соответствующие стандарты, окажут базы параллельных переводных текстов, их можно создавать и на основе развития корпуса параллельных текстов НКРЯ (о таком корпусе см. [Добровольский, Кретов, Шаров 2006]). Полагаю, что необходимо создавать корпуса синхронизированных (хронологически совпадающих по времени появления и в этом смысле параллельных) текстовых памятников из истории разных языков (скажем, английского и русского, английского, русского и китайского, немецкого и русского и т.п.), снабжать их подробными комментариями и словарями, а также инструментарием, позволяющим выполнять сравнительные историко-типологические исследования. Такого рода базы помогут не только изучать языковые процессы в контексте конкретной исторической эпохи, но и помогут исследовать через текстовое пространство разных культур динамику становления и

развития (разрушения) разных этнокультурных типов, динамику взаимодействия этногенезов и исторически засвидетельствованных строевых преобразований сопоставляемых языков. Конечно, следует продолжить работу по составлению и пополнению баз данных различных типов ассоциативных (ментальных) словарей, словарей, отражающих особенности речевой компетенции носителей разных изучаемых в наших вузах иностранных языков. Например, базы данных о типологически обусловленных лакунах, возникающих при изучении конкретного иностранного языка, и на этой основе (а также на экспериментальной основе) создание ассоциативных словарей, эксплицирующих актуальные образы сознания, ответственные за манипулирование носителями значений (кластеризацию смыслов), создающие типологически специфичные продуктивные модели в этих языках.

Осознание этнокультурной мозаичности мира в целом и русского мира в частности, вынуждает лингвиста подумать о корпусах, содержащих не только информацию о вариативности конкретных языковых форм, но и о вариантах русского языка в «русском мире» (возможно, на основе и с учетом опыта корпуса диалектных текстов НКРЯ; о корпусе см. [Летучий 2006]), которые, наверное, могли бы иметь и мультимедийное выражение, что потребовало бы очень серьезных финансовых вложений.

Студент-лингвист, профессионально изучающий иностранные языки, сегодня сталкивается с очень серьезными специфическими трудностями, связанными не только с отсутствием мобильности, жизненно необходимой для овладения языком. При изучении иноязычной культуры, литературы, теории иностранных языков он оказывается практически один на один с огромным информационным потоком литературы на иностранном языке. Нужна системная работа, способная компенсировать отсутствие мобильности за счет качественной фильтрации материала, перевода массива теоретически (и культурологически) значимой информации в родную для обучающегося семиотическую систему. Возможно, следует подумать не только о переводе и (или) истолковании научной литературы по актуальным направлениям иноязычной лингвистики, но и создании инструментария, облегчающего (и студенту и преподавателю) ориентацию и изучение иноязычных лингвистических трудов, их рубрикацию по темам, отраслям, актуальности и пр.

Наконец, в продолжение темы, поднятой рецензируемым сборником, и в особенности в статье В.А. Плунгяна, заметим, что сейчас рос-

сийская лингвистика, имеющая мощную традицию и всегда прочно стоявшая на ногах, переживает сложный период, как и вся наша пришедшая в движение гуманитарная сфера. Вероятно, для лингвистики в России это период накопления эмпирического материала, вызванный необходимостью осмысления произошедших с нами и нашими языками перемен. Все эти материалы (обобщенные в корпусах, в том числе на основе экспериментальных данных и когнитивных исследований) закладывают основу для нового прорыва. Ведь только время поможет нам прояснить тенденции в смене этнической картины мира и в сегодняшних языковых процессах и поставит точку в спорах о якобы имевшей место утрате лингвистикой своего объекта в междисциплинарных исследованиях. Сегодня кто-то осмысляет языковые изменения через антропологическую призму человека с его внутренним и внешним миром, а кто-то, как автор данной рецензии, через семиотику жизни, являющуюся не только достоянием антропосферы. Кто-то видит возможность активного осмысления языковых изменений в контексте «философии нестабильности» И. Пригожина. Все это суть не исключаящие друг друга общеметодологические подходы к нашему объекту, но он был, есть и будет всегда, пока существует речевая деятельность человека и способность творить знаки, насыщенные смыслом. Система же сотворенных человеком знаков по природе своей не автономна. Возможно, мы и придем со временем к какой-то единой методологии, но, скорее всего, она и не нужна, ведь многообразие (усложнение) системы получения знаний залог ее развития в эпоху неустойчивости среды.

Корпусная лингвистика не только не отменяет объект у лингвистики (язык как система), но и дает дополнительные инструменты для его исследования, вооружая лингвиста (филолога) более надежной текстовой информацией в количественно-качественном выражении и таким образом скорее действительно возвращая лингвисту его объект. Если нам сейчас интересны преимущественно тексты, то это не значит, что в будущем мы не обратим свой взор в глубь языковых изменений. Приоритетная задача корпусной лингвистики – накопление и систематизация информации, ее обработка. Однако интуицию исследователя корпусная лингвистика заменить не может, не сможет она заменить и культуру «пользователя». Что же касается точных методов, то и здесь слишком большая точность, наверное, не главное условие для успеха лингвистических исследований. Ведь речевая компетенция не сформируется вне сложившейся системы. Она возможна при условии существования более

менее устойчивых системных процессов и их взаимодействия со средой, в которой они функционируют. Это означает, что система языка существует как семиотическая сущность и способна самоорганизовываться и оптимизироваться под потребности человека. Как и любой стихийный процесс, имеющий отношение к живым системам, она не может быть вписана в «точные» скрупулезно выверенные математические (статистические) рамки. Но как только появляется устойчивая динамика, доступная наблюдению в той или иной сфере использования языка, так появляется и возможность оценить ее количественные параметры, сегодня в распоряжении лингвиста-исследователя русского языка есть инструментарий «Интегрума» и НКРЯ. Поэтому, действительно, можно согласиться с В.А. Плунонгом, который предсказывает появление нового направления лингвистических исследований «своего рода «микросторическую» лингвистику, в центре внимания которой находятся не глобальные изменения в истории языка, а изменения менее масштабные, занимающие десятилетия (для истории языка это чрезвычайно маленький срок)» [Плунон 2005: 18]. Рискнем предсказать возврат лингвистики в макроисторическое русло с новым обновленным инструментарием и методологией после прохождения критического периода накопления микросторической информации.

В заключение хотелось бы выразить глубокую благодарность всем авторским коллективам создателей информационных систем НКРЯ и Интегрума, а также авторскому коллективу рецензируемого сборника (to all workers at the alveary), выполнившим и продолжающим выполнять огромную профессионально насыщенную работу по созданию и продвижению информационного ресурса русского мира.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андронникова 2006 – О.О. Андронникова. Психологическая безопасность образовательной среды вуза // Проблемы модерни-

зации высшего гуманитарного образования: Мат-лы VI региональной научн.-теоретич. конф. Новосибирск, 2006.

Гришина, Плунон 2005 – Е.А. Гришина, В.А. Плунон. Перспективы развития Национального корпуса русского языка // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Добровольский, Кретов, Шаров 2005 – Д.О. Добровольский, А.А. Кретов, С.А. Шаров. Корпус параллельных текстов: архитектура и возможности использования // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Добрушина 2005 – Н.Р. Добрушина. Как использовать Национальный корпус русского языка в образовании? // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Летучий 2005 – А.Б. Летучий. Корпус диалектных текстов: задачи и проблемы // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Мельников 2006 – В.И. Мельников. Синдром «эмоционального выгорания» у студентов и методы его коррекции // Проблемы модернизации высшего гуманитарного образования: Мат-лы VI региональной научн.-теоретич. конф. Новосибирск, 2006.

Плунон 2005 – В.А. Плунон. Зачем нужен национальный корпус русского языка? Неформальное введение // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Соколова 2006 – Е.В. Соколова. Профессиональные риски и здоровье педагога // Проблемы модернизации высшего гуманитарного образования: Мат-лы VI региональной научн.-теоретич. конф. Новосибирск, 2006.

Hughes 1989 – G. Hughes. Words in time. A social history of the English vocabulary. Oxford, 1989.

И.В. Шапошникова

А.Е. Кузнецов. *Ars brevis*. Латинская метрика. Тула: Гриф и К°, 2006. 554 с.

Выход в свет «Латинской метрики», созданной доцентом кафедры классической филологии МГУ А.Е. Кузнецовым, без сомнения, следует рассматривать как событие весьма значительное. Это не только крупнейшее научно-методическое пособие, выпущенное кафедрой

за последние более чем десять лет<sup>1</sup>, не только первая за 118 (!) лет книга российского автора,

<sup>1</sup> Со времени выхода двухтомного учебника древнегреческого языка [Славягинская 1996].

специально излагающая основы метрической науки древних<sup>2</sup>, но первый и единственный в нашей науке труд, посвященный систематическому и подлинно научному изложению принципиальных вопросов латинской просодики и формальных законов стихосложения. В этом смысле труд А.Е. Кузнецова по полному праву занимает то же положение, что и начавшие появляться на русском языке с недавнего времени введения в основные разделы современной лингвистики.

Книга открывается предисловием, включающим в себя многочисленные справочные материалы, в том числе обширную библиографию (с. VII–LXIV), и введением «*Primaе potiones. Начальные понятия*» (с. 3–22), где рассматриваются общие вопросы истории латинского языка, латинской словесности, проблема диглоссии в Древнем Риме и сопряженные с ней вопросы о ценности трудов римских грамматиков как источника по латинской просодии классического периода. Автор отстаивает единство латинского литературного языка от Плавта до поздней античности (IV в.) – вопреки У. Аллену и Э. Пульграму, относившим начало диглоссии еще к доклассическому времени. Эта важнейшая проблема впервые описана на русском языке столь подробно именно в настоящей работе.

Сам автор, подчеркивает, что его книга – «это *Ars* – грамматика, которая предлагает законченное и в своих пределах *замкнутое* и *самодостаточное* описание» (с. VII, курсив – А.К.). И действительно структура «Латинской метрики» отражает композиционные принципы, восходящие еще к античности.

Основную часть книги составляют четыре главы – «Просодика» (с. 25–143), «Метрика» (с. 145–274), «Ритмика» (с. 275–305) и «Изучение метрики в древности» (с. 307–346). Каждая из них содержит в себе много новой информации, прежде недоступной русскоязычному читателю. «Просодика» не только излагает общеизвестные постулаты моровой теории, но и вводит нас в курс современных научных проблем, таких, как просодические аномалии, закон ямбического сокращения, элизия и многие другие. «Метрика» дает подробное описание и классификацию латинских стихотворных систем в их истории с подробным обсуждением вопросов об арсисе и икте, о критерии колометрии, о различных традициях скандирования стихов и т.д. Глава «Ритмика» посвящена

как выявлению общих законов построения стиха, так и решению принципиально новой задачи – создания такой универсальной системы формального описания латинского стиха, которая в дальнейшем облегчила бы его статистическое изучение. Наконец, четвертая глава открывает читателю ретроспективный взгляд на историю науки о стихосложении начиная с IV в. до н.э. и кончая поздней античностью с подробным обсуждением персоналий и метрических теорий.

Тем самым, главы «Просодика», «Метрика» и «Ритмика» составляют как бы три этажа всей метрической системы, тогда как четвертая рисует нам эту систему в диахронии. При этом каждый из этих «этажей» открыт не только «внутри» – к описанию и изучению собственно фактов латинского стихотворного наследия, но и «вовне»: латинская просодика рассматривается на фоне просодики общей, с изложением сопутствующих вопросов структуры слога, теории мор и т.д., главы «Метрика» и «Ритмика» так или иначе затрагивают разнообразные проблемы общей теории стиха и т.д.; глава об истории метрики позволяет нам рассмотреть те или иные метрические теории на фоне общей истории латинской словесности, тем самым удачно сочетаясь с историческим введением и составляя с ним своеобразную «кольцевую» структуру.

Кроме того, автором книги собраны и учтены, как кажется, практически все актуальные для современного состояния науки работы (одна лишь библиография занимает более 30 страниц) – уже это превращает книгу А.Е. Кузнецова в своеобразный компендиум знаний по латинской метрике и метрике вообще, во многом превосходящий даже такие известные труды, как [West 1982] или [Boldrini 1992].

Особого внимания читателя заслуживают также и приложения: первое представляет собой пример разбора хоровой партии из «Агамемнона» Сенеки по принципам, изложенным в главе «Ритмика»; второе специально посвящено проблеме так называемого «сатурнова стиха», содержит подробный анализ материала и способно послужить поводом к продолжению более чем вековой научной дискуссии; наконец, третье, публикующее латинский трактат Р. Бентли «*De metris Terentianis*», имеет важное методическое значение.

Наконец, следует сказать несколько похвальных слов и о принципах изложения материала. В книге систематичность и ясность изложения того, что является бесспорным, общеизвестным или общепринятым в науке, вполне удачным образом сочетаются с атмосферой

<sup>2</sup> После труда Я.А. Денисова «Основание метрики у древних греков и римлян» [Денисов 1888].

научной дискуссии, в которую вовлекает читателя автор; при этом информация общего характера всегда четко отделена от сведений узкоспециальных (композиционно, сносками, петионом и т.д.), что делает книгу А.Е. Кузнецова доступной людям самой разной научной компетенции и интересов. Все это позволяет рассматривать «Латинскую метрику» как строгую и стройную систему, причем изложенную так, что она будет доступна и понятна (а значит, и интересна) не только специалистам-классикам, в том числе студентам, но всем, так или иначе интересующимся вопросами фонологии, ритмики и стихосложения<sup>3</sup>.

Помимо своей научной составляющей, книга А.Е. Кузнецова – это еще и учебное пособие, предполагающее решение ряда дидактических задач. Сам автор главной из них выбирает «возвращение Плавта и Теренция на подобающее им место: авторов, читаемых в самом начале университетского курса латинского языка» (с. VIII). И действительно, эта задача решается книгой вполне успешно: изложенные в главах II–III законы и отступления от них<sup>4</sup>, а также методы ритмического анализа стихотворного текста (в гл. III) позволяют студенту не только научиться разбирать доклассический драматический стих, но и анализировать его, строя собственные ритмические и лингвистические теории.

Но кроме этого в книге решается еще одна, гораздо более важная дидактическая задача, – причем такая, о которой, возможно, не подозревал и сам автор. Речь идет о воспитании у читателя исторического (а значит, и гуманистического) взгляда на формальные проблемы латинского стихосложения. Теория стиха у А.Е. Кузнецова органично сочетается с его историей, история стиха перетекает в историю жанров, история жанра – в историю греко-римской культуры вообще и метрических взглядов в частности; с первым удачно сочетаются культурно-исторические сведения, изложенные во введении («Primaе potiones»: о ла-

<sup>3</sup> Более того, весьма показательно стремление автора преподнести материал таким образом, «что к читателю не предъявляется никаких требований в отношении знания латинского языка» (с. VIII).

<sup>4</sup> Здесь также следует отметить, что некоторые основополагающие явления латинской метрики, в частности закон ямбического сокращения, закон Бенгли-Люкса, правило Лахманна, проблема конечного слога, впервые описаны на русском языке с такой степенью подробности.

тинском языке, о диглоссии, о Цицероне и т.д.), со вторым – последняя, четвертая глава («Изучение метрики в древности») и латинский трактат Р. Бенгли о метрах Теренция, данный в приложении. Читатель наглядно видит, как наука о слогах и морах, самом «бездуховном», по признанию большинства, из того, что есть в языке, превращается в науку о великой культуре и литературе – упорядоченном множестве элементарных единиц, среди которых и непосредственные объекты метрической науки. Тем самым «Латинская метрика» как раз продолжает вековую филологическую традицию, идущую от античности к Р. Бенгли и от него через У.М. Линдсея к современной эпохе. Воспитание в читателе чувства этой традиции – одна из несомненных заслуг А.Е. Кузнецова.

Теперь несколько слов о недостатках и замечаниях, которые могут быть отнесены ко всякому научному исследованию.

1. В книге все-таки слишком много опечаток. Мне самому, не раз работавшему с текстами такого рода в качестве не только автора, но и редактора и даже макетировщика, хорошо известно, сколь непросто подготовить к печати текст такой степени сложности, и я понимаю, какой огромный труд совершили вместе и автор книги и три его ученицы, взявшие на себя бремя редактирования книги. Но, тем не менее, очень хотелось бы, чтобы книга, посвященная вопросам просодии и ритмики, была лучше выверена именно на предмет правильной расстановки долгот. Иначе читатель всякий раз, видя, к примеру, слово *nesciō* (с. 13), будет приходить в недоумение: имеет ли он дело с опечаткой, раз в других местах было напечатано *nesciō*, или в одном из этих случаев (но в каком?) долгота *ē* позиционно (?) изменяется, или это оттого, что написание *nesciō* встречается в позднем тексте Августина. Подобного рода проблем (даже при наличии опечаток) можно было бы избежать в том случае, если бы в каком-либо месте было дано подробное описание принципов расстановки долгот – в частности в закрытых слогах и особенно перед *x* и *gn*. Легко заметить, что сведений, изложенных на с. XII и с. 58–59, явно не достаточно.

Кроме этого, встречаются и такие обидные опечатки, как то, что «Querolus» написан, «вероятно, в начале V в. до н.э.». Есть опечатки и в библиографии: к примеру, моя диссертация датируется в книге 2006, а не 2005 годом.

2. На упомянутой с. XII имеется таблица, в которой приводится система фонем латинского языка, включающая в себя как отдельные элементы фонемы /j/ и /h/. Она названа «стандартной» со ссылками на труды Горецкого, Келли, Манье и Бальди, однако даже в этом

случае читателю все равно остается непонятным, почему выбрана именно такая система фонем, для какой эпохи и как быть с известным заявлением И.М. Тронского [2001: § 71], утверждавшего, что «в латинском языке не существует слов, различие которых покоилось бы на противопоставлении *i-j*». В любом случае здесь требуются более подробные разъяснения.

3. Принятую систему обозначения «тяжелых» и «легких» слогов греческими буквами  $\alpha$  и  $\beta$  тоже нельзя признать совсем удачной. Хотя на с. 59 автор и указывает, ссылаясь на Гефестиона, что под ними понимаются цифры, тем не менее, они все равно привносят в подсознание читателя ложную мысль о том, что противопоставление слогов носило скорее качественный характер, чем количественный. Принимая все сказанное, я бы предложил вообще отказаться от буквенных символов, заменив их чем-нибудь более наглядным.

Что касается замечаний и предложений, имеющих непосредственное отношение уже к собственно ритмико-просодическим взглядам автора книги, то все они носят исключительно дискуссионный характер и должны стать предметом специальных научных работ, а не общей рецензии; в любом случае, они, равно как упомянутые выше, никоим образом не снижают в

целом очень благоприятного впечатления от труда А.Е. Кузнецова.

В заключение хочется добавить, что «Латинская метрика» в целом является примером того, каким должен быть современный научный труд по классической филологии. Хочется также верить, что катастрофически малый тираж в 300 экз. в действительности предполагает последующее (исправленное и дополненное) переиздание книги, а не объясняется безысходностью той ситуации, в которой наша филологическая наука пребывает уже около столетия. «Латинская метрика» А.Е. Кузнецова есть важный шаг вперед всей отечественной филологии, и научная общественность должна быть заинтересована в ней.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Денисов 1888 – Я.А. Денисов. Основание метрики у древних греков и римлян. М., 1888.  
Славятинская 1996 – М.Н. Славятинская. Учебник древнегреческого языка. М., 1996.  
Тронский 2001 – И.М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. М., 2001.  
Boldrini 1992 – S. Boldrini. La prosodia e la metrica dei Romani. Roma, 1992.  
West 1982 – M.L. West. Greek metre. Oxford, 1982.

А.М. Белов

**G.J. Rowicka, E.B. Carlin (eds.). What's in a verb? Studies in the verbal morphology of the languages of the Americas.** Utrecht: LOT Publications, 2006. 252 p. [LOT Occasional Series; 5]. – ISBN: 9789076864945

Статьи, объединенные в рецензируемом сборнике, посвящены различным вопросам глагольной морфологии языков Северной, Центральной и Южной Америки. Все авторы являются сотрудниками различных научно-исследовательских центров Королевства Нидерланды; таким образом, сборник дает представительный срез современного состояния нидерландской американистики.

Первые несколько статей сборника посвящены структуре глагольной словоформы в полисинтетических языках Северной Америки.

Так, П. Баккер в «Algonquian verb structure: Plains Cree» рассматривает морфологическую структуру глагола в равнинном кри. После изложения базовых фактов глагольной морфо-

логии языка и краткого обзора моделей, выдвигавшихся для кри и родственных языков со времен Блумфильда и до наших дней, автор предлагает новую порядковую модель глагола кри, более полную и точную, нежели у его предшественников. Баккер насчитывает семь префиксальных порядков (показатели лица, ТАМ-категорий и пространственной локализации), три порядка внутри основы и 11 суффиксальных порядков (личные и валентностные показатели, число, кондиционалис). Баккер отдельно обсуждает соответствие наблюдаемых данных существующим теориям порядка аффиксов, отмечая некоторые типологически неожиданные моменты. Так, в кри число выражается ближе к корню, нежели лицо, а накло-



нение ближе, чем время (последняя черта свойственна многим другим алгонкинским языкам). Также неожиданны позиции нескольких архаичных аффиксов, не рассматриваемых в статье подробно по причине недостатка данных. Баккер довольно осторожно высказывает гипотезу о том, что наблюдаемые отклонения от эталона могут указывать на имевший место в истории алгонкинских языков сдвиг от исключительно суффиксального выражения важнейших глагольных категорий к преимущественно префиксальному, возможно, под воздействием языкового контакта.

Статья Я. ван Эйка «Typological aspects of Lillooet transitive verb inflection» посвящена спряжению переходных глаголов в салишском языке лиллуэт. В первой части статьи автор приводит базовые факты грамматики, кратко останавливаясь на сложной и интересной системе повышающих дериваций, после чего излагает свой анализ системы переходного глагола, иллюстрируя его парадигмами двух глаголов (по 28 лично-залоговых форм). Глагольная словоформа в лиллуэт начинается с корня, суффикс субъекта следует за суффиксом объекта; форма суффикса определяется лицом-числом и семантической ролью. Таким образом, в лиллуэт реализована типологически вполне банальная стратегия маркирования ядерных участников ситуации (slot assignment). Во второй части автор долго сравнивает реализованную в лиллуэт стратегию с другими принципами организации маркирования партиципалов, встречающимися в америндийских языках, такими, как падежное маркирование, система инверсива и т.н. feature nesting (использование rotmanteau-показателей для определенных комбинаций лица-числа участников). Статья содержит любопытный языковой материал, но общая композиция вызывает легкое недоумение.

Если предыдущие статьи касались прежде всего аффиксальной части глагольной словоформы, то внимание Х. Натера в «Athabaskan verb stem structure: Tahltan» целиком и полностью обращено на структуру основы. В атабаскском языке талтан наблюдается большое количество чередований в глагольных основах, которые на первый взгляд представляются абсолютно непредсказуемыми. Автор показывает, что систему чередований довольно легко объяснить, если привлечь данные диахронии: в реконструируемых формах, свободных от позднейшей фузии, виден изначально регулярный, автоматический характер чередований. Таким образом, реконструируемые формы способны выступать в функции глубинных (underlying) представлений современных форм в

более сложных морфологических теориях. Более половины текста статьи занимает словарь из 40 глагольных основ с реконструкциями как авторскими, так и заимствованными из существующих работ.

Вокалическим чередованиям в основах, но в совершенно ином аспекте, посвящена также статья Г. Ровицкой «The transitive linker in Upper Chehalis». В ныне вымершем, но относительно хорошо задокументированном салишском языке верхний чехалис в разных позициях глагольной словоформы происходят усечения гласных, для объяснения которых ранее постулировались довольно неуклюжие морфонологические правила [Kinkade 1998]. Детально проанализировав дистрибуцию гласных *-a-* и *-i-* в различных формах, автор приходит к выводу о том, что в данном случае мы имеем дело не с чередованием в исходе корня / лексического суффикса, но с самостоятельной морфемой (transitive linker), имеющей аналоги в близкородственных языках. Для постулируемого показателя предлагается смелая, но обстоятельно аргументированная прото-салишская этимология.

Статья А. Ферман-Ляйхсенринг «Valency-changing devices in Metzontla Popoloc» представляет собой краткий, но весьма информативный очерк повышающих и понижающих актантных дериваций в одном из диалектов отомангского языка пополока. Рассматриваются такие деривации как комитатив, инструменталис, каузатив, безагентивный пассив, антикаузатив; отдельный раздел посвящен явлению лабильности. Есть основания полагать, что когда-то система актантных дериваций в пополока была еще более развитой, но со временем многие показатели утратили свою продуктивность.

В. Аделар в «The vicissitudes of directional affixes in Tarma (Northern Junín) Quechua» подробно рассматривает систему глагольных суффиксов пространственной ориентации в одном из диалектов группы кечуа В. Рассматриваемый идиом унаследовал от прото-кечуанской четырехчленной системы суффиксы *-rku-* 'наверх' и *-rri-* 'вниз'. Однако рефлекс суффиксов *-yku-* 'внутри' и *-rqi-* 'наружу' легко вычлениваются в ряде глаголов со значением перемещения; в принципе, можно было бы выделять эти суффиксы синхронно как сочетающиеся с ограниченным набором связанных корней, но Аделар, со свойственной ему осторожностью, воздерживается от подобной формулировки. В статье описывается употребление суффиксов с различными группами глаголов, их морфонологические свойства и происхождение. Любопытна этимология, возводящая суффикс *-rqi-*

‘наружу’ к слову *urqui* ‘гора’. Аделар приводит также подробные и крайне интересные данные о семантическом развитии рассматриваемых суффиксов в кечуа В диалектах в аспектуальные, темпоральные, таксисные, прагматические и др. показатели; так, к тому же *-rqi-* восходит суффикс перфектива *-ri-*. Описание системы суффиксов пространственной ориентации предваряет обстоятельное введение в структуру кечуанской глагольной словоформы. Особое внимание уделено порядку суффиксов – той области, в которой кечуа демонстрирует некоторые типологически небанальные черты. Отдельный краткий раздел посвящен также суффиксу «вентива» *-mi-*, подробно описанному в литературе по другим диалектам кечуа; автор приводит аргументы против причисления *-mi-* к суффиксам пространственной ориентации. Обращает на себя тщательность при анализе и подаче материала, внимание автора к мелочам, учет междиалектного варьирования.

Статья Э. Карлин «Verbalizers in Trio: a semantic description» посвящена описанию суффиксов-вербализаторов в карибском языке трио. Всего в трио насчитывается девять вербализаторов, отличающихся по привносимому значению и своим аспектуальным свойствам. Четыре из них используются для образования переходных глаголов от имен, пять – для образования непереходных глаголов. Особое внимание автор уделяет разбору фразеологизированных сочетаний различных вербализаторов с наименованиями частей тела и другими культурно значимыми именами, пытаясь привязать их к тем или иным аспектам традиционной картины мира носителей языка.

М. Кревельс в статье «Verbal number in Itonama» описывает показатели глагольной множественности в итонама, вымирающем языке-изоляте боливийской Амазонии. Именам в итонама не свойственна категория числа: только некоторые термины родства и еще несколько имен, обозначающих человеческих референтов, имеют застывшие формы плюралиса. При этом используются различные средства маркирования множественности на глаголе: частичная редупликация корня, суффиксация, супплетивизм. Некоторые средства маркируют множественность участников, некоторые – множественность ситуаций, другие же способны выступать в обеих функциях. Статья интересна уже тем, что до сих пор в исследованиях глагольной множественности (плюрациональности) почти не привлекался материал языков Южной Америки.

Данные еще одного малоизученного генетически изолированного языка Боливии пред-

ставлены в статье С. ван де Керке «Object cross-reference in Leko». В леко наличествует серия префиксов, материально схожих с показателями посессива имени и использующихся в ряде контекстов для маркирования лица-числа объекта при глаголе. На материале объемного текста, записанного от последнего полноценного носителя языка, автор анализирует употребление объектных показателей в простой переходной клаузе, дативной, версионной и каузативной конструкциях, в конструкциях с сентенциальными актантами и малыми клаузами. На употребление объектных показателей, играющих важную роль в обеспечении связности текста, влияют как синтаксические и семантические, так и дискурсивно-прагматические факторы: определенность и топикализованность референта, его положение в иерархии одушевленности и др.

С. Мейра рассматривает в статье «Stative verbs vs. nouns in Sateré-Mawé and the Tupian family» морфосинтаксические свойства стативов в маве (языке семьи тупи, распространенном на юге Бразилии), задаваясь вопросом о том, следует ли относить последние к именам или к глаголам. В маве и стативы, и «канонические» имена способны употребляться как в аргументной, так и в предикатной позиции (в случае имен – в значении ‘иметь X’). При этом стативы и именные предикаты ведут себя идентично в том, что касается личного маркирования (кроме некоторых форм 3Sg), каузативизации, отрицания, употребления аспектуальных частиц. Аналогичная ситуация наблюдается во многих языках тупи-гуарани ([Queixalós (ed.) 2001] и др.). Сопоставляя данные маве с данными тупи-гуарани, Мейра, в частности, приходит к выводу о том, что «глагольный» анализ стативов в камаюра, защищаемый в [Seki 2001], вполне оправдан, в то время как для маве, где сфера употребления стативов шире, более адекватен «именной» анализ. Вообще говоря, применительно к камаюра было бы более последовательным выделить стативы в отдельный класс, признав оппозицию между стативными и динамическими глаголами не менее важной для системы языка, нежели оппозицию между именами и глаголами. Удивляет отсутствие в списке литературы работы [Nordhoff 2004], где рассматриваемые проблемы очень подробно исследованы на материале парагвайского гуарани. В заключение автор обращает внимание на то обстоятельство, что из всех языков тупи за пределами семьи тупи-гуарани только в маве и авети [Drude 2001] наблюдается подобная дистрибуция именных и глагольных свойств, в частности, возможность предикативного употребления

имен с посессивными показателями без глагола-связки. Это, по мнению Мейры, может служить еще одним аргументом в пользу выделения внутри макросемьи тупи генетической группировки, объединяющей маве, авети и языки тупи-гуарани («мавети-гуарани»).

В статье «Verbs in Uchumataqu» П. Майскен и К. Ханнс приводят краткий очерк глагольной морфологии в языке уру (учуматаку, семья уру-чипайя), основанный на полевой работе первого соавтора с последним носителем языка в 2000–2001 гг. и на существующих материалах (зачастую неопубликованных), собранных начиная с конца XIX века разными исследователями и проанализированных вторым соавтором в ходе работы над ее диссертацией [Hanns (in prep.)]. В очерке затронуто выражение вида, времени и модальности, лица/числа субъекта, императива, каузатива, а также оформление нефинитных форм глагола. Данные уру сопоставляются с данными чипайя, второго представителя семьи [Cerrón Palomino 2006]. К сожалению, констатируя сходства и различия между уру и чипайя, а также между данными уру, приведенными в источниках различных лет, авторы так и не дают окончательного ответа на поставленные в начале статьи вопросы о степени родства между двумя языками, о возможности реконструкции прото-уру-чипайского состояния и о направлении и характере изменений в глагольной системе уру на протяжении XX века.

Средствам выражения эвиденциальности и эпистемической модальности в лаконде (один из диалектов северного намбикуара) посвящена статья С. Теллес и Л. Ветцельса «Evidentiality and epistemic mood in Lakondé». Значения из сферы эвиденциальности разнесены в лаконде по двум различным морфологическим категориям: опциональные суффиксы косвенной засвидетельствованности (аудитива и цитатива) занимают позицию в середине глагольной словоформы, среди модальных показателей, в то время как крайне правую позицию в словоформе обязательно занимает один из показателей прямой засвидетельствованности. Еще одной крайне любопытной чертой лаконде является кросскатегориальный характер суффикса прямой засвидетельствованности -ta-: последний может употребляться в качестве демонстратива при именах, референт которых находится в поле зрения говорящего и слушающего. Авторы специально останавливаются на взаимодействии обеих подсистем эвиденциальности с видо-временными граммемами. Попутно приводится порядковая модель полисинтетической глагольной словоформы лаконде.

В целом сборник издан аккуратно и качественно. Опечатки немногочисленны, но, увы, носят весьма досадный характер и, что особенно печально, относятся в основном к примерам. Так, в первом же языковом примере на с. 6 допущена грубая ошибка в глоссах; на следующей же странице в объяснении дистрибуции показателей инверсива содержится опечатка, искажающая смысл. В некоторых статьях нарушена нумерация примеров.

Для тех, кто работает с материалом языков и языковых семей, непосредственно затронутых в статьях, рецензируемый сборник представляет несомненную ценность. Полезность же его для специалистов по общему языкознанию менее очевидна. Во многих статьях упор делается на изложение языковых фактов; теоретические обобщения несколько поверхностны и формулируются авторами как будто «ради галочки». Некоторые статьи отражают «work in progress» и скорее ставят вопросы, нежели предлагают ответы. Тем не менее, уже сам языковой материал, приводимый в сборнике, делает его заслуживающим внимания. Статьи, посвященные леко, уру, итонама и лаконде, отражают полевую работу авторов с последними (в самом буквальном и драматичном смысле этого слова) носителями соответствующих языков. Различные статьи сборника будут полезны специалистам, занимающимся порядком глагольных аффиксов, типологией маркирования участников ситуации, актантными деривациями, теорией грамматикализации.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Cerrón Palomino 2006 – R. Cerrón Palomino. El chipaya o la lengua de los hombres del agua. La Paz, 2006.
- Drude 2001 – S. Drude. Nominale Prädikation im Awetí. Freie Universität Berlin, 2001. (Ms.)
- Hanns (in prep.) – K. Hanns. Uchumataqu 1893–2006. A reconstruction, grammatical sketch, and diachronic account. PhD diss. Radboud University Nijmegen (in prep.).
- Kinkade 1998 – M.D. Kinkade. How much does schwa weigh? // E. Czaykowska-Higgins, M.D. Kinkade (eds.). Salish languages and linguistics: theoretical and descriptive perspectives. Berlin, 1998.
- Nordhoff 2004 – S. Nordhoff. Nomen / Verb-Distinktion im Guaraní // Arbeitspapier Neue Folge. № 48. Köln, 2004.
- Queixalós (ed.) 2001 – F. Queixalós (ed.). Des noms et des verbes en tupi-guarani: état de la question. LINCOM Studies in Native American linguistics. V. 37. München, 2001.

**Parallels between Celtic and Slavic. Proceedings of the First international colloquium of Societas Celto-Slavica held at the university of Ulster, Coleraine, 19–21 June 2005 / Ed. by S. Mac Mathúna, M. Fomin. Coleraine: The Stationery Office, 2006. xiii + 332 p. (Studia Celto-Slavica; 1).**

Перед нами материалы конференции, проходившей в Колрейне (Сев. Ирландия) в июне 2005 года под эгидой общества Кельто-Славика. Как явствует из самого названия общества и как сказано во вступлении к сборнику, написанного редакторами Ш. Мак-Махуной и М. Фоминым, «коллоквиум был организован с целью представить историю и современное состояние кельтологии в славянских странах и исследовать параллели между славянской и кельтской традициями» (с. i). Предваряя дальнейший обзор, мы можем сказать, что, на наш взгляд, эта цель была достигнута.

Само создание общества Кельто-Славика представляется нам в высшей степени благотворным начинанием, позволяющим налаживать контакты и обмениваться мнениями ученым-кельтологам из Восточной и Западной Европы. Плодотворность таких контактов кажется очевидной, на что указывает и высокий научный уровень статей, представленных в сборнике.

Но, прежде чем перейти к собственно содержанию материалов, нам хотелось бы указать на немаловажное обстоятельство. Сборник посвящен памяти Виктора Павловича Калыгина, известнейшего отечественного кельтолога, чей жизненный путь прервался в 2004 году. Дань уважения, отданная российскому ученому ведущими кельтологами, указывает на признание его вклада в эту область.

Обращаясь к статьям, входящим в сборник, нам хотелось бы прежде всего подчеркнуть последовательность, которую сумели соблюсти редакторы и авторы докладов. Все материалы так или иначе затрагивают вопросы связей кельтских и славянских языков и культур. Если характеризовать сборник в целом, следует сказать, что это довольно однородное целое, единство которого поддерживается общностью тематики, которую условно можно назвать типологическим и контрастивным исследованием в сфере пересечения славянской и кельтской лингвистики и филологии.

В целом можно выделить несколько аспектов, которым посвящены статьи сборника. Это историческое языкознание, а именно история кельтологии в славянских странах (статьи Ш. Мак-Махуны, П. Сталмашика, А. Мурадовой, М. Фомина), кельто-славянские контакты и параллели в индоевропейской перспективе (статьи В. Калыгина, А. Фалилсеева и В. Блажека), контрастивная лингвистика (статьи Ф. Йозефсона, А. Бондарук, Е. Паринной, В. Байды), сопоставительные исследования в области литературной и фольклорной традиций (статьи Дж. Кэри, Т. Михайловой, Д. Миллера, Г. Бонадренко, Н. Чехонадской), литературоведческие исследования (статья Ф. Сьюзла).

Сборник открывается обращением к участникам конференции К.-Х. Шмидта, председателя общества Кельто-Славика (К.-Н. Schmidt. «Inaugural address: Remarks on Celto-Slavica»). В обращении автор подчеркивает важность изучения кельто-славянских связей, которые могут пролить свет на многие вопросы, относящиеся к хронологии распада общеиндоевропейского единства и к миграциям индоевропейских народов.

Первая часть начинается статьей Ш. Мак-Махуны «История кельтологии в России и СССР» (S. Mac Mathúna. «The history of Celtic scholarship in Russia and the Soviet Union»), в которой дается очерк российской кельтологии практически от самых истоков и до наших дней. Отдельные разделы посвящены таким темам, как исследования кельто-славянских связей, неразрывно связанные с именами А.А. Шахматова, О.Н. Трубачева и В.П. Калыгина; становление кельтологии в Советском Союзе, которое немыслимо без неопределенного вклада, внесенного А.А. Смирновым, первым переводчиком и глубоким исследователем ирландской литературы, и В.Н. Ярцевой. Другие разделы посвящены лингвистическому аспекту кельтологии в СССР, развивавшемуся благодаря трудам А.А. Королева, В.П. Калыгина и И.В. Крюковой; области кельтского литературоведения, поэтики и фольклористики, основы

которой заложил А.А. Веселовский и которая играет выдающуюся роль в работах Т.А. Михайловой, С.В. Шкунаева и Н.С. Широковой. Заслуги двух последних исследователей автор статьи особо выделяет и в изучении истории кельтских народов. Высокую оценку в очерке получает многоаспектная научная деятельность А.И. Фалилеева. На этом фоне вполне оправданными выглядят надежды, выражаемые автором на будущие успехи отечественной кельтологии, залог которых он видит в работах таких молодых ученых, как Е. Парина, Н. Николаева-О'Шей, М. Фомин, Г. Бондаренко и А. Мурадова. К очерку приложена библиография, на наш взгляд, являющаяся вполне самостоятельным произведением, так как все сказанное автором в предыдущих разделах получает здесь зримую, осязаемую форму (достаточно сказать, что количество трудов отечественных исследователей, включенных в эту библиографию, насчитывает 115 единиц).

Продолжением линии, начатой Ш. Мак-Махуной, является статья П. Сталмашика «Кельтология в Польше: Недавние темы и тенденции» (P. Stalmaszyk. «Celtic studies in Poland: Recent themes and developments»), в которой автор, хотя и не так детально, но почти с такой же обширной библиографией, рассматривает историю кельтологических исследований в Польше.

Вторая часть материалов открывается статьей В.П. Калыгина «Кельты и славяне: к гипотезе К.-Х. Шмидта о восточном происхождении кельтов» (V. Kalygin. «The Celts and the Slavs: On K.-H. Schmidt hypothesis on the eastern origin of the Celts»). Здесь рассматривается относительная хронология возможных контактов между кельтами и славянами. В.П. Калыгин уделял много внимания кельто-славянским связям, особенно в области лексики. К сожалению, смерть прервала интересные и в высшей степени плодотворные исследования, которым посвятил свою жизнь автор этой статьи. Можно выразить лишь глубокую признательность составителям сборника, бережно сохранившим и донесшим до широкой аудитории часть наследия ученого.

А. Фалилеев в статье «Alt-celtischer Sprachschatz: украинский вклад» (A. Falileyev. «Alt-celtischer Sprachschatz: the Ukrainian contribution»), предлагает новую интерпретацию трех гидронимов на территории Украины, полемизируя с точкой зрения, выдвигавшейся О.Н. Трубачевым, который считал их кельтскими по происхождению. Автор подчеркивает особую осторожность, с которой следует подходить к рассмотрению топонимов в обла-

стях, где не отмечены явные следы кельтской топонимики.

В статье В. Блажека «Кельто-славянские параллели в мифологии и сакральной лексике» (V. Blažek. «Celto-Slavic parallels in mythology and sacral lexicon») сопоставляются кельтские и славянские теонимы *Дагда / Дажьбог, Маха / Мокошь*, антропонимы *Пулла / Пржемысл* и юридические термины др.-ирл. *ráth* / слав. *\*rota*. Внимание исследователей к первым двум парам сопоставлений привлек в своих работах В.П. Калыгин, видевший в них общее индоевропейское наследие. В. Блажек предлагает иную интерпретацию, считая более вероятным заимствование из кельтского в славянский.

В статье «Древнеирландские и славянские префиксальные глаголы и функция префиксов» Ф. Йозефсон (F. Josephson. «Old Irish and Slavic prefixed verbs and the function of prefixes») рассматривает характерные для кельтских и славянских глаголов префиксальные цепочки, помещая их в более широкий контекст других индоевропейских языков, и указывает на сходные функции некоторых префиксов (например, перфективную), одновременно отмечая различия в порядке размещения компонентов.

Статья А. Бондарук «Облигаторный и факультативный контроль в ирландском и польском языках» (A. Bondaruk. «Obligatory and non-obligatory control in Irish and Polish») посвящена проблемам контрастивного синтаксиса. В рамках генеративного синтаксиса исследуются свойства различных типов предикатов, осуществляющих контроль PRO.

В статье Е. Париной «Двойное маркирование прямого дополнения в кельтских и южнославянских языках – предварительные замечания» (E. Parina. «Direct object double marking in Celtic and South Slavic languages – Preliminary remarks»), автор, сопоставляя конструкции с местоименной репризой лексически выраженного объекта в средневаллийском и южнославянских языках, приходит к нетривиальному и в высшей степени интересному выводу о том, что в средневаллийском частотность употребления данной конструкции определяется противопоставлением локутора / не-локутора, отмечая тот факт, что вероятность ее появления при первом или втором лице выше, чем при третьем.

В работе В. Байды «Перфектные и посесивные конструкции в ирландском и русском языках» (V. Bayda. «Perfect and possessive structures in Irish and Russian») обращается особое внимание на сходство ирландского перфекта *Tá sé déanta agam* и диалектных конструкций, характерных для русских северо-западных говоров *У меня забыто*. Автор высказывает

предположение, что изучение эволюции подобных конструкций в русском языке может пролить новый свет на вопросы становления сходной перфектной конструкции в ирландском.

А. Мурадова в статье «Некоторые бретонские слова в словаре русской императрицы» (A. Muradova. «Some Breton words in the dictionary of the Russian empress») проследживает историю получения списка бретонских слов для словаря Палласа.

В статье «Россия, родина гэлов» Дж. Кэри (J. Carey. «Russia, cradle of the Gael») рассматривает псевдоисторическую традицию, связывающую происхождение гэлов со Скифией, и указывает на лежащую в ее основе паронимию *Scotti – Scythi*. Эта теория засвидетельствована в памятниках уже VIII века и в дальнейшем была возрождена таким автором, как Дж. Кинг, который, впрочем, скорее опирался на английские источники, чем на указания своих ирландских предшественников.

В статье «Функция имени в письменной ирландской и славянской заговорной традиции» Т.А. Михайлова (T. Mikhailova. «On the function of name in Irish and Slavonic written incantation tradition») предлагает разграничивать в заговорах два класса имен – имена «фоновые» и имена «субъектные». Первые представляют собой имена христианских святых и языческих персонажей, создающие особый фон магической формулы. Во вторую категорию входят «имена собственные, обозначающие лицо, для (против) которого единократно воспроизводится магический текст» (с. 173). На обширном материале, проводя сопоставление между ирландскими и славянскими заклинаниями, исследовательница приходит к выводу, что восточная заговорная традиция отличается большей консервативностью и архаичностью, чем западная.

Д. Миллер в статье «Кухулин и Илья Муромец: некоторые вариации на тему двух героев» (D. Miller. «Cú Chulainn and Ilya of Murom: Two heroes, and some variations on a theme») обращает внимание на тему поединка отца и сына, некоторые черты которой особенно сближают ирландскую и русскую традиции, выделяя их из обширного круга прочих традиций, в которых засвидетельствован данный мотив. Эти черты также дают автору основание предполагать, что в двух этих случаях мы имеем дело с наиболее архаичным, наиболее «традиционным» вариантом мотива. Из этого вытекает, что «смена лиц» в мифе об Эдипе, где сын убивает отца, может, по мысли автора, отражать смену культурно-общественной парадигмы с архаичной, в которой причиной убийства становится охранение чести племени, на новую, в

которой убийство совершается из «государственных соображений».

Г. Бондаренко в статье «Hiberno-Rossica: “Знание в облаках” в древнеирландской и древнерусской мифопоэтической традиции» (G. Bondarenko. «Hiberno-Rossica: “Knowledge in the clouds” in Old Irish and Old Russian») исследует параллели в формульных выражениях, рассматривая выражение *летая умом под облакы* и его ирландский эквивалент *lluid mo fius co ardníulu*. Автор обсуждает вопрос о возможном общем индоевропейском происхождении данной формулы.

Статья Н. Чехонадской «Неразрезанный лебедь: русские и ирландские герои на пиру» (N. Chekhonadskaya. «A swan uncarved: Russian and Irish heroes breaking the table etiquette») посвящена мотиву пира в ирландских сагах и русских былинах, в частности, ссорам из-за раздела блюд.

Статья М. Фомина «Русские и западные кельтологи о параллелях между древнеирландской и древнеиндийской традициями» (M. Fomin. «Russian and Western Celticists on similarities between Early Irish and Early Indian traditions») открывается обзором истории вопроса, подытоживающим взгляды, высказанные на эту проблему такими учеными, как Э. Бенвенист, М. Диллон, Д. Бинчи, Вяч.Вс. Иванов, В.П. Калыгин, А.А. Королев и С.В. Шкунаев. Далее излагаются возражения против предположения о генетическом характере ирландско-индийских параллелей, выдвинутые в последнее время, в частности, К. Мак-Коном. По мнению автора, более продуктивным может оказаться типологическое рассмотрение этой проблемы, основанное на методике, разработанной отечественными семиотиками и историками культуры (Ю.М. Лотман, Г.А. Ткаченко, В.Н. Романов).

Статья Ф. Сьюэла «“Домой в Россию?” Ирландские писатели и русская литература» (F. Sewell. «“Going home to Russia?” Irish writers and Russian literature») посвящена восприятию русской литературы в Ирландии, отраженному в произведениях таких признанных мастеров, как Ш. Хини, М. О’Кайн, П. Пирс и П. О’Конайре.

В статье, подытоживающей научную часть сборника, Х. Тристам (H.L.C. Tristram. «Concluding remarks. What’s in Celto-Slavica?») касается общего культурологического значения, которое может приобрести общество Кельто-Славика, своей деятельностью способствующего преодолению культурных барьеров и более тесному знакомству друг с другом, естественно, не только ученых, но и народов, представителями которых они являются. Ис-

следовательница дает краткий обзор основных тем, по которым были прочитаны доклады на конференции, выделяя несколько главных аспектов: культурные интересы, типологические и контрастные исследования, языковые контакты, вопросы генетического родства, история кельтологии в славянских странах.

Сборник завершается частью, посвященной памяти ушедшего из жизни замечательного российского ученого В.П. Калыгина. Очерк его биографии, подготовленный А. Мурадовой, раскрывает основные этапы научного пути В.П. Калыгина, косвенно свидетельствуя о глубине и широте его научных интересов. Это свидетельство получает наглядное выражение в приложенной избранной библиографии исследователя (*Viktor Pavlovich Kalygin: Select*

*bibliography*), содержащей 76 наименований. На наш взгляд, определение «избранная» несколько условно, поскольку, как нам известно, библиография собиралась настолько тщательно и кропотливо, что за ее рамками вряд ли могло остаться сколько-нибудь значительное число публикаций. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что здесь учтены все наиболее важные и существенные работы ученого.

В завершение нам хотелось бы выразить надежду, что за этим сборником, заявленным как первое научное издание общества Кельто-Славика, последуют и другие.

*С.В. Иванов*

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

КАРПАТО-БАЛКАНСКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ ЛАНДШАФТ. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

13 февраля 2007 года в Институте славяноведения РАН состоялся круглый стол «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура во взаимодействии». Заседание было посвящено памяти выдающегося слависта-диалектолога Галины Петровны Клепиковой. Галина Петровна была вдохновителем и активнейшим участником целого ряда международных лингвогеографических проектов, в числе которых – «Общекарпатский диалектологический атлас» (ОКДА) и «Общеславянский лингвистический атлас» (ОЛА). Возглавив после ухода из жизни своего учителя С.Б. Бернштейна большой международный проект ОКДА, Г.П. Клепикова стала на многие годы его опорой, сумев довести это фундаментальное научное дело до успешного завершения (в 2003 году вышел заключительный седьмой том ОКДА), несмотря на столь тяжелое для славянских стран время войн и социально-политических потрясений. Трудно переоценить ее огромный вклад в создание современной карпатологии – комплексной науки о языке и культуре, прошлом и настоящем уникального региона Карпат. В многочисленных трудах Г.П. Клепиковой нашли отражение сложнейшие проблемы межъязыковых контактов, лингвогеографии и ареалогии, карпатистики и балканистики, исторической и синхронной лингвоболгаристики, русистики и многие другие. Ее исследования украинских диалектов в широком межславянском и карпато-балканском контекстах вошли в золотой фонд украинского языкознания, послужив импульсом для развития этой проблематики в работах многих украинистов.

Широкий научный кругозор Г.П. Клепиковой позволил затронуть на заседаниях круглого стола самые разные аспекты карпатского и балканского языкознания. Воспоминаниями об

этом замечательном ученом поделилась Т.М. Николаева (Москва), открыв утреннее заседание круглого стола. Татьяна Михайловна подчеркнула такие качества Галины Петровны, как глубокая эрудиция, скромность, деловитость, трудолюбие и преданность высоким идеалам науки. Затем А.А. Плотникова (Москва) рассказала о целях и задачах нового проекта «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура во взаимодействии», подробно остановившись на роли Г.П. Клепиковой в его разработке. Галина Петровна стремилась передать свой опыт исследований данной проблематики, активно участвуя в обсуждении сложных вопросов истории карпатолингвистических исследований (теория карпатской миграции славян, предложенная В.М. Иллич-Свитычем, специфика «валашской колонизации» XIV–XVII вв.), в выборе пунктов обследования в карпатской зоне по этнолингвистическому вопроснику. Было подчеркнуто, что интерпретация ею результатов лингвогеографических данных по картам ОКДА и КДА («Карпатского диалектологического атласа») способствовала формированию научного представления о структуре лингвистического пространства карпато-балканского ареала. Прибывший на заседание известный украинский диалектолог П.Е. Гриценко (Киев) в докладе «Carpatho-balkanica в свете «Общекарпатского диалектологического атласа»» раскрыл значение ОКДА (представляющего идейное продолжение и развитие КДА) для изучения сложной историко-языковой и ареальной ситуации в пространстве Карпаты – Балканы. Отмечено, что ОКДА кардинально изменил эмпирическую исходную базу данных об изучаемых диалектах различных языков. Атлас демонстрирует наличие разнонаправленных междиалектных связей, их интенсивность, структурную глубину, позволяет вы-



явить такие межзональные изоглосные связи, которые дают возможность по-новому оценивать исторические судьбы носителей исследуемых диалектов, моделировать этапы и последовательность формирования ареалов многих явлений. Докладчик особо подчеркнул, что в создании ОКДА – труда, этапного для формирования и становления лингвокарпатистики, – ведущая роль принадлежит школе С.Б. Бернштейна; весомым вкладом в развитие этого направления славистики и балканистики стали идеи и труды Г.П. Клепиковой. Т.И. Вендина (Москва) в докладе «Карпато-южнославянские языковые контакты по материалам ОЛА» привлекла новые данные для ОЛА по болгарским диалектам (только два года назад усилиями главным образом российских ученых болгарские коллеги согласились сотрудничать в ОЛА). На примере 20 карт, составленных ею по материалам шестого тома ОЛА, который находится в печати, докладчик показала различные случаи противопоставления по лексическим признакам юго-западноукраинских говоров всем остальным украинским говорам, а также и всем другим восточнославянским говорам. Украинские говоры Карпат отличаются отсутствием тюркских заимствований и наличием румынизмов (например, *kolastr-* ‘молоко коровы сразу после отела’ и др.). Заимствования из венгерского позволяют, во-первых, выделить закарпатские говоры в общеславянском масштабе, во-вторых, объединяют закарпатские говоры с западно- (и прежде всего словацкими) и южнославянскими диалектами. Лексические карты, составленные докладчиком только на основе выявленных славянских корней, отражают связи со словацкими и южнославянскими (преимущественно сербскими и болгарскими) диалектами, тогда как карты, учитывающие весь объем информации (включающие заимствования из венгерского, немецкого и румынского языков), показывают преимущественные связи закарпатских говоров со словацкими диалектами. В докладе С.Л. Николеева (Москва) «Балкано-карпатские изоглоссы как реликт поздне-праславянского лингвистического ландшафта» была представлена убедительная фактическая база для сопоставления археологического ареала раннесредневековых галицийских хорват VIII–IX вв. с современными юго-западными украинскими изоглоссами. Был сделан вывод о том, что галицко-хорватская территория в узком смысле (между Збручем, Днестром и Западным Бугом) соответствует современной восточногалицкой группе говоров и исторически связана со старощтокавской зоной в Славонии, в то время как западноталицкая группа, по-ви-

димому, связана с западноболгарскими и восточносербскими диалектами.

Часть докладов, прозвучавших на утреннем заседании, была посвящена собственно карпатскому ареалу. Л.Э. Калнынь (Москва) в «Заметках о фонетике карпатоукраинских диалектов» обратила внимание слушателей на типологическое своеобразие этих диалектов на фонетическом уровне, которое особым образом выделяет их в рамках восточнославянского континуума. В специфике моделей вокализма, в тенденции к унификации вокального состава слова через механизм слогового сингармонизма, в значительной автономности вокальной и консонантной частей фонетического слова проявляется приоритетное значение вокальных составляющих фонетического строя диалектов. Было высказано предположение о том, что структурные особенности карпатских диалектов не являются неологизмами в сравнении с древнерусским состоянием, а являются чертами праукраинских диалектов более раннего периода. Доклад Т.В. Поповой (Москва) «О диалектном членении украинского языка по данным КДА» был посвящен такой важной проблеме, как роль лексических материалов в прояснении и уточнении диалектного членения украинского языка на территории Карпат. Материал КДА показал, что группировка говоров Прикарпатья и Закарпатья, основанная на лексико-семантическом материале, в целом совпадает с существующим территориальным членением юго-западных украинских говоров, в основу которого положен иной материал (фонетический и морфологический). Вместе с тем, данные КДА свидетельствуют, например, о том, что говоры западнее р. Лимница в районе г. Ивано-Франковск (называемые в украинской диалектологии покутскими или буковинско-покутскими) с одинаковым основанием могут быть объединены не только с буковинской, но с гуцульской, бойковской, закарпатской и поднестровской диалектными группами. В докладе «Этнокультурная и языковая интерференция в карпато-балканском ареале» В.В. Усачева (Москва) на примере венгерского заимствования в славянских языках – *\*bosorka* – показала многообразную палитру форм и значений данного культурного термина, бытующего лишь в карпатском (но не балканском) лингвистическом пространстве.

Вечернее заседание круглого стола было посвящено собственно балканистическим исследованиям. Галина Петровна Клепикова, по мнению Т.В. Цивьян (Москва), открывшей эту часть заседания, в совершенстве владела методом структурно-типологических изысканий, при этом постоянно внедряя его в те науч-

ные проекты, в которых она участвовала. В качестве примера был взят сравнительно новый лингвогеографический проект «Малого диалектологического атласа балканских языков», начатый в конце 90-х годов петербургскими учеными (ИЛИ РАН, руководитель – А.Н. Соболев) совместно с Институтом славяноведения РАН и Университетом в Марбурге. Т.В. Цивьян обратила особое внимание на те работы Г.П. Клепиковой, в которых реализуется ее типологический подход к балканистике, таких, как, например, «“Реальное”, мифопоэтическое, лингвистическое пространства: Текст Пастушества» (Опубликовано в сб.: Антропология культуры. 1. Под ред. Вяч.Вс. Иванова. М., 2002. С. 230–244). Тему глубокого интереса Галины Петровны ко всем явлениям балканского диалектного ландшафта продолжила И.А. Седакова (Москва) в докладе «Русская речь в балканском окружении», сделанном по материалам полевых исследований в русские старообрядческие села Болгарии. Е.И. Якушкина (Москва) выступила с докладом «Семантика глаголов *жечь*, *палить* в южнославянских диалектах», в котором показала различия в семантике, определяющие употребление и сочетаемость рассматриваемых глаголов в сербском, македонском, болгарском и других славянских языках.

Два доклада были сделаны по результатам работы с этнолингвистическим вопросником в карпато-балканской зоне (Н.Г. Голант, О.В. Трефилова). По настоянию Г.П. Клепиковой, вопросник А.А. Плотниковой «Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала» (М., 1996) впервые был использован для полевого обследования румынского села в предгорье южных Карпат (Олтения) – такое расширение сферы его применения показало большое число балканизмов в терми-

нологической лексике традиционной духовной культуры и особенностях соответствующих экстралингвистических явлений. С докладом по итогам этой экспедиции в Румынию выступила Н.Г. Голант (Санкт-Петербург): «Этнолингвистические материалы из юго-западной Румынии: обрядность и мифология жителей коммуны Мэлая (жудец Вылча)». Этнограф из Петербурга подробно остановилась на похоронно-поминальной обрядности и народной мифологии исследуемого села. На полевых материалах из гагаузского села Былгарево в северо-восточной Болгарии был построен доклад О.В. Трефиловой (Москва) «Гагаузская терминология народной духовной культуры в северо-восточной Болгарии». Рассказ о двух своих экспедициях докладчица предварила обширным экскурсом в историю появления гагаузов в Болгарии, а также анализом особенностей их языка и традиционной народной культуры. М.М. Алексеева (Москва) в докладе «Словарь А. Гойсака как источник изучения лексики лемковских говоров» сделала подробный анализ терминологической лексики традиционной духовной культуры лемков, показав, насколько полно эта лексика представлена в рассматриваемом лексикографическом труде, что, несомненно, делает его ценным источником карпато-балканских исследований. Е.С. Узенева (Москва) посвятила свой доклад «Некоторые балканские элементы в румынской традиционной культуре» анализу сходных принципов мотивации в обрядовой терминологии балканских народов, детально исследовав ритуалы дня св. Трифона и свадебной обрядности.

А.А. Плотникова (Москва)

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ: В.Н. ВОЛОШИНОВ и Л.С. ВЫГОТСКИЙ»

3–4 мая 2007 г. в Швейцарии (Кре-Берар) состоялась международная конференция «Язык и мышление: В.Н. Волошинов и Л.С. Выготский», организованная П. Серно (Лозаннский университет) и Ж. Фридрих (Женевский университет). Эта конференция стала завершением серии семинаров, посвященных советской психолингвистике 1920–1930-х годов и проходивших в Западной Швейцарии в течение нескольких лет. На конферен-

ции были представлены доклады исследователей из Швейцарии, России, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Бразилии. Рабочими языками конференции были французский, английский и итальянский.

Открывая конференцию, один из ее организаторов, П. Серно подчеркнул, что эпоха двадцатых – начала тридцатых годов прошлого века была в Советском Союзе временем плодотворного научного диалога, когда разные подходы к изучаемым явлениям часто могли сосуществовать в трудах одних и тех же

ученых. Именно поэтому, даже если в название конференции вынесены имена лишь двух крупных исследователей того времени – В.Н. Волошинова и Л.С. Выготского – во многих докладах непременно будут звучать и другие имена.

Первым сообщением, прозвучавшим на конференции, стал доклад К. Ботта (Швейцария). Исследователь рассказал об общих проблемах методологии исследований Волошинова, которые очень часто выходили за рамки лингвистики как таковой. Эта тема была продолжена С. Чугунниковым (Франция), представившим некоторые исследования Волошинова как пограничные между психолингвистикой и «наукой об идеологиях» (в докладе был поставлен вопрос о связи понятия идеология у Волошинова и в работах французских ученых-«идеологов» восемнадцатого века – Д. де Траси, Ж.А. Кондорсе и др.). Оживленные дискуссии участников конференции вызвал доклад П. Серрио (Швейцария), в котором анализировалась рецепция работ Волошинова в России и в Западной Европе. В отдельной части доклада исследователь рассказал о результатах своего анализа перевода ключевых концептов книги «Марксизм и философия языка» на французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, словенский и сербохорватский языки, а также рассказал о том, почему объяснения многим зачастую фантастическим интерпретациям концепции Волошинова следует искать именно в неудачных переводах его работ. Опираясь на анализ работ Волошинова и П.Н. Медведева, Б. Вотье (Франция) представила собравшимся результаты своего исследования ранних (начало 1920-х годов) работ М.М. Бахтина. Особое внимание в докладе обращалось на немецкие истоки многих бахтинских идей и концептов. Сообщение М.-С. Берто (Германия) было посвящено понятию языковой формы у Волошинова, Выготского и Л.П. Якубинского. Т. Зарубина (Швейцария) проанализировала некоторые идеи Волошинова в свете истории психоанализа в СССР в двадцатые годы прошлого века.

Два доклада были посвящены анализу написанных современниками Волошинова рецензий на книгу «Марксизм и философия языка». И. Агеева (Швейцария) рассказала об опубликованной в 1929 г. рецензии Р.О. Шор, а В. Резник (Великобритания) – о написанной в 1929 г., но опубликованной значительно позже (1995 г.) рецензии А.И. Ромма.

Многие доклады, прозвучавшие на конференции, – как это и отмечалось П. Серрио во

вступительном слове – не были посвящены работам Волошинова и Выготского, однако анализируемые в них идеи в той или иной степени перекликались с центральными идеями теоретического наследия этих ученых. И. Иванаова (Швейцария) выступила с докладом о работах Якубинского, предложив, в частности, объяснение тому факту, что после исследований по поэтическому языку Якубинский обратился к изучению диалогической речи. В сообщении Е. Симонато (Швейцария) говорилось о марксизме, фонетике и фонологии. С. Море (Швейцария) представил собравшимся подробный анализ книги эсперантиста-марриста А.П. Андреева «Язык и мышление» (1930). Особое внимание исследователь обратил на выдвинутые Андреевым аргументы в пользу изучения эсперанто: сам тип структуры этого агглютинативного языка будто бы предполагал, что на изучение эсперанто должно уйти меньше усилий, чем на освоение иностранных языков флективного типа. В. Мартина (Италия) выступила с сообщением о понятии символа у П.А. Флоренского. Е. Вельмезова (Россия – Швейцария) сделала доклад об изучении междометий в советской лингвистике 1920-х годов в свете проблемы «язык и мышление», а также рассказала о работе по изучению неопубликованного эпистолярного наследия Ш. Балли: эта работа была проделана ею совместно с Т. Щедриной (Россия), которая, к сожалению, не присутствовала на конференции. Основное внимание исследовательницы уделили анализу переписки Балли с русскими учеными.

Доклады не приехавших на конференцию М. Бондаренко (Франция) и М. Эрника (Бразилия) были зачитаны П. Серрио и Ж. Фридрих. В первом докладе речь шла о сопоставлении лингвистических концепций Волошинова и В.И. Абаева, а во втором – об эволюции взглядов Выготского, отражаемой в его работах «Психология искусства» и «Мышление и речь».

В заключительной беседе исследователи подвели итоги научной встречи и, поблагодарив организаторов конференции, наметили планы дальнейшего сотрудничества.

К конференции был опубликован сборник тезисов на французском и английском языках. Все доклады планируется опубликовать в серии «Cahiers de l'Institut de linguistique et des sciences du langage» Лозаннского университета.

*Е.В. Вельмезова (Москва / Лозанна)*

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ,  
ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ – Български език  
ВДИ – Вестник древней истории  
ВИ – Вопросы истории  
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания  
ВФ – Вопросы философии  
ВЯ – Вопросы языкознания  
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения  
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание  
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН),  
АН СССР  
ИЯШ – Иностранные языки в школе  
РЯНШ – Русский язык в нац. школе  
РЯШ – Русский язык в школе  
СбНУ – Сборник за народни умотворения  
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук  
СТ – Советская тюркология  
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)  
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки  
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
AfsIph – Archiv für slavische Philologie  
AGL – Archivio glottologico Italiano  
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
AL – Acta linguistica  
AmA – American anthropologist  
ANF – Arkiv för nordisk filologi  
AO – Archiv orientální  
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague  
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies  
BzNf – Beiträge zur Namenforschung  
CAJ – Central Asiatic journal  
CFS – Cahiers F. de Saussure  
CJ – The classical journal  
FPhon – Folia phoniatica  
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen  
GL – General linguistics  
HR – Hispanic review  
IF – Indogermanische Forschungen  
IJ – Indo-Iranian journal  
IJAL – International journal of American linguistics  
JA – Journal asiatique  
JASA – Journal of the Acoustical society of America  
JEGPh – Journal of English and Germanic philology  
JL – Journal of linguistics  
JP – Język polski  
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society  
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne  
JФ – Јужнословенски филолог

**KZ** – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn  
**LaPh** – Linguistics and Philosophy  
**Lg** – Language  
**LIn** – Linguistic Inquiry  
**LM** – Les langues modernes  
**MM** – Maal og minne  
**MSFOu** – Mémoires de la Société finno-ougrienne  
**MSLP** – Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
**MSOS** – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
**NSS** – Nysvenska studier  
**NTS** – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
**PBB** – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
**PMLA** – Publications of the Modern Language Association of America  
**RES** – The Review of English studies  
**RÉG** – Revue des études grecques  
**RÉSI** – Revue des études slaves  
**RF** – Romanische Forschungen  
**RKJL** – Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego  
**RKJW** – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego  
**RLing** – Russian linguistics  
**RLR** – Revue de linguistique romane  
**RO** – Rocznik orientalistyczny  
**RS** – Rocznik slawistyczny  
**SaS** – Slovo a slovesnost  
**SDAW** – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
**SL** – Studia linguistica  
**SMS** – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu  
**SPAW** – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
**StO** – Studia orientalia  
**SWAW** – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
**TA** – Traduction automatique  
**TCLC** – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
**TCLP** – Travaux du Cercle linguistique de Prague  
**TIL** – Travaux de l'Institut de linguistique  
**TPhS** – Transactions of the Philological society  
**UAJb** – Ungarische Jahrbücher  
**VR** – Vox Romanica  
**WW** – Wirkendes Wort  
**ZAS** – Zentralasiatische Studien  
**ZCPH** – Zeitschrift für celtische Philologie  
**ZDA** – Zeitschrift für deutsches Altertum  
**ZDMG** – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
**ZDPh** – Zeitschrift für deutsche Philologie  
**ZMaF** – Zeitschrift für Mundartforschung  
**ZNS** – Zeitschrift für neuere Sprachen  
**ZPhon** – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
**ZRPH** – Zeitschrift für romanische Philologie  
**ZSL** – Zeitschrift für Slavistik  
**ZSLPh** – Zeitschrift für slavische Philologie